

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

# НИЖНИЙ НОВГОРОД

N I Z H N Y   N O V G O R O D   5 ( 6 4 ) / 2 0 2 5



ИГОРЬ  
ПАЛАШОВ  
Нижний Новгород

4



ИГОРЬ  
МАЛЫШЕВ  
Ногинск

31



ЕВГЕНИЙ  
ЖАСТОВ  
Нижний Новгород

51



АЛЕКСАНДР  
ОРЛОВ  
Москва

69



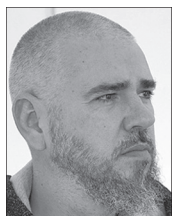
АНАСТАСИЯ  
АБРАМОВА  
Арзамас

80



ПАВЕЛ  
КРУСАНОВ  
Санкт-Петербург

83



ВАЛЕРИЙ  
МАККАВЕЙ  
Нижний Новгород

107



ЕЛЕНА  
БЕРМУС  
Петрозаводск

114



ГЕННАДИЙ  
ИВАНОВ  
Москва

123



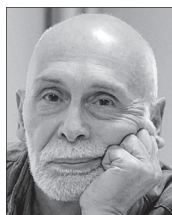
ДМИТРИЙ  
ЛАРИОНОВ  
Санкт-Петербург

126



НАТАША  
КИНУГАВА  
Москва

129



ЛЕОНИД  
ЮЗЕФОВИЧ  
Санкт-Петербург

131



ОЛЕГ  
ДЕМИДОВ  
Химки

144



ЯРОСЛАВ  
КАУРОВ  
Нижний Новгород

177



ЕЛЕНА  
КРЮКОВА  
Нижний Новгород

218

16+

## В НОМЕРЕ

### *Проза*

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Игорь ПАЛАШОВ</b>                     |    |
| УЛИССА . . . . .                         | 4  |
| <b>Игорь МАЛЫШЕВ</b>                     |    |
| ДУША ЗАВОДА . . . . .                    | 31 |
| В ПЯТИЭТАЖКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛИФТОВ . . . . . | 34 |
| СОМ . . . . .                            | 36 |
| ВСТРЕЧА . . . . .                        | 38 |
| СМЕХ ИЗ-ПОДО ЛЬДА . . . . .              | 40 |
| ИССЛЕДУЯ ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ . . . . .      | 43 |
| ПСЫ . . . . .                            | 46 |
| <b>Евгений ЭРАСТОВ</b>                   |    |
| ЛЕД И ПЛАМЁНЬ . . . . .                  | 51 |
| ЭКЗАМЕН . . . . .                        | 63 |

### *Поэзия*

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <b>Александр ОРЛОВ</b>                              |    |
| ...И СПИШУТ АНГЕЛЫ ДОЛГИ . . . . .                  | 69 |
| <b>Евгений РАЗУМОВ</b>                              |    |
| И, МОЖЕТ БЫТЬ, ТОГДА ТЫ ОПРАВДАЕШЬ ПЛОТЬ... . . . . | 75 |
| <b>Анастасия АБРАМОВА</b>                           |    |
| СКРИПКА – ЭТО НАРЕЧИЕ... . . . .                    | 80 |

### *Проза*

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Павел КРУСАНОВ</b>      |     |
| О СЧАСТЬЕ . . . . .        | 83  |
| <b>Владимир КУЗИН</b>      |     |
| МИСКА С РЯЖЕНКОЙ . . . . . | 97  |
| <b>Сергей ВАРАКСИН</b>     |     |
| СОЛЁНОЕ МОРЕ . . . . .     | 104 |
| <b>Валерий МАККАВЕЙ</b>    |     |
| АРБУЗ. . . . .             | 107 |
| <b>Елена БЕРМУС</b>        |     |
| ЧАДО МАРИИНО . . . . .     | 114 |
| <b>Галина ЩЕКИНА</b>       |     |
| ОЖИДАНИЕ КОЗ . . . . .     | 120 |

### *Поэзия*

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Геннадий ИВАНОВ</b>             |     |
| ПОМОРСКИЕ СТРОКИ . . . . .         | 123 |
| <b>Дмитрий ЛАРИОНОВ</b>            |     |
| ХРОНОМЕТРАЖ ПУСТОЙ СЛЕЗЫ . . . . . | 126 |
| <b>Наташа КИНУГАВА</b>             |     |
| ВЕТОЧКА . . . . .                  | 129 |

## *Из будущих книг*

**Леонид ЮЗЕФОВИЧ**

ПЕВЧАЯ ПТАШКА И ТРИ ЕЕ МУЖА. *Главы из книги* . . . . . 131

**Олег ДЕМИДОВ**

«ДЕД»: ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ. *Глава из книги* . . . . . 144

**Анатолий МОЖАРОВ**

МЕЖДУ БЕСОМ И АНГЕЛОМ. *Фрагменты* . . . . . 157

## *Стихи по кругу*

**Григорий ГАЧКЕВИЧ** . . . . . 170

**Николай МАЙОРОВ** . . . . . 171

**Елена КОЛЕСНИКОВА** . . . . . 171

**Павел КЛИМЕШОВ** . . . . . 172

**Виктория БЕЛЯЕВА** . . . . . 172

**Анфиса ТРЕТЬЯКОВА** . . . . . 172

**Сергей ЖЕНИХОВ** . . . . . 173

**Владимир ПОСТЫШЕВ** . . . . . 174

**Галина ТАЛАНОВА** . . . . . 174

**Илья БОРОВСКИЙ** . . . . . 175

**Никита БРАГИН** . . . . . 176

## *Публицистика*

**Ярослав КАУРОВ**

ПОЗЫВНОЙ «ЗНАХАРЬ» . . . . . 177

**Дмитрий ИГНАТОВ**

ПОЧЕМУ?

О проблеме современного «авторского» права  
и монетизации литературного творчества . . . . . 198

## *Вехи памяти*

**Андрей РУМЯНЦЕВ**

«ЦАРСТВО СОЛНЦА ВНУТРИ НАС...»

130 лет со дня рождения Сергея Есенина . . . . . 204

**Александр БАЛТИН**

ДЕРВИШ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

К 140-летию Велимира Хлебникова . . . . . 213

## *Литпроцесс*

**Елена КРЮКОВА**

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВТРА ПРИДЁТ

О творчестве Людмилы Ефремовой . . . . . 218

**Эдуард КУЗНЕЦОВ**

ЯД И МЁД

О критиках и литературных рецензиях . . . . . 223

## Игорь ПАЛАШОВ

Родился в 1971 году в Горьком. Окончил Нижегородский технический университет. В 1990-х работал режиссером на региональном телевидении. В начале 2000-х был главным редактором окружного информационного агентства «Интерфакс-Поволжье». Затем – заместителем директора Нижегородского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», начальником управления АО «Росэлектроника». В настоящее время развивает ремесленные проекты.

Живет в Нижнем Новгороде.

## УЛИССА

– Кто это?

Улисса с лампой в руке, зажимая у шеи концы пухового платка, наброшенного на плечи, осторожно подошла к двери и, склонившись к ней, прислушалась; взметнувшееся сердце заполнило всю грудь и стучало в горле.

– Это я, – неожиданно близко, хриплым шепотом проговорил снаружи знакомый голос, – Федор.

Она вздрогнула, торопливо отставила лампу на приставной столик, но в темноте попала ею на связку ключей, чуть было не уронила, дрогнувшей рукой надежно уставила наконiec и отперла внутреннюю дверь – навстречу метнулся сквозняк, – похолодевшими пальцами принялась за входную. Улиссе казалось, что каждый металлический щелчок замка отзывается грохотом во всей громадине дома. Торопилась и морщилась. Наконец, с силой рванула амбарный крюк, недавно вбитый в стену для пущей защиты от взлома, и тяжелая дверь со скрипом отворилась – в проеме показалось темное лицо, укрытое складками башлыка. Улисса отпрянула, лицо надвинулось – неровная на впалых щеках щетина, блестящий козырек фуражки, настороженный взгляд голубых глаз. Это он, но словно чужой.

Быстро, боком проскользнул внутрь, задев дверной косяк чем-то жестким в своем мешке, не глядя приставил его к стене и, выглянув обратно на лестницу, прислушался. Улисса едва признавала Федора в мешковатом пальто с ржавыми подтеками на спине. В полутемном парадном – этажом ниже горит одинокая лампа, и ее тусклый свет восходит меж лестничных маршей масляной косой фигурой – было тихо, лишь морозная февральская ночь отзывалась снаружи неясным гулом. Федор запер за собой двери и, повернувшись к Улиссе, выдохнул.

– Здравствуй.

– Как ты здесь? Что случилось? – шепотом воскликнула она.

Смотрела на него широко открытыми глазами, быстро оглядывая и лицо, и всю фигуру. Улисса тянулась к нему, но ежилась принесенным холодом и резким запахом старой грязной чужой одежды.

Федор размотал башлык, снял нелепую фуражку железнодорожного инженера, широкими движениями крепко потер стриженную голову и лицо, словно очухивался от забытья и посмотрел на нее устало, но строго.

– Мы должны срочно уезжать. До рассвета нужно покинуть город, – вместо ответа сказал он.

Улисса не признавала еще ни его самого, ни слова его чем-то реальным. Она осознавала, что именно происходит сейчас, остро чувствовала всякий звук и всякое движение, но словно бы во сне, словно все это не имело к ней отношения. И даже саму себя ощущала сторонне.

– Как уезжать? Куда? – она не была уверена, что действительно проговаривает всю череду вопросов («Почему? Зачем? Что происходит?»), которую он вызвал в ней своим заявлением, внезапно появившись посреди ночи. Страх неизвестности охватил ее сердце. Она едва справлялась с волнением, внутренне съежилась в платке и замерла.

– В Озерках нас встретят. Оттуда в Финляндию. Оттуда через Берлин в Париж, как собирались. Всё.

Федор снял толстое пальто, сверкнув протертой подмышками подкладкой, скинул валенки, обутые в калоши, – стоит перед ней в знакомом уже костюме и вязаных носках.

– Проходи.

Она взяла лампу и повела его в комнату. Федор уселся к круглому под низким абажуром столу, приложил руки к самовару, но тут же отдернул – тот был горяч и пыхал невидимым в полутьме паром. Огляделся, пока Улисса наливала чай, – здесь тихо и знакомо, здесь безопасно.

– Я попал в переплет, меня ищут, едва ноги унес из Нижнего, – говорил Федор отрывисто, словно читал телеграмму, нервно прихлопывая ладонью по скатерти из неокрашенной рогожки, – так вышло, что застрелил жандарма.

Сердце толкнулось, смутилось пространство вокруг.

– Как?! – Улисса на мгновение застыла с чашкой в руке – Ужас какой! – вскинула на него взгляд, в котором сквозь удивление прорастало отчаяние; брови скривились приступом тупой опостылевшей боли. Она заметила в нем вопросительное удивление, словно он и сам не верил в то, что произошло, видела растерянность человека, который вдруг обнаружил на своей одежде кровь и не знает, откуда она взялась – а вот и на руках, и даже следы его ног кровавы. Но Федор быстро отвел взгляд и нервно сглотнул.

– Господи! Как же так?

Каждая фраза Улииссы была похожа на выкрик, на который ей не хватало сил, и каждая следующая звучала тише предыдущей.

– Глупо. Уходил вечером из рабочих бараков, а тут он засвистел. Отпустил бы, конечно, но я выстрелил на нервах, – Федор, избегая смотреть на нее, снова тер руками лицо. – Потом только сообразил. Не могу забыть, как он рухнул на подломившихся ногах. Откуда только взялся на беду...

Улисса подала ему чай, опершись свободной рукой на стол, слабей спиной. Качала головой, словно не верила. Ей уже не было страшно, страх – это предчувствие, а теперь уж все свершилось. Она падала, и отчаяние принимало ее. Она хотела уснуть и уж не просыпаться более. «Что следует за отчаянием? – Улисса словно видела себя

со стороны. – Как же бывает после, что может быть дальше?» – словно все это происходило с кем-то другим.

– Я бы перекусил. Водка есть?

Она достала хлеб, ветчину и сыр, поставила графинчик водки, стопку, тарелку с квашеной капустой, придвинула от самовара менажницу с печеньем. Села и словно обмякла, вытянула на столе руки.

– Ужас какой, Федор... – повторила уж с бабьим подвыванием; ее губы дрожали.

Качала склоненной головой, словно пыталась что-то стряхнуть, пряча лицо за длинной челкой каре. Затем резко расстегнула ворот суконного платья, посмотрела на него измученными глазами:

– Когда же это все кончится...

– Не время сейчас, Уля, – Федор задержал на ней взгляд, кусая губы, опрокинул стопку и сунул в рот кусок ветчины. – Собирайся. Поскорее, пожалуйста, собирайся. Ничего лишнего не бери. Паспорт, ценные вещи, смену одежды. Переберемся через границу – все устроится.

Она молчала. Он быстро ел, прихватывая мокрую капусту щепотью; его губы, окруженные короткими колючими волосками, его маленький по-бульдожьки втиснутый в челюсть подбородок неприятно залоснились.

– Уля, ты слышишь меня? Времени нет, извини, собирайся сейчас. Немедленно!

– Я не могу, – проговорила она, омертвев лицом.

– Ну брось, пожалуйста.

Федор поднял было левую руку, но устало уронил ее на стол, откинувшись на спинку стула. Он почти усмехнулся, предвидя, но не желая слышать ее возражение, оттого лишь еще более раздражающее его, что он и сам считал все происходящее совершенно нелепым и невозможным. Он не чувствовал в себе ни права, ни сил на то, чтобы убеждать и уговаривать ее. Лишь надеялся, что она сама примет то единственное, а потому неизбежное решение, оставшееся для них обоих.

– Я понимаю, очень тяжело и сложно, но так надо. Слышишь, милая, что же делать теперь? Уля, посмотри на меня, – Федор коснулся ее руки, она подняла на него бесцветный взгляд. – У тебя же все готово к отъезду, правда? Оставшиеся дела просто брось, все брось. Ну что меняется от того, что мы уедем не в марте, как планировали, а сейчас?! Вот этой самой ночью. Сейчас, Уля, пожалуйста!

Федор умолял, пытаясь вырвать ее из той защитной холодности, в которую она впадала все чаще последнее время.

– Ну что с тобой, родная? Просто забудь про этот месяц, скомкай, вырви, как лист календаря, и выбрось. Представь, что именно сегодня мы и собирались уезжать. Я все устроил, не беспокойся ни о чем. Уедем и никогда больше не вернемся.

Улисса смотрела на него и понимала, что он и сам не верит в возможность того, о чем просит. Что в своем бегстве он зашел к ней только потому, что не мог не зайти из чувства искренней, она знала, любви. Даже пусть и из чувства долга – чем же оно плохо. Но обстоятельства его исхода были настолько всемогущи и неумолимы, что он не мог к ней именно прийти, лишь намереваясь похода прихватить ее с собой. Эти обстоятельства, ломая его, корежили и их, меняя отныне все между ними.

Улисса слушала Федора, узнавая в нем интонацию формальной показной уверенности, дежурные фразы, которыми не столько уговариваешь, убеждаешь, сколько пытаешься справиться с собственным смятением. Улисса понимала, что не будь этих словесных заготовок, сейчас,



когда судьба проявилась со всей безучастной и уже потому безжалостной определенностью, Федор вовсе не знал бы что сказать. И возможно даже, молча просил бы его отпустить, списать ему любовный долг. Улисса видела по его глазам, что он еще не представляет, как уйти одному, оставив ее здесь, но не представляет и того, как они могут уйти вместе. Она должна была решить за них обоих.

– Дело не в том, – проговорила Улисса, отвлеченно разглаживая ладонью скатерть, словно отодвигая в сторону рассыпанные Федором пустотелые дежурные фразы, – я очень устала, последний год вымотал меня, – длинная, ниже подбородка прядь челки скрывала ее склоненное лицо. – Я не могу ничего сообразить... Все бессмысленно.

Как же быть? Возможно, что и она должна исполнить свой долг и сейчас пойти с ним уже потому только, что он просит об этом и нуждается в ней. Ведь вот он, здесь, ночью, в чужой одежде, с риском немедленного ареста, – ведь он не бросил ее. Даже в минуту крайней опасности для собственной физической жизни он подтверждает мужское намерение прожить эту единственную свою жизнь вместе с ней. А быть может, и для нее самой никакого иного пути уже нет. Но эхо далекого выстрела словно оборвало что-то, последнюю, уже и без того истлевающую нить в пучке связывающих их нравственных пут. Улисса отчетливо поняла, что хочет просто покоя. Если она сейчас и понимала хоть что-то, то понимала только это.

– Уезжай, – прошептала она. – Один.

Федор расслышал, но хотел переспросить, преодолевая жар, вдруг кинувшийся в лицо от ее хлестких слов. Но Улисса посмотрела ему в глаза и твердо выговорила:

– Я не могу.

Он зажмурился, как от боли, прикусил губу, сильнее и сильнее – до крови. Потом открыл глаза – в них просочились слезы.

– Хорошо. Но ты приедешь позже?

«Вот и всё», – подумала Улисса.

Если и могла Улисса вспомнить времена неподдельного чистого счастья, такого, чтобы не всполохом – едва заметишь его в себе, сразу чувствуешь и не сомневаешься, как скоро он погаснет, и оттого лишь ярче и истеричнее радость любования; хочется предпринимать самые разнообразные ухищрения, чтобы разжигать эти всполохи вновь, – но счастья, наполняющего до краев, безусловно и постоянно, словно оно и есть производимая сердцем сущность, то вспоминала она лишь самое бесхитростное безобидное свое детство. В котором «я» было свежо и беспамятно, а мир вокруг бестревожен и во всех своих неисчислимых измерениях увлекателен. Он изгибался в ее глазах, преодолевая любые прямые, нависал сверху, игриво клонился набок, дыбился из-под ног навстречу или за спиной опадал бездною, настырно нарушая симметрию, курчавился и двоился гранями. В те времена открывающийся для маленькой УлиССы мир в каждой точке своих пространств и в каждую минуту своего бытования насыщал ее юную душу, еще чистую от какого бы то ни было долга, беспримесным восторгом.

А вся последующая жизнь УлиССы полнилась досадными недоразумениями и несуразностями, которые оставляли в ней кислый привкус нелепости происходящего и недовольства собой. Их можно было преодолевать и исправлять лишь новыми несуразностями на пути все новых недоразумений.

Улисса, как только осознала свою непосредственную связь с окружающим миром, как только услышала его призыв отвлечься от очарованного созерцания и начать действовать под долговые расписки, словно вдохнула спору неведомого гриба, и та проросла в ней непреходящим чувством неравномерности, несоразмерности, несправедливости и несоответствия. Сами по себе люди, предметы и явления, каждая единица бесконечного их множества, бывали и разумны, и рациональны, и красивы. Но будучи помещенной в конкретную среду или процесс всякая из этих единиц неизменно и без исключения оказывалась неуместной – чрезмерной или до смешного недостаточной. И всякий раз обостренная натура Улииссы немедленно отзывалась на проявляющийся недостаток.

Она с жесткой прямоотой заявляла о своем разочарованном сожалении в отношении любой ущербности и всякого изъяна. И могла бы показаться высокомерной, если бы не деятельное участие, которое принимала в их устранении, если бы ее сожаление не оборачивалось искренней жалостью.

То был педагогический прием ее матери – не выговаривать дочери, но высказывать свое отношение к ее глупому или дурному поступку молчанием разочарования, которое оказывалось красноречивее любых слов. И Улисса усвоила этот прием в своих строгих отношениях и с людьми, и с предметами – ничего, даже и безнадежно ущербного, не выбрасывала из своей жизни, и действительно умудряясь многое приспособлять к ней заново. Это санитарное правило Улииссы исповедовала долгое время, пока не заметила, как много вокруг непогашенных, заведомо не погашаемых, а порой и вовсе фальшивых векселей.

Тогда она еще не смогла бы сформулировать, но уже чувствовала, что гармония колдовского в своей асимметрии мира пребывала лишь в сознании бестелесного высшего существа. Которое если и существует, то пребывает во сне. И меж ушей его бесприютно дрейфуют облака.

Матушка Улииссы была из торговой средней руки семьи Митрофановых и некоторые черты аристократизма восприняла лишь за книжками, а еще более – в раннюю пору замужества, наблюдая манеры и впитывая атмосферу семьи своего супруга Григория Палова. Старинный его род, окрепший при первых Романовых (матушка любила упоминать, что некогда их фамилия была несколько длиннее – Паловичи, Паловские или Паловойские, по разным представлениям), давно уж исхудал, остался вовсе без земли и вторым уже поколением подвизался на гражданской службе, но честь и, сколь хватало сил, традиции дворянские чтит.

Молодую жену, воспитанную в суматохе гостеприимного многочисленного семейства, в котором было принято и радость, и печаль переживать одинаково нескромной суетой, в мужнином доме особенно поразила размеренная сдержанность и невозмутимое, чуть отстраненное дружелюбие каждого его обитателя. И свекровь, и свекр, и муж ее, и его брат подчиняли свою жизнь закону равномерности и ничему, никаким обстоятельствам не позволяли нарушить установленный раз и с тех пор со всей жесткостью соблюдаемый холодный порядок. Все вместе и каждый из них в отдельности в равной степени не позволяли себе ни излишней радости, ни чрезмерной печали и словно бы следили друг за другом, чтоб священный запрет не был нарушен, словно друг с другом соревновались в строгости соблюдения этого запрета.

Оттого матушке Улииссы казалось, что «все эти Паловы, сколько их ни есть, живут будто для того только, чтобы не дай бог кого-нибудь не коснуться». Но разместившись с пестрыми тюками своего купеческо-



го приданого в новом доме, она невольно и с покорной готовностью жены, с упрямым упорством даже пыталась воспринять установленный здесь порядок. И надо сказать, довольно много преуспела в этом – к рождению детей и сама уж обрела паловскую статью и выдержку, изготовилась дать им надлежащее традиционное воспитание. А если и позволяла себе нечто митрофановское, то, как говорила, лишь «по праздникам души моей широкой» или с тем, чтобы «охолонуть мужа», буде он заставит ее волноваться своим поздним возвращением или покажется ей неласковым. Добрая по натуре, искренняя и открытая хохотушка – бывало так щедро зацеловывала детей, что им приходилось обтирать ладошками следы ее влажных губ, так неудержимо тискала их, обхватывая полными сильными руками и прижимая к пышущей жаром мягкой груди, что они заходились веселым смехом, – она умела быть удивительно строгой матерью. Никому из детей, даже младшим, она не позволяла жаловаться и просить о чем-либо раньше, чем не смогут справиться сами.

Улисса знала, как все устроено в родительском доме, сизмальства чувствовала в матушке авторитетное влияние и непоколебимое присутствие отца, замечала даже, как менялся ее взгляд, когда из Митрофановой та превращалась в Палову или обратно, и оттого лишь больше была довольна своей похожестью на отца, внутренним, да и внешним сходством с ним. Улисса беззаветно любила маму, но единожды ощутив в себе снисхождение к ее заполошной, безудержной и безвольной, до всегдашних слез чувственности, уже не могла избавиться от этого чувства. Позднее Улисса определила его снисхождением к женскости как таковой. Она стала замечать за собой даже отцовскую улыбку, теплую, отчасти жалостливую, но все же лукавую, его жест рукой, когда он выговаривал своим тихим грудным голосом «Ах, душа моя...», добавляя «...брошь, пустое» или «...все бы тебе...» в зависимости от того, сокрушалась жена о чем-то, плакала ли или, напротив, звонко разительно смеялась, показывая здоровые крупные зубы и прижимая розовую ладонь к груди. Выговаривал и отстранялся, старался отойти и вовсе уходил в свой крошечный кабинет, к немецкому медному глобусу, заросшему патиной, и альбомам с гравюрами.

Однажды, когда Улисса девочкой застала отца за просмотром мрачных монохромных картинок, отпечатанных на огромных, как ей тогда казалось, тяжелых листах плотной бумаги, он рассказал ей о процессе создания гравюр – выполнение эскиза, перенос его на доску, вырезание на ней штрихов и линий разной глубины, крепление доски на тигеле, нанесение валиком краски и печать, печать, печать. Улисса буквально услышала в отцовских словах тот липкий звук, с которым бумажный лист отслаивается с доски – и открывается рисунок, освобождается влажно-сладковатый запах чернил. Так Улисса начала рисовать.

Ей не брали домашнего учителя – в один год пришлось отправлять старшего сына в университет и выдавать старшую дочь замуж, – но отец выхлопотал ей место с дневным посещением в Мариинском институте, рассудив, что так будет правильно и для образования Улиссы и дляобретения ею навыков приличествующего обхождения со сверстниками. Семья Паловых жила в небольшом доме на Жуковской, в двух шагах от Сенной площади и близость с базаром давала себя знать – никто из детей, включая девочек, не избегал контактов с хамоватой дворовой шпаной, которая кружила вокруг, а порой подобно разливающимся талым водам проникала и в палисад. Жандармы, как ни старались,

не могли совершенно обезопасить двор почтового чиновника в таком грубом соседстве, и время от времени сын приходил в ссадинах и синяках, а раскрасневшиеся стыдом девочки заливались слезами. Матушка принималась успокаивать, чинить порванную одежду, а затем в очередной раз выговаривала мужу, мол, надо же что-то делать. Сама встречала детей на улице, просила дворника последить, соседей, тех, что поприличнее, привлекала, а бывало, не сдерживалась и, заприметив в окно болтающихся подле дома шалопаев, выбегала и гоняла их тряпкой, чем только больше раззадоривала.

Отец же оставался невозмутим, он лишь строго следил за тем, чтобы влияние улицы не проникало в дом и не сказывалось на повадках детей. Искоренял любое заимствование бранных и грубых слов, нагловатой ухмылки, походки с ленцой и отвратительной манеры растягивать слова. Утром, уходя на службу, он имел обыкновение с минуту постоять на крыльце, затем надевал фуражку, не торопясь выправлял ее на голове и, прихватив трость, как палку, несколько раз ударял ею о левую ладонь, словно говорил «так-так, посмотрим, что тут такое...». Ничто не влияло на это его обыкновение – ни проливной дождь (тогда вместо трости был зонт), ни мороз, – каждое утро он повторял свой неторопливый ритуал и говорил детям, что достоинство – лучшие и оружие, и защита.

Улисса же, как только вырвалась из-под опеки няни и принялась устраивать в пространстве двора свой собственный мир, восприняла враждебное его окружение не столько опасностью, сколько вызовом. Она, подобно маленькой, но отважной собачке, наградила себя долгом оберегать дом и всех домочадцев – не только старшую сестру, но и старшего брата – и внутренне возгордилась тем. Наловчилась лазить через забор, особым движением подбирая подол платья и перенося его на ту сторону, чтоб не путался в ногах, свистеть в два пальца, далеко и метко бросать комья земли или мелкие камушки, хоть и занося руку по-девичьи за голову и задирая локоть. Если при ней базарные хулиганы обижали младших соседских детей или затевали шумную потасовку, она смело выкрикивала им из-за забора или забравшись на старую черемуху, а однажды даже выскочила на улицу со здоровенной палкой в маленькой руке.

Матушка охала, сердилась, но и опротестовать толком не могла поведение дочери, которое ведь не озорством вызвано, но продиктовано соображениями защиты достоинства слабых и униженных. Так и говорила маленькая Улисса – «продиктовано соображениями», когда родители принимались увещевать ее, что негоже барышне так себя вести. «Разве не этому ты учила меня, мама? Папа, а?» – развивала Улисса свой дискуссионный успех, подбирая, как ей казалось, самые хитрые аргументы и с удовольствием замечая в ответ ухмылку отца. «Вот, полюбуйся, – говорила матушка, обращаясь к нему, – пацанку вырастили!». Тогда ее и определили в Марииинский институт.

В институте женскость обступила Улиссу со всех сторон, и первое время она только и делала, что фыркала на всех и по любому поводу. Все эти кружева и ленты, сумочки и туфельки, нежные восклицания, особые взгляды всегда не прямо, трепетно выставленные пальчики и придыхания! Особенно раздражали Улиссу манера сокурсниц сбиваться щебечущими стайками у зеркала и их буквально самсонова любовь к своим волосам – ей, как мальчишке, хотелось дергать их за косы. А еще учителя, эти закованные долгом, ни к чему уж не стремящиеся стареющие девы с их внезапным карканьем над самым ухом – «держи

спину», «не бегай». Улиссе понадобилось привлечь все терпение и выдержку, на какие только была способна, и силу воли, чтобы продержаться в институте первое время привыкания. «Ох, как тяжело мне среди этих девиц, – полушутя по форме, но совершенно серьезно по смыслу говорила Улисса маме, воротившись домой и запрокидывая тяжелый портфель в кресло. – Знала бы ты, какие они все бестолковые». «Погоди, не время еще», – отвечала та с улыбкой изнутри своего вызревшего женского знания.

Училась Улисса прилежно, науки давались ей легко, и учителя хвалили ее за живой ум, развитую память, независимость взгляда и трудолюбие, пеняли лишь на небрежность в оформлении тетрадей и общую неаккуратность. Улисса и сама вскоре стала расценивать свою неусидчивость не как оригинальную особенность, которая ей даже нравилась в себе, но именно как недостаток, и со всем упорством принялась воспитывать в себе выдержку, взяв примером самых утонченных и педантичных однокашниц. Сквозь ее принятое уже снисхождение к женскости проявилось почти мужское любование женским – способность что-либо делать, исполняя все правила, не думая каждую минуту, не сомневаясь, зачем именно это делаешь.

Пору своего созревания Улисса встретила в растерянной задумчивости, словно дошла до приметного дерева на горизонте, а оттуда ее глазам открылся новый, еще более широкий в тихих долинах пейзаж. Замечая, как округляются и становятся мягче линии ее тела, как ее лицо меняется и принимает именно что женственные черты, она вдруг расстроилась, красива ли она.

Первые проявившиеся в ней признаки женщины Улисса встретила с брезгливой настороженностью. Набухающие груди, острые, с каждым днем все более нелепо безвольно торчащие в разные стороны – одна к тому же кажется больше другой, – неприятно напоминали о козьем вымени и том нутряном запахе парного молока, в котором удушливо мешаются ноты крови, пота и навоза. И раздающиеся изнутри бедра. И тихая пульсирующая боль в суставах. Улиссе казалось, что она нелепо изменила походку и даже садиться стала иначе, – это поначалу раздражало и унижало ее.

Но вскоре она стала заглядывать в зеркало с интересом, словно то новое, что внезапно проявилось в ней и что Улисса признала чужим, постепенно заполнило ее целиком, из сокровенных глубин естества проникло в каждую клеточку тела и подменило их все – раз так, значит, она должна быть красивой. Улисса не сразу призналась себе, что она сама именно что хочет быть красивой. И принялась разглядывать подружек, сравнивать их щеки, носы, подбородки, уши, глаза со своими чертами. Всякое воспаление и неровности кожи, которые прежде и не замечала вовсе, теперь пугали ее и приковывали все внимание.

И вот однажды, на уроке танцев белокурая Настя, которая всегда была едва заметна в классе, демонстрируя па с воображаемым партнером, вдруг вызвала в Улиссе истинное неподдельное восхищение. Она буквально воплотила собой и грацию, и нежность, и чистоту, была так изящна и точна в своих движениях, что, казалось, составляет единое целое с окружающей ее музыкой, то ли сама эту музыку производит, то ли в ней и проявляется зримым образом.

Улисса ощутила ревность и боль, признав своим восхищением Настей, что соревнование женского созревания она проиграла. Дома, стоя голая у своего тайного зеркала, пытаясь повторить движение рук Насти,

особый наклон в пол-оборота чуть назад, словно на руке воображаемого партнера, Улисса пришла к окончательному выводу, что она некрасива. И с тех пор ни грудь, ни бедра больше не занимали ее. Все это женское в ней показалось едва ли не лишним, случайно приданным, ей самой, настоящей внутренней Улиссе, не соответствующим. Утвердившись в своей обычности, она восприняла ее признаком равенства со всем прочим, неженским.

Однако первое столкновение с теперь уж осознаваемым, напротив мужским, не женским испугало ее. Те дворовые мальчишки, в которых она в беззастенчивом детстве кидала из-за забора комками земли и грозила им палкой, все это время проводили свое какое-то неведомое ей соревнование и теперь поднялись в сильных, налитых необъяснимой злобой парней. Как-то, встретившись с ними по дороге из института, Улисса попыталась, как прежде, обругать их, пригрозить и высмеять, но в ответ блеснул нож. «Ну-ка, попробуй», – прошипел один из них в ответ на ее угрозы, надвигая на глаза кепку. Если бы не дворник, который внезапно появился в проулке и не засвистел, призывая жандармов, неизвестно, чем кончилось бы это столкновение. Шпана тут же рассеялась, но оторопевшая Улисса осталась с чувством растерянности не столько перед опасностью, сколько пред слабостью и уязвимостью всего своего внутреннего существа, которое ощутила, увидев холодное и жадное лезвие. Ее женская ординарность сама по себе никакого равенства ей не обеспечила, но лишь призвала ее к нему. И позже, вспоминая красавицу Настю, встречая многих других красивых женщин, Улисса будет испытывать, привычно, словно растоптанные домашние тапочки, то самое снисхождение и даже досаду к этой закабалившей их красоте.

Потом была академия Штиглица – бойкие курсистки, которые вели себя так, словно женский вопрос давно уж был разрешен, молодые художники и их наставники, страстно препарирующие любую традицию в алчных попытках пересобрать ее в новые этико-эстетические формы, – и гордый ветер Петербурга, который, как величавый отец, испытывал ее. Улисса жила в кольце маршрута между классными комнатами и демонстрационными залами академии, архивов и библиотек, между музеями и хранилищами, чьи этажи исчислялись эпохами всевозможных народов, лишь изредка выбираясь в свою комнатку на Петербургской стороне, где запоем рисовала. В этот период наслаждения и познания творчества для нее были слиты воедино не день и ночь, но времена года. На этом маршруте она и встретила Федора. Он был похож на ее отца, такого, каким она представляла его в бесстрашной еще молодости, когда любые векселя представляются благом приобретения, а не немедленным долгом.

Улисса с горячностью увлекалась анатомическим рисунком, плодя целые серии изображений рук, пальцев, кистей, сжатых, напряженных и нежно-расслабленных, восторженных и смиренных. Те же эмоции, не определяемые в рисунке никак иначе, кроме движения мышц и сухожилий, она воспроизводила и в изображении других частей тела, так же разбирая их визуально на еще меньшие части и детали. Кроме того, она представляла, как одно и то же переживание отражается в теле мужском, женском, детском.

Миндалевидный глаз – изысканный поэтический образ. Улисса нарисовала один и затем превращала его в глаз коровы, кобылы и оленихи, а затем – быка, коня и оленя. Затем – человека, мужчины и женщины.

Ту же половую мутацию линий Улисса отыскивала или пыталась создать, рисуя серии деревьев и петербургских фасадов, тянувшихся сложным раппортом вдоль набережных и проспектов. Текучесть образов, их едва уловимое, словно в ночи, трассирование между ячейками периодической таблицы эволюции завораживала Улиссу. Она чувствовала буквально религиозный экстаз, сопутствующий тому самому мгновению перед открытием Царских врат, когда хоры замолкают и в золотом блеске собора снисходит самый Он. Она едва не растворилась в нем, не обернулась мерцающим огоньком лампадки пред величественным ликом. Вся обернулась в зрение и застыла.

Однажды Улиссу разыскал куратор курса и сообщил, что поступил интересный (он усмехнулся и в задумчивости коснулся пальцем кончика носа) заказ на оформление жилого интерьера. «Мне показалось, что запросы хозяина дома очень соответствуют вашим взгляду и руке, и потому решил предложить эту работу вам. Он будет у меня завтра в три часа. Приходите к этому времени, пожалуйста, я вас познакомлю», – сказал куратор и, не дожидаясь ответа, ушел.

Это было не первое деловое предложение в начинающейся карьере Улиссы. К этому времени она сошлась с архитектором Власовым, который, пригласив ее для росписи карнизов здания банка и оставшись довольным результатом ее работы, все чаще привлекал к своим проектам. Но до сих пор Улиссе еще не приходилось иметь дело с конечным заказчиком, самой вести с ним переговоры о деталях и стоимости контракта и распределять подряды. Она пришла в назначенный час в заметном волнении.

В кабинете куратора кроме него самого она встретила молодого белокурого человека с подобранным снизу лицом, но открытым добродушным взглядом. Он оглянулся на звук открывшейся двери и поднялся ей навстречу, застегивая пиджак, одновременно и вытягиваясь в спине, и слегка наклоняясь в приветствии. Это был Федор. С первого взгляда ничего не произошло, Улисса едва разглядела его, едва разглядывала, волнуясь, даже когда на него прямо смотрела в процессе разговора. Улисса и мало что поняла из того, что тогда говорилось, запомнила лишь, что речь идет о зеркалах, светильниках потолочных и настенных, дверях и мелкой мебели – заказчик хотел подчинить все убранство своего дома, объединить его пространство неким художественным элементом или связанной серией элементов, неочевидных при первом взгляде, но являющихся рефреном, красной нитью и определяющим тоном в процессе деятельного пребывания в интерьере. Он скептически отозвался об установившейся моде на тематическое оформление разных комнат – столовая в китайском стиле или современная гостиная, – отдавая предпочтение «метаморфозам стилевого единообразия» (тут же улыбнулся и замахал руками, извиняясь за свое невежество в терминологии, как бы говоря «не знаю, как это выразить, но надеюсь, вы меня понимаете»), и предостерег от пустого украшения, подавляющего практически функцию предметов.

Улисса не выказывала готовности взяться за эту работу, лишь выражала понимание замысла, но, видимо, что-то в ответ все-таки говорила такое, что Федору понравилось, и он завершил разговор замечанием о том, что детали и смету проекта стоит обсудить отдельно, при личной встрече, тем самым исключив возможность ее отказа. Куратор курса же, исполняя роль своеобразного нотариуса при готовящейся сделке, произнес слова об истинной увлекательности поставленной в проекте задачи



(«к сожалению, в наше время не так часто встречается требовательный вкус»), о репутации академии, которую Улисса должна поддержать, и необходимости успешного старта ее профессиональной карьеры. Напутствуя таким образом Улисса, он пожал ей руку в тот самый момент, когда Федор, вновь вскочив со своего места, спросил ее, где ей удобно будет с ним встретиться вновь. Договорились на завтра же.

Назавтра она его и разглядела. Поводом для их сближения, который сразу разрушил границы строгих и сухих отношений между заказчиком и исполнителем, превратив их в партнеров, стало выясненное обстоятельство, что они всю свою прежнюю жизнь прожили в одном городе, почти на соседних улицах, но встретились (это «встретились» взамен «познакомились» прозвучало уже почти дружеским свидетельством впервые, кажется, все-таки из его уст) в тысяче верст от дома. Чувство хлебосольного землячества успокоило взаимное волнение и лишило сомнений, и между ними установилось подотчетное доверие, такое, что при любых обстоятельствах формирования, а затем и реализации проекта они легко находили компромисс. И уже только ретроспективно и, кажется, уже одновременно почувствовали, что искренне полюбили друг друга, в тесном сотрудничестве встречаясь почти каждый день, обсуждая, споря, доказывая и соглашаясь, — два человека, у которых никого, кроме друг друга, не было в чужом холодном городе.

Улисса придумала сделать системообразующим элементом интерьера Федорова дома цветок тюльпана — с юно вытянутым бутонем и не отслоившимся еще от стебля листом, или, напротив, приторно раскрывшийся, с опадающим, уже вянущим лепестком и настырно выставленными тычинками. В оформлении стен она использовала изображение пары тюльпанов, стройных, изогнутых, почти сплетенных, вписанных в орнаментированный квадрат то ли рамы картины, то ли зеркала. То был нарочито цветной и контрастный с древесным оттенком элемент в пространстве теплых пастельных тонов интерьера.

Федор был сыном кирпичного короля Федотова (он и подписывался сдвоенной «Ф», переплетенной завитками так, что выходил цветочный в радиальных лепестках круг), активно развивал собственное дело, а теперь решил строиться и затевал целую усадьбу на Напольной улице, неподалеку от семейных заводов. Вывалил на Улисса громадьё своих планов — больница для рабочих, школа и мастерские для их детей, общественная библиотека и даже парк — с такой напористостью, что та поспешила отстраниться от них. Она очень устала от поездок из Петербурга в Нижний и обратно, от необязательности подрядчиков и путаницы в сметах — от всех недоразумений и откровенных несуразностей, которые теперь уж не просто поджидали ее на каждом шагу, как обычно, но словно толпились и накатывали, напирали друг на друга, — а потому и слышать не хотела сейчас о возможном развитии и продолжении проекта. Не заметила даже, как закончила работу, не проверяла, расплатилась ли Федор с ней целиком, выбралась в покой, как на твердую после морской качки землю. Но едва пришла в себя, немедленно заскучала и без работы, и без него. Это стало актом их взаимного признания — когда Федор явился к ней не с бутылкой вина и холодной закуской, чтобы всю ночь напролет вместе корпеть над эскизами, но с букетом ирисов, в котором торчали билеты в театр, а она беззастенчиво, по-ребячьи или по-сестрински крепко обняла его.

Потом была Италия. Словно петербургский маршрут УлиССы, на котором она уже не могла остановиться, вышел на новый эволюционный



виток – Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, Генуя, Пиза, Венеция, Милан. В этом перечислении опорных точек четырехмесячного путешествия не было для нее никакого смысла – Улисса почти не различала городов, которые слились для нее в единый солнечный поток наслаждения творчеством и любовью, настолько плотный, словно бы он весь излился на нее в течение одного дня.

Поначалу, на первых своих рисунках, работая в карандаше, Улисса легко выводила свою фамилию целиком, работая углем – переходила в росчерк, с акцентом на переднее, как ворота «Па», а затем, освоившись с кистью, особенно здесь, в Италии, где буквально не выпускала ее из рук, стала помечать свои работы окошечком римской арки, в котором красовался пухленький, с чубчиком и хвостиком, с вывалившимся брюшком в манере старославянской вязи «аз». Улиссе забавляло, как помещенье плоское, перекатное пространство «Палова» обернулось тоннельным инженерным проходом. Так много их было здесь, внезапно открывающихся лестничных переходов, – за углом, меж домами и даже на тупиковых улицах всегда можно было выйти, выпрыгнуть куда-то еще, путаясь в высотах и сторонах городов до головокружения.

И только когда они преодолели Альпы, в Цюрихе, когда их обступила внезапная тишина горных вершин, а неудержимое марево, расцвеченное сочными красками, растворилось в памяти, когда Улисса принялась открывать чемоданы со свежими своими эскизами, а не покупать для них новые, она словно бы огляделась, и время вновь перестало для нее катиться кубарем, но пошло должным порядком. Здесь, среди размеренной организации тесных долин, где даже намек на закипание беспорядочной жизни грозил снежной лавиной, смысл обретало не только время.

Федор заговорил с Улиссой о равенстве, словно придав напитавшей их красоте дополнительное измерение социального чувства и красоту приземляя социальной ответственностью. Как-то вечером он признался ей в том, что подобно толстовскому Левину чувствует несправедливость своего положения, но, противно тому, находит смысл в общественной деятельности. Федор сказал, что сочувствует социал-демократам и много уж лет участвует в финансировании их деятельности, а здесь, в Цюрихе, должен встретиться с некоторыми из них.

Улиссе показалось это дополнение – не сразу нашлась как назвать – освежающим, строго разумным, а немного погода и само собой разумевшимся, обязательным даже для всякого развитого человека. Человека, развитого достаточно, чтобы преодолеть субъективную близорукость однобокой половинки. Не комьями же земли и палкой защищать уязвимость, тем более насильно приданную, но, да, исправлять выверенной мыслью, твердой волей и последовательным словом. «Здравый смысл не всегда исповедуется, но неизменно побеждает», – говорил Федор, и Улиссе очень нравилось внутреннее равновесие этого утверждения. Она горячо поддержала своего милого друга. Остаток лета они провели в Берлине.

В Германии Улисса вновь принялась рисовать, но поначалу путалась в прежней своей палитре, пока не подобрала новую, наиболее полно отображающую ее теперешний взгляд. По-прежнему пренебрегая сюжетами, Улисса нашла для себя форму предметного, как она говорила, портрета, в котором сиюминутная эмоция человека укоренялась в его доминирующем чувстве. Словно бы все сонмище образов, движение которых она наблюдала в окружающем мире, теперь сосредоточилось для нее исключительно в человеке и в нем распределилось синонимичными

рядами в мужском, и женском, и детском началах. Социальный вопрос, лишь пророненный, не дискутируемый Федором, обрел для нее значение вопроса наиболее общего, примиряющего в себе разнообразные различия. Внутри, в одиночестве, перед Богом, роится целый рой вопросов, но как только человек открывается вовне, все они отражаются в одном общем – вопросе социальном.

Вместо дворцов, орнаментов, диковинных вещей и платьев, фруктов, ослов и с ними человека, разделяемого по ее прихоти по полу и возрасту, теперь Улисса рисовала полицейских, рабочих, бюргеров, прачек и базарных торговков, коммерсантов, банкиров и клерков, наделяя их черты особым чувственным ореолом. Она ощутила, что зачарованное любованье, легкое и скоротечное, которое прежде вело ее и являлось источником вдохновения, неиссякаемым настолько, что захватывало дух, теперь, словно река, убранный в русло набережных, обрело почву, контекст, связность рассуждения. Ее творчество обретало платформу мысли. Это смущало Улисса – так ценимый ею прежде душевный порыв отстранялся в сторону, уступая место рассудочному намерению, – но делало, как ей в то же время казалось, работу полноценнее. «Эмоциональный протуберанец, – говорил об ее портретах Федор. – Ты освещаешь их собой. Они на тебя реагируют».

Это было время их длительных разговоров, когда любовники все глубже погружались друг в друга. Федор безошибочно угадывал в ее работах следы этих разговоров, Улисса находила в них опорные точки художественных флюидов, которые питали ее и носились бесформенные в ней. Итальянские эскизы она отставила в сторону и по возвращении в Россию принялась превращать намеченные портреты в картины. На границе они разъехались – Федор через Смоленск и Москву отправился в Нижний выправлять свои дела, наверняка разболтавшиеся за полугодовое его отсутствие, Улисса на пути в Петербург, сколь могла долго держалась побережья, где все еще тянулось влияние и память о Германии.

Она все более примирялась со своим мысленным, обдуманым творчеством. Тот же Толстой, как теперь ей казалось, разве не от ума забавлялся своими персонажами. В «Войне и мире» Улисса увидела структуру карусели, в которой парами – Наташа и Элен, княжна Марья и Соня, Николай Ростов и князь Андрей, старик Болконский и граф Ростов, те же Долохов и Денисов, а в центре – Пьер, как парафраза того самого дуба. И вся эта поразительно живая многомерная многоликая картина выписана для того только, чтобы выразить многослойное, как горные плиты, учение о движении народов и самого близкого для автора и родного из них – народа русского. Никакой научный язык не способен на подобную точность формулирования полноценно целого, пусть и не вполне понимаемого, осязаемого. А «Анна Каренина» – конечно, качели – Анна и Левин. И между ними, ближе к точке равновесия – Китти и Вронский. И все это колеблется утренним туманом в русской золотой осени, вертится сомнениями и правдоискательством неутомимой души на иголочке художественного образа.

В платформенной мысли, укорененной в самой мрачной мутной глубине народного духа и восходящей к блистающему горнему миру, Улисса видела родство русской литературы с немецким романтизмом. Но не столько Гейне, сколько Баха. Человек. Единственно человек! С тысячелетним былинным эпосом за спиной и пронзительным вызовом перед глазами. Одинокий голый человек. Без вспомоществования

долга перед ним. И вот оно – «Воскресение». И добровольное самообременение долгом.

Ее берлинские портреты имели успех в столицах, живо заигрывавших с социальным вопросом. Сам Прохор Дмитриевич Ауэр с удовольствием выставлял их и дорого продавал. Он же привлек внимание Улисссы к отечественной фактуре. «Вы достаточно метафоричны, я вижу, но публика всегда предпочтет узнавать себя непосредственно, – сказал он и поиграл пальцами, словно что-то крутил ими, и лукаво улыбнулся. – Вам замечательно удастся тревожный свет, через ракурсы создаете эффект движения, перспективой управляете размером – очень хорошо! Но, может, стоит добавить русской ноты, утренней газеты, так сказать, а?»

Улиссе очень не хватало Федора. Он часто приезжал в Петербург, они виделись, когда она навещала родителей в Нижнем и ездила в рабочие поселки Сормова, они встречались и в Москве, и в Иванове-Вознесенске – ей нравилась независимость и свобода их отношений, – но временами Улисса бывала столь переполнена чувствами и мыслями, или, напротив, ими же опустошена, что нестерпимо хотела поделиться со своим милым другом или им увериться.

Однажды они встретили ее отца. Вышло случайно – Улисса в этот раз не сообщала родителям о приезде – и оттого нелепо. Григорий Петрович Палов был очень удивлен, увидев дочь в ресторане братьев Розановых с незнакомым мужчиной, но виду не подал и счел необходимым подойти поздороваться, даже если она не заметила его, – иначе получилось бы, что он будто следит и подглядывает за ней. Улисса страшно растерялась, заметив отца совсем рядом, когда он вдруг вырос подле их столика, высокий и прямой, с сухим выражением лица. Федор в этот момент рассказывал что-то смешное, и она была возбужденно-весела, оттого ступавалась еще более и буквально вскочила покрасневшаяся, с суетливыми руками, чтобы поцеловать отца. Познакомила его с Федором – теперь неловко было всем троим. Григорий Петрович пожалел, что подошел, – признав в незнакомом мужчине жениха своей дочери, он был обижен на нее за то, что вот так, походя, знакомит их. Вышло так, что он невольно признал существующее положение вещей, хоть и не был с ним согласен и чувствовал себя едва ли не оскорбленным. К тому же, не нашелся, что сказать остроумного или веского и потому сердился на себя. Он сделал вид, что не заметил предложение Федора присоединиться к ним, и, сказав Улиссе «я передам матери, что у тебя все хорошо», ушел.

В тот приезд в Нижний Улисса так и не навестила родителей, придумав, что дает им время пообвыкнуться с мыслью о повзрослевшей дочери, вполне самостоятельной для того, чтобы вести жизнь, какую хочет. А впредь они с Федором избегали появляться в ресторанах на центральных улицах Нижнего, предпочитая заведение Бобикова в Сормове или «Старую Казань» за ярмаркой.

Улисса прочувствовала эту встречу с отцом неким посягательством и давлением на свою жизнь, тем более неприятными и раздражавшими, что в этом посягательстве и давлении не было ни умысла, ни вины чьих-либо. Подобные безымянные векселя оборачивались наиболее остро ранящим Улисссу переживанием недоразумений и несуразностей, их уж и вовсе едва ли возможно было изменить или исправить. И оттого она все больше нуждалась в Федоре, в его любви и кажущейся уверенности в том, что он делает, – если не поводом, то сопутчике междустолбов ее маршрутов.

Светские знакомства, которые Улисса все больше накапливала, никак ей не помогали, будучи подчиненными лишь самолюбованию или выгоде. Молодые, так же, как и она сама, ищущие новый язык художники и поэты, так же, как и она, лишь следовали за новым социальным вопросом, но не находили ответа на него. Эксперименты с эстетикой лишь усложняли реакцию старой этики, не обещая появления этики новой.

В одной подпольной брошюре поэтов-анархистов Улисса нашла похожий на колченогого механического жука стих:

Нос – клюв,  
Глаза – паровозные окна,  
Рот его – арбузная долька с пчелами в гнездах семечек-зубов.  
Шея – шприц,  
В шприце – липкий маковый соус,  
Всеохватное сердце шепчет неугою сладостных грез.  
Печень – могила,  
Желудок вампира,  
В руковетях ласкающих честно-смело дерзит манифест.  
Ноги-ножницы в танце  
Отсекают сомненья:  
Равновесье наисложнейшей фигуры – это простейший крест.  
  
Весельчак конферансье  
Приглашает в кабаре.  
Где на раз, и два, и три  
Без тревоги ты войди  
В искрометный мир войны  
И умри.

Последнее шестистишие было помечено как припев. Разумеется, озорство бесшабашных студентов-социалистов, подумала Улисса, ведь невозможно представить, чтобы кто-то сочинил на эти слова музыку. Но почему бы и не картину?

Улисса по мотивам этого стиха нарисовала несколько плакатов, на картоне, в экспрессивной манере – с угловатыми формами, резкими штрихами, в контрастных цветах. Теперь она применила псевдоним «Палая», который выводила с точками вместо «а» так, что вокруг похожей на нос перевернутой галочки «л» они напоминали глаза. Плакаты пошли не в галереи, а в богемные кафе и кабаки. Кто-то из их завсегдатаев, угадав источник, уже на месте докрасил их цитатами из декадентского стиха. Тогда Улиссой заинтересовались в жандармском управлении. Вежливый, незаметный, как горошина в тарелке с горохом, полковник пригласил ее на беседу, предостерег ласково, словно корову с вольного луга направлял в загон, и с заботой педагога угрожал. Улисса была до глубины души оскорблена подобным обращением и просила Федора свести ее с петербургскими партийцами – под полицейским давлением она почувствовала азарт. Она представила вдруг, что будет если однажды промозглой ночью персонажи ее портретов, развешанных в домах по всему городу, все эти заводские рабочие и мастеровые, сойдут с полотен во плоти и потребуют свое. «Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое». Она почувствовала омерзение, заметив, как порочные люди объединяются в достижение большинства, чтобы именно честных людей, окружаемых со всех сторон, назначать преступниками.

Палая, талая, малая. Шалая. Улисса увлеклась иллюстрацией подметных памфлетов. Она познала ядовитое удовольствие человека, который обрел силу со всею заинтересованностью и дружелюбием разговаривать со своим обидчиком, обдумывая в то же время, как отомстит ему.

Федор примчался, как только узнал про жандармов. Подробно расспросил ее, что да как, и, немного успокоившись, тоже предостерег, но по-своему, сказав, что еще не время. «Когда стоишь в относительно узком коридоре, например, ждешь лифт, то подсознательно занимаешь место где-то на середине его ширины, как бы оставаясь в одинаковой степени связи с одной стеной коридора и другой. Но представь себе площадь – Дворцовую здесь, в Петербурге, или Святого Петра в Ватикане – пространство, размеры, объем которого многократно превышает твои собственные. А? Представь себе силу, с которой тебе не сладить. Тогда ты, словно подчиняясь закону притяжения масс, инстинктивно будешь стараться приблизиться к одному из тех объектов, что это пространство формируют своей громадой, – ты выберешь сторону. Стоять одному, на самой середине, в нейтральной полосе, между взаимно противными силовыми полями трудно, почти невозможно, – сказал Федор и заглянул ей в глаза. – Понимаешь?»

– Поэтому в центре площадей устанавливают памятники или сажают деревья, – добавил он, усмешкой скрывая тревогу. Тогда Улисса впервые заметила у него револьвер.

Они провели вместе три дня и все это время на виду тех, кто мог бы ими интересоваться, – демонстративно появлялись в разных цивильных местах, ужинали в «Палкине» или «Доминике», заходили к Ауэру, Филиппову и в «Квисисану»; дома лишь кратко ночевали. Но, отвлекаясь от страха жандармского преследования, вызвали друг в друге волнение другого рода. Увидели это по глазам, в которых взаимно отразились в последнее утро, – Федор словно был удивлен тем, что ему вдруг пришла пора уезжать, Улисса и вовсе не находила уже ответа, зачем ему уезжать, когда бы то ни было. Нежность, которая отразилась в ее взгляде, ее бесхитростное желание обладать им и ему целиком принадлежать воспалило его сердце. Федор крепко обнял ее и горячо зашептал в самое ухо:

– Я знаю. Я все знаю. Но не сейчас, надо потерпеть.

Улисса никогда не спрашивала Федора об его делах, даже и не думала о них, предполагая, что он сам, без ее участия может, да и сам должен. Она лишь проявляла постоянную готовность дружеской поддержки, бывала внимательна к любому его настроению и предусмотрительна так, что он, даже находясь за тысячу верст, никогда не сомневался в ее присутствии. Но в то утро и неведомо почему все стало как-то иначе – Улисса зашлась предчувствием тоски от близкой разлуки и облепила его собой, спеленала его.

Федор пытался успокоить ее, но лишь сильнее растревожил. Уговаривая в чем-то и себя, он вдруг сказал, что дело вовсе не в революции. Что социалисты, может быть, где-то, в более счастливых местах, и могут сыграть созидательную роль, но в России, отсталой и в своем невежестве инфантильной, они, даже и не желая того, самым порядком вещей будут принуждены к мошенничеству, как взрослые необходимо мошенничают с детьми, манипулируя их зыбким сознанием. Федор сказал, что даже отец его, сколотивший здесь состояние, предчувствует крах. «Вся семья собирается уезжать, – горячо шептал Федор, – мы выводим



средства за границу». Затем отстранился, удерживая взволнованное лицо Улиссы в своих ладонях, коснулся носом ее носа и улыбнулся: «Мы тоже уедем. Год-два – и уедем. Я сделаю для них все, что обещал, а там уж пусть как хотят. Будь что будет. Нам с этим не сладить».

В первое мгновение ей понравилось это его «мы», ласковое тепло растеклось в ее душе от того, что он принял решение за них обоих. В его признании, случайно вызванном приступом утренней отчаянной нежности, она увидела игривое желание сюрприза, который скрывают до самого праздника, а затем в нужный час предъявляют ко взаимной щекочущей радости. Но спустя время она явственно услышала и его «уедем» – оно звучало уклонением, избеганием, исходом, оно сквизило трусостью. И такое милое ранее «мы» теперь царапнуло ее гордость – за них обоих Федор принял решение именно отказаться. Он все еще отдавал какие-то свои, неведомые ей долги, но уже готовил себе место на безопасной стороне, не только не сопротивляясь ущербу своего, или – неужели?! – их положения, но оправдываясь этой ущербностью, словно ее оберегая.

И в то же время «уедем» обещало ей покой, освобождение от глупых несуразностей, которых, на взгляд русского туриста, в подчиненной поряdkу Европе и не бывает вовсе, прельщало тем самым оздоровительным обновлением, которым так соблазнительно бывает всякое будущее, тем более такое, сопряженное с дорогой. Улисса услышала в этом слове и возможность стать им наконец действительно вместе, будто бы они хотели, давно уже добивались этого, но никак здесь не могли. Она и не думала никогда, они никогда не обсуждали намерение объединиться семьей, но теперь Улисса была словно уверена, что им здесь что-то безусловно мешает, будто бы все окружающее и даже самый воздух снова и снова формируют обстоятельства непреодолимой силы, разделяющие их. «Уедем» прозвучало для нее избавлением от привычно узаконенного для всякого русского человека, не требующего доказательств своего существования, едкого удушающего дыма Отечества.

Но в суматохе сборов и прощания, когда Федор на перроне вокзала целовал ее руки, согревая их своим дыханием, заглядывал в заплаканные глаза, подбадривая улыбкой, Улисса не успела додумать свои противоречивые мысли. Они договорились встретиться в мае, в Москве, и друг другу пообещали «не делать глупостей» в оставшиеся два месяца.

Незаметно для себя самой Улисса в это время отставила свою работу. Заигрывая с жандармами, она иллюстрировала социалистические памфлеты и перенимала от партийных связных, которым передавала изрисованные блокноты под столиками кафе, вкус к конспирологическому изменению внешности. Она чувствовала себя защищенной призрачно радостным будущим и забавлялась игрой на площадных подмостках целого города. Но работу, серьезные занятия живописью оставила, словно предчувствуя некий новый период своего творчества.

Недодуманные мысли, рожденные словами Федора, в этот период язвительного отдохновения все еще оставались в ней не разрешаемыми до конца. Как последний застигнутый на тарелке крепкий склизкий груздок, который не прихватишь вилкой – дразнит и манит, но не дается, – так и мысль о том, будет ли трусостью бросить все прежнее, а значит, обесценить все сказанное, сделанное, обещанное, кружилась в голове, но никак не разрешалась ответом. Она чувствовала разочаровывающую приземленность того счастья, которого все ярче хотела,

и никак не могла решить, насколько это желание простительно. То, что оно простительно в целом, Улисса уже про себя знала, не решалась лишь оценить, мало-душие – это насколько мало и недостаточно? Единственно человек – всего лишь человек. Тоже ведь не проговаривая, Улисса умудрялась теперь согреться этим допущением. Подобно тому, как, убедившись, что никто не видит, прихватишь тот груздок пальцами да и насадишь его, наконец, на вилку собственной рукой.

«Все всегда уезжают». Меланхолическую поэтику русской образованности Улисса позволяла себе с удовольствием, гуляя по Марсову полю, где уже все чаще по теплой погоде бывали выезды конных гвардейцев. Петербург располагает не столько к живописи, сколько к стихам. И вот уже Летний сад приводили в порядок после зимы.

Она приехала в Москву с робкой, новой для себя мыслью, что должна просто довериться Федору. Как красавица Настя в своем танце, опасно выгибалась, почти падала назад в надежде, что рука воображаемого партнера подхватит ее. Это залог, быть может, и жертва с ее стороны, но как же иначе, если они будут вместе.

Федор ничего не заметил. Кажется, не услышал даже и того, что она именно согласилась на отъезд, а не просто признала его решение. Искренне радовался встрече, отдавался ей весь целиком, но заметно тяготился какой-то задней позвоночной тревогой, поедая отведенное им время второпях, полной ложкой, вероятно, не ощущая даже его вкуса, как делают люди, надеясь насытиться впрок.

Лето провели в Париже, где Улисса с наслаждением погрузилась в атмосферу Монмартра с его дрожащим зыбким штрихом, притаившимися тут и там лестницами, вездесущим аккордеоном и красным шейным платком. Она разглядела здесь горделивую радость нищеты в противовес злобному ерничанью берлинских кабаре и примеряла к себе это ощущение, словно платье – а если так? Можно ведь и иначе. Время флирта, время ревности, время выяснения того самого «где здесь ты и где здесь я?», которое если не обеспечивает равенство, то, во всяком случае, устанавливает равновесие.

Возвращались уже осенью через Швецию и Финляндию. Во всех столицах Федор по несколько дней пропадал в местных банках, но избегал обсуждений планов об окончательном отъезде из России. Улисса замечала сосредоточенную задумчивость, которая порой находила на него, и за его молчаливостью видела желание уберечь ее от излишних тревожений. Не находила оснований сомневаться и, решив однажды довериться, просто выжидала, была подчеркнута рядом.

Петербург в этот раз принял ее дружелюбно и радостно, как и положено городу, в котором ты оказываешься проездом. Мысленно приготавливаясь к новой, непредставимой еще жизни, Улисса подобно Янусу сменила внутреннее полуса – и теперь, возвращаясь домой, словно дом покидала. И мудрый Петербург откликнулся – задернул от ее взгляда все свои неопрятные углы и конфетами мимолетных удовольствий направлял на блестящие туристические маршруты, где если и возможна встреча с пороком, то только в себе самом – «извините за погоду, сударыня». До конца года Улисса брала лишь мелкие интерьерные заказы, щедро наполняя их парижским шиком, и никому не показывала свою новую радостную живопись. А наступивший январь 1905 года оглушил и раздвинул ее.

Улисса встретила стачку, охватившую все петербургские заводы, с воодушевлением – «вот они сошли потребовать свое». Трубный рев

вхолостую выпускаемого из цеховых котлов пара звучал гимном. Черные толпы, растягивающие на проспектах тетицу транспарантов, походили на штормовую волну, в которой мелким прибрежным мусором кружатся нелепые жандармы и шакалящие в подворотнях филеры и подпольщики; казахи разъезды гоняют повзрослевшую шпану. Улисса восторженно наблюдала, как в черно-белом городе пробуждается живой цвет. Но все ахнуло и застыло, замолкло ужасом под ружейные залпы на царственной площади. Внезапным, словно исподтишка, со спины, с той стороны зеркала ударом в незащитное лицо вся картина была рассечена. И кровавыми лохмотьями разорванного собаками тела побежали по городу одичавшие в один миг люди, не зная куда и не думая зачем.

Улисса сжалась от страха, омертвела той предательской оторопью, которую познала при виде оголившегося в нижегородском переулке ножа. Она словно слышала свист летящего камня, неведомо кем и куда выпущенного, и пригнулась в безотчетной надежде, что камень летит не в ее голову, что он пролетит мимо. Федор позвонил уже на следующий день – требовал срочно ехать в Нижний, опасаясь репрессий и беспорядков. Ударом остановившееся время скрючивалось и крошилось, как сминаемая сапогом картофелина. Он принялся звонить уже каждый день, пока Улисса приходила в себя, запоем читала газеты и боялась газет. «Родные товарищи-рабочие! Итак, у нас больше нет царя! Неповинная кровь пролегла между ним и народом! Да здравствует же начало народной борьбы за свободу!» Дробь восклицательных знаков, маршевая тарабарщина слов, взывающих к гордой памяти справедливости, отзывались эхом с той стороны будущего, настойчиво проклевывая, разрывая его пелену. Дробь восклицательных знаков не различала цели.

Улисса чувствовала себя человеком, застигнутым обвальным ливнем на самой середине площади – отсюда путь только навстречу, вверх, раскинув руки. Никуда не поехала. Наполнялась яростью и гневом.

Улисса возобновила партийные знакомства и отчаянно шагнула в поток прокламаций, манифестаций, демонстраций с очистительной радостью поставленного к стенке последнего героя. «Свободу слова! Право на слово! Свободу слова! Право на слово!» Редкая стрельба по ночам – кажется, за самым углом и, да, кто-то бежит – это волки добивают оставших и раненых.

Федор приехал сам. Выкурил пачку папирос, пока наконец дождался ее. Выбежал к самым дверям, как только услышал клацанье замка, с размаху обнял, окружил ее собой.

– Как ты? В порядке?

– Я хорошо, – посмотрела ему в глаза снизу вверх, поцеловала в подбородок. – Рада тебе очень, – улыбнулась. – Почему не предупредил?

– Решилось в последний момент. Суeta сейчас, сама понимаешь, – не знал, когда смогу.

Прошли в комнату.

– Я ничего не приготовил, извини.

– Не страшно, я поела. Будем чай пить. Ты как? Что в Нижнем?

Улисса захлопотала у самовара. Федор выглянул из-за задернутой портьеры на улицу, прошел к другому окну – видимо, так и ходил по комнате, пока ждал ее.

– Разгорается. В Сормове постоянные столкновения, в самом городе уже неспокойно. Власть трещит – войск нет, только жандармы. Фор-

мируются боевые отряды, уже в открытую, непосредственно в цехах, в рабочую смену, на хозяйских станках производят оружие. Со дня на день, в общем.

– Значит, так, – проговорила Улисса, ее лицо выражало строгое спокойствие.

– Этого не остановить.

– Я иногда думаю, что же дальше, что будет потом, после.

– Мы уедем. Следующей весной. Я уже нашел покупателя на дом, правда, дешево.

– Мой дом, – улыбнулась Улисса, вспомнив, как обихаживала его, как, волнуясь за каждую деталь, выполняла свою первую крупную работу, вспомнила, как они познакомились. Всего несколько лет и некую, осознаваемую сейчас как иную, жизнь назад.

– Можем ли мы уехать? – без вопроса спросила она.

– О чем ты?

Федор остановился, заложив руки в карманы.

– Сейчас, – с ударением сказала Улисса, – можем ли мы уехать.

– Именно сейчас и должны. Опасаюсь, не поздно ли.

– Но ведь дело в самом разгаре. Твое дело. Ты посвятил ему гораздо большее, чем я.

– Нет, это уже не мое дело.

– Говорил слова, воодушевлял, привлекал, обещал... И можешь за просто бросить, когда тебе поверили, за тобой пошли и уже не смогут вернуться.

В ее интонации прозвучал вопрос.

– Я уже не верю. Все изменилось с тех пор. Нет, не жалею, но... Даже обидно, понимаешь, как все оказалось вывернутым. Я хочу вырваться из обстоятельств, к которым не имею никакого отношения, они формируются словно сами собой, по непонятной мне логике. Я не чувствую за них ответственности, нет здесь долга.

– А я думаю, что не столько Гапон провокатор, даже если и допустить такие подозрения, сколько мы, мы все, так умно разглагольствующие. Каждый из нас несет ответственность за то воскресенье. Теперь уж надо идти до конца, разве нет? Иначе что ж, неудачный эскиз, черновик, попробуем еще, по-другому как-то? Я не кошка – у меня не несколько жизней.

– Что ты хочешь сказать?

– Я не поеду. Не сейчас. Не знаю, когда смогу.

Федор бросился к ней, присел на корточки рядом, ухватил за руку.

– Уля! Я не понимаю тебя, – нащупал за спиной стул и, не спуская с нее испуганного взгляда, не выпуская руку, сел на него, – мы же все решили, ты согласилась. Мы же все уже обсуждали. В чем дело?

Она в ответ пожала его руку и высвободила свою, не глядя на него. Качнула головой, словно подтверждая его слова, но сама сказала другое.

– Все всегда уезжают. Но надо пробовать остаться.

– Извини, это просто глупо, – воскликнул Федор. – Это жертва? Чему, ради чего? Почему ты?

– А почему не я? – Улисса посмотрела на него, сквозь длинную челку каре. – Я хочу говорить, понимаешь, это ведь действительно право, исходное и неотъемное. Одно лишь при этом условие – быть здесь, – она усмехнулась.

– Ну хорошо, – Федор откинулся на стуле, сложив руки на груди, – ты спрашивала, что будет дальше, после этого. Я скажу тебе, что

будет – все полетит к чертям! Все, что ты знаешь, к чему привыкла, чему доверяешь и во что веришь, – все это перестанет существовать, перевернется противным себе, вывернется обратным...

– Знаешь, я слышала как-то от одного футуриста, мол, да, слов слишком много, но при этом ни одно из них не оказывается однозначным, впадая в зависимость от контекста. Поэтому нет, слов явно недостаточно.

– Вот именно! Все прежние слова уже не имеют смысла...

– Говори, пожалуйста, проще.

Федор видел, что Улисса не слушает его, заранее готовая к любым его соображениям. Она словно в сомнамбулическом забытии, как корова, направляемая потоком стада, тяжело, но спокойно брела к месту забоя. Он вскочил и, торопливо закурив, снова заходил по комнате.

– Власть не способна деятельно защищаться. Вызвав террор, она и сама лишь на террор способна. Сейчас или через десять лет эти непоколебимые от века горы монархизма рухнут мелким щебнем. Надо будет строить что-то новое. Но строить здесь никто не умеет. Буржуазия? Наша буржуазия не производительна – только рента и откуп. Тех сил, которые смогут сформировать новый порядок, просто не существует. Я вижу это совершенно отчетливо, так уж вышло, что вижу обе стороны, – все разговоры о справедливости и долженствовании вертятся на тонюсенькой ножке вопроса о власти. Она и только она – цель, сакральная в своей герметичности чаша истины, а вовсе не средство. Что с ней делать, как применить, никто не знает, все любят ее.

– Красиво, – сказала Улисса. – Пусть так и будет. Пусть будет даже так, но я смотрю из своего маленького окошка, не могу окинуть взглядом такие широты, отвечаю лишь за себя, но за себя я не могу не отвечать.

Она вздохнула и заторопилась к закипающему самовару.

– Ты, пожалуйста, не думай лишнего, – достала чашки, заварила чай в огромном, похожем на вазу чайнике, – я очень тебя люблю, я говорю все это так спокойно, потому что говорю изнутри нас. Ты сам виноват, приучил меня к доверию. И мне очень радостно. Всем сердцем хочу, чтобы мы были вместе, называй это мужем и женой, братом и сестрой, друзьями – мне все равно, лишь бы мы не расставались. Зачем я это говорю, не знаешь?

Улисса вдруг искренне засмеялась. Федор взволнованно смотрел на нее, не понимая пока, к чему она ведет.

– Но видишь, как выходит. Мы не можем спрятаться и избежать не можем. Никто ведь не обещал нам счастья, никто не должен защищать нашу любовь. Ты пугаешь крахом, разрушением, уничтожением – пусть так, но что это означает для нас?

Улисса посерьезнела и все так же, стоя в другом углу, через комнату сказала:

– Я объяснила тебе, почему не могу уехать. Очень хочу, чтобы ты понял меня. Это не призыв к тебе, не ультиматум. Это мой способ остаться собой в нагрянувшем хаосе. У тебя он, возможно, иной, – и через паузу твердо добавила: – И я не знаю, что будет.

– Хорошо, – ответил Федор, – если я правильно понял, то скажу, что время еще есть. Я не все могу тебе объяснить, это очень длинный разговор, как долго я приходил к своему убеждению, но думаю, еще есть время, чтобы и ты убедилась. Что разумно и правильно не погибнуть в хаосе, а извлечь из него уроки, чтобы знать на будущее, как с ним



справляться. Ладно, не будем продолжать этот спор. Если ты не надумаешь, то я не знаю... я не знаю, зачем и мне уезжать, без тебя, – он пожал плечами, – без будущего.

В таком качении, в ожидании, в разглядывании бесноватых событий прошло оголтелое лето, вывернулось тревожной осенью. Манифест 17 октября возродил в Федоре старые и даже возжег новые надежды. Он с радостью видел, как общественная жизнь, кипящая негодованием и оттого лишь рвущаяся к разрушительному возмездию, вдруг принялась прибирать себя в устанавливаемых рамках, опираясь на хилые, но все-таки твердые кочки земства, университетских кружков и даже отдельных людей, неведомо где берущих силы, чтобы, не колеблясь, стоять прямо и на месте. Необходимо собрать вместе очень много порочных людей, чтобы сгустилась тьма, но достаточно лишь одного честного, чтобы разогнать ее без следа. Так единственная свеча способна осветить самую большую комнату, и даже там, где свет ее слабел и иссякал, она оставалась способна выявить уродливую фигуру старого шкафа. Так Максим Горький бросал свой публицистический вызов народной мудрости Толстого в единой с ним вере в то, что изначально был явлен все-таки свет, а не тьма.

Федор, радостный и возбужденный, звонил Улиссе, чтобы признать-ся ей, с удовольствием покаяться в том, что, возможно, был неправ. И даже посмеялся над тем, что так скоро продал свой дом и теперь вынужден снимать квартиру. Но Улисса, напротив, увидела в последних манифестах новый рецидив хаоса, еще более жуткий. Улисса материнским чутьем приняла восторг Федора, соглашалась с ним, избегая споров через тысячу верст, но была нахмурена и кусала губы, вспоминая его слова о грядущем разрушении. Она вспоминала очерки Лаврентьева, написанные после убийства императора Александра, когда народовольцы собственными руками в самом невинном трепетном зародыше уничтожили Конституцию. «В духовном тулове разверзся разлом, из которого с гулом и треском взметнулись ледяной вихрь и адское пламя – нечто чужеродное, волевое и требовательное с безжалостной определенностью выпросталось из открытой раны».

Улисса теперь воочию видела этот разлом, который угрожал разделить не только прошлое и будущее, но и их самих друг от друга и каждого из них внутри. В звонке Федора из неторопливого Нижнего, из края сытой и спокойной провинции, она расслышала добродушное стремление к умиротворению. Надежда, которой лучился Федор, была об установлении порядка как условия покоя. Но здесь, в энергичной столице, где металл прорастает в камне, бесконечно пробуя свою силу, любой установленный порядок воспринимался как ограничение и постоянно оспаривался, призыв к умиротворению воспринимался как слабость. Улисса видела, как блестящая столица, мнящая себя путеводителем, брезгуя бескрайним морем невежества своей страны, олицетворяла ту самую войну, от которой отвращала светом образования и практичности, а дикое поле, погрязшее в пьянстве, прозябающее в предразсудках и примитивных инстинктах, оказывалось опорой мира. Русский уроборос вертелся вокруг неведомой оси так, что ни в какой момент нельзя было уже определить, где здесь голова его, а где хвост. Что тьма и что свеча, зажженная во тьме.

Как это выдержать? Глядя на себя с Федором, удерживая его и придерживаясь за него, Улисса понимала, что лучшее, самое большое достижение здесь – это прожить по минутке целую жизнь. С началом

декабрьской забастовки Улисса уехала в Москву – она должна была видеть происходящее собственными глазами.

На всем протяжении Николаевской дороги стояли войска. Губернатор ввел чрезвычайное положение, но город ликовал и бесновался. Тут и там нелепые смерти, но горожане бодры и веселы. Шумят митинги, кружатся слухи, гимназисты рассуждают о том, что полицию необходимо разоружить. Вот уже взрывы, в Москве пальба из пушек, но толпа, шастающие по всему городу толпы людей все многочисленнее, воодушевление возрастает в экстаз и запирает улицы баррикадами. Улисса застигнута врасплох у Хамовнической заставы, едва выбралась из-под обстрела. Случайный извозчик провез лишь полдороги, до гостиницы добиралась пешком – лавки заперты, брошены корзины, из-за угла выбежал человек с револьвером и тут же скрылся в переулке, с посвистом пролетели казаки. Ей пришлось стучать в дверь, чтобы пустили, долго стучать, пока изнутри не выглянули в окно, разглядеть, кто пришел. Хозяин советовал не выходить, а лучше уезжать. Но Улисса осталась. Когда прибыли семеновцы, стало тише, она решила съездить со знакомым Федора на Пресню.

Щербатая гора ломаной мебели, укрепленная наброшенными воротами и мешками с землей, сорванный с одной стороны транспарант косо свисает, слабо дует на ветру и уже затоптан с другого конца. Вокруг десятка два молодых мужчин с колкими взглядами – они постоянно перемещаются, окрикивают друг друга, словно не находят места, хотят побежать, но не знают куда, и спрашивают, может быть, кто-нибудь из них знает. Вертят головами, постоянно высматривают опустевшую улицу, пытаюсь угадать, с какой стороны баррикады появятся солдаты. В соседних окнах, как в гнездах, – дозорные. Улисса стояла у выступа стены, впитывая обостренным сейчас чувством все краски стылого декабря, в беспорядке перечеркнутого напряженными линиями. Всё вокруг – тяжелые дома, предметы и люди – было словно вытравлено, возбуждено чем-то ядовитым на ровной плоской поверхности серого дня. Особенно ясно проявлялись фигуры людей – один сидит, опершись спиной на стену дома, курит в кулак, второй вскочил на пивную бочку, тянет шею, что-то выглядывая вдаль, третий, стащив шапку, чешет голову, а этот спокоен – стоит, расставив ноги, проверяет, полон ли барабан револьвера, еще двое разговаривают в стороне, постоянно кто-то шмыгает во двор, кто-то обратно, тащат и тащат какие-то вещи, все плотнее устанавливая их общую кучу. Парень в заячьей шапке катит вихлястую тележку, груженную булыжниками, другой семенит рядом, согнувшись и придерживая тележку, когда та прыгает на выбоинах мостовой; его сапоги велики ему – звонко шлепают подошвами.

Вот прибежал один суетный, с подозрением оглядел Улиссу, но знакомый Федора, который и привел ее, сказал, что, мол, своя, и тот махнул рукой. Он достал из-за пазухи какую-то бумагу и, привлекая общее внимание, стал громко читать. То был приказ боевого комитета, как все уже здесь понимали, совершенно к этому времени бесполезный. Но никто еще не уходил с баррикад, перекликаясь друг с другом. Вот из окна крикнули: «Идут!» Повыглядывали наружу – на улице метрах в ста явилась семеновская цепь, с ними пушка. «Надо бы уходить, Улисса, – сказал знакомый Федора. – Сейчас будет жарко».

– Ах ты, черт! – вдруг выкрикнул один, с виду студент, поправил на голове картуз и начал перелезать через баррикаду, проваливаясь ногами и со злостью отбрасывая мешающую мебель.

– Изменник! – крикнул человек с приказом, выхватывая пистолет.

– Да погоди ты, – остановил другой, твердо удерживая его руку. – Артем, ты что удумал? – крикнул, обращаясь к студенту.

– Сейчас. Может быть, получится. Свой же, мать его! – откликнулся тот с той уж стороны и быстро пошел к цепи.

Офицер приказал изготовиться, солдаты вскинули винтовки, студент остановился, подняв руки.

– Братцы! Ну что вы делаете! – крикнул студент. – Мы же за вас, мы же за общее. Хватит пальбы!

Слышно было, что он кричит с той улыбкой, которая бывает лишь сквозь слезы, как выражение последней степени отчаяния. И сам наверняка не верил, что сможет просто так уйти отсюда, знал, что все имена известны, что жандармы уже поджидают его дома, что окрестные улицы оцеплены. Но вот кричал, потому что нужно что-то делать в эту минуту, нужно хотя бы надеяться в последнюю минуту.

На улице позади семеновцев показались черные казаки, один из них так быстро выскочил из-за угла, что едва смог развернуть на ходу свою разгоряченную лошадь. Та запетляла ногами, приседала задом, путалась с галопа на рысь. Но казак рвал ее, выскочил вперед и сквозь расступившуюся цепь солдат ринулся на студента, вытягивая на ходу шашку из ножен, словно тащил кишки из освежеванной туши. Улисса сама не заметила, как оказалась на баррикаде вместе со всеми, крепко сжимая чью-то руку – ей было страшно, и она во все глаза смотрела на то, что происходило перед ней в эту неостановимую минуту. Движение шашки, плавное, с летящим махом вверх, а затем хлесткой петлей, обратно, с оттяжкой вниз, она запомнит на всю свою жизнь, как грациозное па красавицы Насти. Казак вскинулся на стремянах, согнулся в пояс и с прямой спиной, глядя исподлобья вперед, словно хищная птица, резко ударил саблей и на отлете отнес руку назад. Студент упал, и было видно, как стремительно росла под ним, прожигая утоптаный снег, лужа крови.

Кто-то выстрелил, потом еще и еще. Казачья лошадь на скаку подломила передние ноги, занесла, заскользив, зад на бок и тяжело опрокинулась через голову. Наездник сорвался вперед и наверняка вломился бы в кучу баррикадной рухляди, если б не зацепился шпорой в стремяни, – дернулся в неловком полете, рухнул наземь, и умирающая лошадь придавила его задней ногой. Казака разорвали здесь же, руками, пока семеновцы бежали, беспорядочно стреляя на ходу. Убили многократно, несколько человек разом, кромсая его тело и обливаясь бьющей во все стороны кровью. Кто-то упал подстреленный, кто-то метнулся обратно, волоча кровавый след. Пальба со всех сторон. В облаке кислого порохового дыма мечутся люди. И все одновременно кричат.

Улисса уже убегала через двор, едва удерживая зашедшее сердце. Во всех преследовавших ее криках она слышала то же самое, что кричала и душа ее, – надрывное «Боже мой!», в котором и удивление разрушаемого сознания человека, и страх загнанного животного. Словно все участники кровавой нелепицы, совместно ими совершаемой, видели и осознавали, как легко собственными руками они преодолевают священный предел жизни, по вздорному произволу, почти случайно разрушают невосстановимую более границу допустимого и невозможного. Теперь уже возможно всё, ужасалась Улисса. Картины дня мешались в ее голове, тяжело слипались увиденной кровью и словно топили ее – казалось, что подминаются ноги или проминается под ней земля;

в глазах все зыбко и клонится, сходится над головой, а внизу, напротив, раздается в стороны так, что не удержаться. Не за что удерживаться. Улисса боялась, что вот сейчас потеряет сознание, встряхивала головой, била себя по щекам, откашливая приступы тошноты.

Вырвалась на какой-то угол. И внезапно перед ней вздыбилась лошадь, чуть было не сбила ее, перебирая в воздухе вздернутыми жилистыми ногами. Улисса ахнула, отпрянула назад, не сразу заметила занесенную над ней плеть. Но рука замерла и опустилась – казак в кубанке, в скосившемся набок развязанным башлыке, в черной шинели, с винтовкой за спиной, строго смотрел на нее. В первую минуту ей показалось, что это тот же, растерзанный на баррикадах, вот сейчас опять перед ней, осязаемый, словно живой. Его убитая лошадь трясет головой, жуя удила, и рвется, дергается ногами, кружит на месте в строгих поводьях. Влитой на ее спине казак не спускает с Улиussy глаз.

– Как вы здесь, барышня? – хриплым спокойным голосом сказал казак, вытянув неровным выдохом последний звук.

– Ужас, ужас... Потерялась, – Улисса не узнала свой голос, облизывала и кусала пересохшие губы. – Я художник, хотела увидеть, – добавила она с той же нелепой усмешкой последней степени отчаяния, с которой кричал студент.

Ей привиделся гриф, который над ней, словно над трупом, склонил голову, тянет змееподобную оголенную шею; нос-клюв целится в разверстую рану. Казак наклонился к ней, едва не сполз на бок лошади, уперевшись ногой в стремя, крепко обхватил рукой и рывком всего тела вернулся в седло, усадив Улиussy перед собой.

– Кажись, увидели, – усмехнулся он с ядовитой злобой, выдыхая последний звук перегаром в самое ее лицо. – Вывезу вас на Садовую.

Она заметила его близкий взгляд, заметила сальное движение его губ, но в жестком кольце его рук, держащих поводья, почувствовала себя в безопасности. Лошадь пошла шагом. Встреченные в оцеплении солдаты, заметив женщину в седле казака, заголосили шутками, что, мол, мы – за царя, а казак – непременно за трофей, что вот и кончилась его боевая смена, а там – хоть трава не расти, что ему осторожнее стоит быть, чтоб не заразиться от нее социализмом.

– Ну, будет языками чесать, – гаркнул казак, угрожающе взмахнув нагайкой.

Действительно вывез на Садовую, к самой Тверской. Ссадил Улиussy с лошади и, медленно проговорив «Не попадайся мне больше», рванул лошадь и поскакал обратно.

Как только пришла в себя, еще по дороге к гостинице, Улисса решила уезжать из России. Хотела позвонить, дать Федору телеграмму, немедленно сообщить ему, что нужно уезжать скорее, еще скорее, чем в марте. Этим намерением, самым собой родившемся вдруг в ней, она и вернулась в сознание, вновь восстановив в себе чувства пространства и времени, ощутив жажду и зуд немедленных скорейших действий. Но затем собралась поехать к родителям, к маме и отцу, объясниться с ними, наконец, и тем уж попрощаться. Решила, что будет правильнее и Федору сообщить о своем согласии на отъезд при личной встрече в Нижнем, так, чтобы они могли видеть глаза друг друга и избежать недоразумений. Но все дороги, кроме Николаевской, стояли, и на следующий день Улисса выехала в Петербург, теперь уж рассудив, что позвонить она сможет и оттуда; Улисса не помнила, говорила ли она Федору, что будет в эти дни в Москве, и не знала, что сейчас происходит в Нижнем.

Уже в вагоне, непривычно набитом людьми так, что сидели на тюках и чемоданах в проходах, успокоившись после очередного кровавого потрясения, Улисса нашла себя в совершенном одиночестве. Что остается, кроме него, когда незыблемые, казалось, пределы не только преодолены неким исключительным событием, не только разрушены злой, упорной и сосредоточенной силой, но словно бы и не существовали вовсе никогда. Массы людей, уже совершенно буднично, не только уж заступают незримую границу, но запросто ходят туда-сюда, вовсе ее не замечая. Где здесь сон, а где явь? Что из того, что видела Улисса, на самом деле не существует?

Теперь ей казалось, что она и всегда была одинока, а редкие всполохи счастья, подобные брызгам солнечного света на лесной опушке, которые, она думала, способны при особых обстоятельствах разрастаться и сливаться в широкие пятна, были лишь нелепой надеждой. То было лишь желание счастья, несбыточное с той самой минуты, как только задумываешься о нем. И что это такое вообще? Улисса не могла вспомнить и понять не могла. Внутренне пожалела, что некто и некогда выдумал легенду о счастье, как опиумном дурмане, с неясной, а возможно, и зловредной целью. Как когда-то выдумали романтическую любовь – выдумали и все лишь окончательно запутали.

Улиссе было так тяжело, она так жалела себя, ни в чем не повинную, что хотела просто вернуться, не зная куда, но идти по знакомой дороге. «Мама!» – восклицала она про себя, одинокая среди чужих людей, не уверенная в том, что не кричит сейчас в голос. Она спасалась мыслью о том, что и другие люди бесприютно одиноки, как и она сама, что только это одиночество и роднит их, объединяет, единственно оно и избавляет от чужеродной враждебности. И Улисса стала с интересом вглядываться в лица окружающих ее людей – как они справляются со своей тоской. Ее жизнерадостная матушка, к которой она сейчас тянулась, как к Богу, которая ведь все еще могла, как в детстве, обнять свою бедную девочку целиком, спрятать ее в своих юбках, – как она справляется с выпавшей на ее долю тоской? Или добродушно-строгий отец...

И вдруг ей стало стыдно. Улисса вспомнила, как преодолевала она в себе и маму, и отца, как оспаривала их и от них, взрослая, отталкивалась. Дай бог им разобраться с собой, но уж никогда теперь не с ней, так далеко и не знавшей куда отошедшей. «И что теперь? Как быть теперь, когда я действительно понимаю одиночество – единственно настоящее. Как и единственно человек. Все прочее – цветная иллюзия, приготавливаемая к чему-то палитра», – думала она. Лишь Федор теперь оставался у нее. Вместо слез, подкатывавших к горлу и уже крививших ее лицо, она спасалась верой в то, что этот другой человек все-таки принимает ее, что он родной человек, что он – почти она сама. Или она сама будет им, если нужно. Лишь бы вернуться на знакомую дорогу.

Петербург казался напряженно-спокойным. Все было как обычно, но Улисса не хотела никого видеть. Едва вошла в свою дверь, услышала резкое надрывное дребезжанье телефона. Это был он. Федор звонил каждый день и теперь сорвался ей в ухо взвинченным голосом – он и правда не знал, что она была в Москве, и тревожился тем, что несколько дней не отвечала. Улисса съежилась от его напористого волнения и еще больше от осознания того, что в ее голове уже, видимо, давно все перепутано.

– Все хорошо, обошлось, – почти без сил сказала она, – со мной ничего не случилось.



И в ответ услышала, как он обмяк от ее спокойного голоса.

– Так нельзя, Уля, – проговорил он. – Обещай, что будешь осторожнее. Я всегда должен знать, где ты и что с тобой.

– Хорошо.

– Говорят, там ужас что творилось... – как бы спросил он, видимо удовлетворившись ее ответом и переменяя разговор.

– Да, это так, – и вдруг сказала: – Мы уедем.

Он, будто не расслышав, переспросил.

– Что? Что ты сказала?

– Мы уедем, – повторила. – Как ты хотел, в марте. Или, если возможно, раньше.

И услышала, как он облегченно, радостно выдохнул.

– Вот это здорово! Очень рад слышать. Я очень волновался. Очень.

– Все решено.

– Да, все наконец решено. Я скоро приеду, обсудим детали.

– Приезжай скорее, пожалуйста. Немедленно приезжай.

– Уля, потерпи. Выдержи, Уля!

Она дни напролет не выходила из дому. Навесила дополнительный замок и просила артельщиков вбить в стену запорный крюк; его выковали специально для нее, грубый, в палец толщиной. С тем и заперлась. Пробовала читать, рисовать, но не хотела даже есть. Порой подолгу не могла подняться из постели, наблюдая, как свежее за окном зимнее утро, как проясняется свет в ее комнате, очерчивает мебель, оставленную на столе посуду, мелкий мусор на паркете, ее руки в складках одеяла. Вот уже Новый год затворил незамеченные двери в Рождество. Нарушенный маршрут – и где теперь ты находишься? Одиночество обволакивает, как черная сырая яма, – здесь нет пути.

Улисса все настойчивее вспоминала Настю, словно бы она горько обидела ее, и та теперь возвращалась назойливым укором неуспокоенной совести – нежная кроткая трепетная девочка в бальном платье. А с ней и все другие недоступные для Улииссы в своей красоте женщины – они словно овеваны были ангелом той самой любви, память которой теперь была сосредоточена и воплощалась единственно в Федоре.

И тот казак, и те баррикадники, разорвавшие его у нее на глазах, – они, словно безвольные, гонимы были ангелом ненависти. Он ведь тоже ангел. И отчего же павший? Быть может, напротив, тот другой, ангел любви – вознесшийся. Разве Бог не вездесущ, не всемогущ для того, чтобы признать и исправить даже собственную уязвимость? Разве Он, карая Содом и Гоморру, уничтожая созданный им мир за глухоту и пороки человеческие потоком собственных слез, не карал и Себя, ветхозаветного, как единственного творца человека? Разве не выявил Он в себе самом напряжением самых сокровенных своих сил чистую и оттого безбрежную любовь как будущее откровение человека? Разве не Он человека тем возродил? Сокровищное чудо Троицы.

Он смотрит на нас и просто любит. Он так мало что нам дал, отправляя в путь. И все из того, что дал, – герметично. Как яйцо. Ангел любви и ангел ненависти – между ними ничего и никого. Только маленькая, словно очень далекая, я. Вожделенное равенство оборачивалось отсутствием. Милый, милый, мой бедный Федор!

В гулкой тишине заснувшего дома грохотом пустых ведер раздался звонок в дверь.

## Игорь МАЛЫШЕВ

Родился в 1972 году в поселке Реттиховка Приморского края. Образование высшее техническое. Работает на атомном предприятии.

Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Номах. Искры большого пожара», «Маяк», «Корнюшон и Рылейка», «Сланские были и небылицы» и других. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Москва», «Роман-газета», «Новый мир», «Юность», «Дружба народов». Книги входили в короткие списки литературных премий «Ясная Поляна», «Большая книга», «Русский Букер» и других.

Живёт в Ногинске, Московская область.

## ДУША ЗАВОДА

Я люблю заброшенные здания, заброшки. Причём не дома, а большие здания, нежилые или не вполне жилые. Например, очень люблю покинутые пионерские лагеря. Мозаики с космонавтами: атлетичные фигуры, шлемы под мышкой, на заднем плане удивительной формы космические корабли, лица космонавтов светлы и открыты. Открыты, как окна в некий теперь уже недоступный мир. В медицинских корпусах встречаются нарисованные на стенах забавные ежи со шприцами и белочки-медсестрички с таблетками в лапках. Это так мило, почти до слёз. Написанные поверх штукатурки масляными красками картины облупились, у ежа отвалилась лапка и часть мордочки, белочка осталась без уха и хвоста. Хуже всего пришлось пострадавшему зайцу: от него остались только уши, перевязанная бинтами лапка и хвостик-пупочка. Белые облупившиеся территории, как белые пятна на древней карте, изляпали рисунок. Только здесь было известно, что небытие продолжит наступать, пока совсем не поглотит этот странный мирок на стене заброшенного пионерлагеря.

Нравится мне бродить и по заброшенным заводам. Был в истории нашей страны период, когда они закрывались тысячами или даже десятками тысяч. Большинство из них, конечно, уже опустошены прежним руководством и сборщиками цветного и чёрного металла, но встречаются иногда и такие, ещё не ободранные, что называется, до штукатурной драпки.

Глухие леса в Тверской области. Бывшее секретное предприятие. По верху бетонного забора изрядно поржавевшая колючая проволока, на ней жёлтые кленовые листья и капли сгустившегося тумана. Если присмотреться, можно заметить, что капли на остриях колючки дрожат под ветром, как и пронзённые шипами листья.

Я бродил по территории заброшенного комбината. Высоченные, в семь-девять этажей, здания окружали меня, цеха, огромные,

как атлантические лайнеры, лежали вокруг. Эхо шагов отлетало от высоких, тёмных, будто прокопчённых, стен.

Запах... Покинутые территории имеют свой запах, который не спутаешь ни с чем.

На окнах всё те же мокрые листья. Стёкла мутны, будто это они производят туман, который заполонил всё вокруг.

В цеху, куда я забрёл, всё мне казалось особенно высоким, пустым и оттого торжественным. То было торжество пустоты и тления, но, знаете, даже пустота и тлен бывают пронизаны высокой тоской. Я замер. В рядах станков, которые то ли из-за быстро разрушившейся дороги, то ли из-за удалённости завода от центра не смогли вывезти, чувствовалась мрачная решимость и грусть бессилия. Краска на них потускнела, сталь поржавела, но барабаны токарных станков и штурвалы сверлильных всё ещё дышали тихой мощью.

Я сел на корточки, опершись спиной о станину, и, глядя на ряды станков, думал о совершенно солдатском строгом порядке их расположения (то был военный завод), о пусть и тронутой ржавчиной, но всё ещё огромной силе этих промышленных солдат.

И тут в дальнем углу цеха что-то металлически звякнуло, скрежетнуло и задвигалось. Я замер так, что почти прекратил дышать.

«Наверное, лисица копается в хламе», – подумалось мне.

О любопытстве этого племени я знал достаточно.

Но то оказалась не лиса. В центральном проходе меж рядов станков я увидел донельзя странное существо.

Покрытое ржавчиной нечто двигалось ко мне из дальнего конца цеха. Нет, оно пока не видело меня, да и я смог в деталях рассмотреть его, только когда оно приблизилось почти вплотную, метров на десять. Основу его составлял штангенциркуль, к которому лепилось неизвестное количество болтов, гаек, шпилек, стружек, а также прочих деталей и отходов машиностроительного производства.

Он шёл неровно. Конечностей у него было четыре, но одна, задняя нога, состоящая из каких-то стержней и витой стружки, волочилась будто переломленная. Вы видели когда-нибудь кота с перебитой задней лапой? Вот...

Существо заметило меня. Там, в глубине стружек, винтиков, конденсаторов, шурупов, шпилек и какой-то совершенно непонятной металлической мешанины, я ощутил внимание. Существо, скрипя, и скрип тот напоминал стариновское ворчание, двинулось ко мне. Безнадёжная задняя правая нога волочилась следом.

Я даже не понял, как это произошло, но он запрыгнул ко мне на колени, дотронулся холодной гаечкой носа до моего подбородка. Задвигался, переступая здоровыми лапами по моим ногам. От него пахло машинным маслом, свежим, будто его только что смазали. Ещё пахло металлом, чистым, не тронутым ржавчиной, хотя на морде его, плечах, спине я видел бурые отметины разрушения.

Гость ткнулся мне в грудь лбом из винтов и стружек.

– Я знал, что однажды ты придёшь, – расшифровал я его движение. – Знал, что однажды всё вернётся и мы снова станем нужными.

Он потёрся щекой, из которой торчали металлические нити, упругие, как гитарные струны – потом я узнал, что завод, помимо оборонки, производил и струны для гитар, – о мою грудь, плечо.

Я положил руку ему на спину, но, вопреки ожиданиям, не встретил острых, раздирающих стальных кромок. Нет. Спина его была гладка, как шерсть самого настоящего кота.

Я гладил это масляно-ржавое чудо, душу, как я понял, заброшенного завода.

Кот поднял на меня задорные, слепленные из гаечек и обломков стружек в цветах побежалости, глаза, издал скрип, удивительно похожий на мяуканье: он был рад мне. Безотносительно того, могу я помочь заводу или нет, он был рад живой душе, заглянувшей в эти ныне обезлюдевшие, а некогда переполненные человеческими страстями пространства.

Потёрся о мою грудь сначала одной, потом другой щекой.

Он на глазах превращался из комка металлических обломков в живого, трёхцветного, пусть это и бывает невероятно редко, кота — чёрно-рыже-белого.

Я, пока он не успел ещё полностью превратиться в живое существо, тронул его правую заднюю ногу. Ключ-трещотка, служивший суставом, рассоединился с головкой. Я аккуратно, очень боясь причинить коту боль, насадил головку на четырёхгранник. Раздался щелчок. Кот вздрогнул, замер. Возможно, это было по-своему больно, не знаю. Он замолчал, но уже через минуту залился мурчащей трелью, во время которой двигал задней правой ногой, проверяя её подвижность. Мурчание металлического кота разносилось меж стен цеха, как некое подобие церковного пения под сводами храма из стали, стекла и бетона.

Кот ткнулся мне в грудь крутым, траченным ржой лбом, мяукнул почти совсем как живой.

Я верю, однажды в эти огромные цеха, в инженерные корпуса обязательно вернётся жизнь, в окна завода снова вспыхнет свет, задышат кислородные и воздушные компрессорные станции, загудят трансформаторы, запустятся станки.

## В ПЯТИЭТАЖКАХ НЕ БЫВАЕТ ЛИФТОВ

Он назначил свой квартирник на самый удобный день – пятницу. У себя в квартире, конечно. Место намоленное, тут квартирников уже под сотню, наверное, было. Намоленное место, известное. Кто тут только не играл! Считай, все более-менее заметные люди андеграунда отметились. И перед некоторыми из них играл он. Если, конечно, главная фигура была не против. И принимали его неплохо, хорошо принимали. После концерта жали руки, говорили на ухо, что он чуть ли не лучше гвоздя программы сыграл. А он к тому времени был уже, конечно, чуть выпивший, счастливый, улыбающийся. Чокался с гостями, со «звездой», со старыми знакомыми и людьми, которых видел впервые. Все хорошие, добрые, щедрые. Настоящее рок-н-рольное братство. Обняться и плакать. Или смеяться. И знать, что вместе мы – сила и всё у нас получится.

Полгода назад он устроил свой сольный квартирник. Никто не пришёл. В соцсетях залайкали объявление о концерте, а потом никто не пришёл. В тот раз он списал всё на близость майских праздников. Только началось тепло, люди соскучились по природе, шашлыкам. Да, возможно.

Но на этот его сольник снова не пришёл никто.

– Это твоя цена, – говорил он себе, глядя на бутылки и бутерброды, что заготовил для гостей.

Фантазии о том, как здорово он сыграет и как, счастливые и довольные, они потом будут выпивать у него на кухне, растворялись в голове, превращаясь в кислоту, уксус.

«Это то, чего ты стоишь», – думал он, глядя на нетронутый стол.

Он надеялся, что гости в момент разметут всё приготовленное и придётся бежать в магазин.

Никого. Даже тараканов не было.

Потом, сидя посреди комнаты на стуле прямо под люстрой, ему нравились симметричные образы, он пел-кричал в пустую стену со старыми обоями. Бил по струнам, выкрикивал, закрыв глаза, слова, надеясь, что вдруг он откроет их, а перед ним кто-то сидит, хоть один, тихо открыл дверь прошёл, сел и слушает теперь, не выдавая себя ни шорохом, ни звуком. Но нет, песня кончалась, он, дождавшись, пока перестанут звучать струны, открывал зажмуренные до боли глаза – никого. Стена, обои, людей нет.

Он отыграл всю программу, которую собирался выдать, даже, сверх того, прочитал стихи, которые, как он втайне надеялся, попросят его прочесть, когда кончатся песни.

Теперь он сидел пустой в открытом окне.

Октябрь, самый конец. В воздухе летели первые снежинки. Прилетая из темноты вверх, они попадали в поток света из его окна, и исчезали в темноте внизу.



Водка шла легко, как родниковая вода. Такая злая, холодная, родниковая вода.

Утром он с трудом оделся и отправился за минералкой. Закрывая дверь, не сразу смог попасть в дырку замка ключом. Выдохнул, закрыл и снова открыл глаза.

– Задрали эти вопли уже, Юр, – с вызовом, но, в общем, беззлобно сказал, спускаясь с четвёртого этажа, Виталик. – Как выходные, так это твоя какофония.

Виталик был ровесником Юры. Токарь на заводе, по замашкам гопник, по сути – хороший человек.

– Квартирник был, – сухо ответил Юра, поворачивая ключ.

– Вчера ещё ладно, хоть что-то путное. Но обычно же такое говнище, капец...

Виталик прошёл мимо и исчез за поворотом лестницы.

Юра уронил ключи, и они звякнули на весь подъезд.

Потом он стоял, медленно прятал ключи, отчего-то перекладывая их из кармана в карман, и глупо улыбался в закрытую дверь.

Снизу поднималась на артритных ногах, медленно, улыбаясь от боли при каждом шаге, его школьная учительница Лариса Ивановна. Сказала утомлённо:

– Юра, когда это кончится? Эти пьянки ваши, песни...

– Никогда, Лариса Ивановна.

– Ладно я, я тебя с начальной школы терплю. А вот Виталик, он ведь хулиган, он тебя когда-нибудь побьёт.

– Он сейчас мимо проходил, сказал, что вчера ему понравилось.

– Ну, вчера-то и вправду ещё ничего было. Слова, мелодия... Я старый человек, у меня обострённое болью восприятие, но мне вчера, да, понравилось. Я, правда, не все слова разобрала, но вроде ничего. Но остальное-то, что у тебя бывает...

«У нас очень тонкие стены и перекрытия, совсем не гасят звук», – подумал Юра.

Лариса Ивановна, улыбаясь от боли, принялась подниматься на свой этаж.

– Спасибо вам, Лариса Ивановна.

– За что? – истончившимся голосом, взбираясь на очередную ступеньку, спросила она.

– Так... За всё.

– Пожалуйста, пожалуйста. Какой враг решил, что в пятиэтажках не нужны лифты? – донёсся сверху её задыхающийся голос.

## СОМ

Соседка по даче позвала мою маму:

– Клавдия Васильевна, муж с рыбалки приехал, много рыбы привёз. Вон, в ванной плавает.

У соседей посреди участка стояла ванна.

– Возьмите хоть сколько-то. Она живая ещё. Возьмите.

Мама согласилась, соседка поверх невысокого заборчика передала пакет с рыбой.

В пакете кто-то шевелился.

Рыбы оказалось в сумме килограмма два с лишним: весьма серьёзных размеров зеркальный карп, уже не подающий признаков жизни, две рыбы, отдалённо напоминающие красного караса, но точно не караси, и молодой сом, сантиметров сорок длиной. Именно он и шевелился в пакете.

Двух рыбёх, едва двигавших жабрами, мы отдали моей двоюродной сестре, удачно оказавшейся у нас в гостях. Не подававшего признаков жизни, уже скорее зазеркального карпа, я разделал на доске. Крови на стекло, как с телёнка.

Я открыл кран, смывая кровь, перевернул пакет и из него вытек в раковину, окрашенную бледно красными разводами, сомёнок. Тонкий, я сначала даже подумал, что это угорь, с большими четырьмя усам на лобастой голове, он, видимо, решил, что из пакета, где не было ни капли, его наконец-то пускают в родную среду, реку, озеро, на худой конец, наполненную водой ванну, но нет, то была всего лишь раковина в брызгах и разводах крови зеркального карпа, в крупной, с пятирублёвую монету, чешуе. Почувствовав свободу, обрадовавшись, он начал совершать по-детски восторженные движения хвостом и плавниками, мечась по пустой, заляпанной розовыми разводами раковине. С глупым энтузиазмом он плыл куда-то, извиваясь, раскинув длинные усы, по два с каждой стороны.

Он напоминал мне кота, а я никого из животного мира не люблю так, как котов и кошек. Разве что лошадей и коров. Его лишённая чешуи кожа была неуловимо похожа мягкостью и гладкостью на кошачью шерсть. Да ещё и усы...

Я представил, что сейчас мне нужно будет взять нож и отрезать ему голову. Взять это мягкое, гладкое, нежное тельце и отрезать голову. «Нет, – подумал я. – Это как коту голову отрезать».

Сом извивался, отчего-то решив, что он наконец-то в воде, и всё пытался хвостом и плавниками ощутить её.

– Я не могу, – сказал я.

– Ну, давай положим его в морозилку, – предложила мама.

Я представил, как рыба, замерзая, будет бить изнутри по стенам.

– Нет, давай отпустим его.

– Куда?

– В Клязьму, – сказал я.

– Давай. Как скажешь.

Я налил в пакет воды, положил в большую миску и завязал ручки пакета.

Самое интересное, что я люблю сомов. Вяленых, копчёных. Очень люблю.

Но одно дело купить в магазине копчёную тушку, а другое – самому выполнить весь цикл, от убийства живого существа до поедания.

Я смотрел на извивающееся чёрное гибкое тело в раковине и мысленно уже говорил, как завещали Карлос Кастанеда и дон Хуан, слова извинения одного живого существа, убивающего другое живое существо. Раза два или три произнёс про себя, а потом не смог убить.

В этом, конечно, есть ложь. Есть говядину и любить коров, обожать копчёного сома, но страдать над извивающейся чёрной рыбой в розовой раковине.

Ну ложь и ложь. В конце концов, наша жизнь соткана из противоречий, и я тут ещё не самое противоречивое создание.

Да, вчера я покупал в магазине куски сома горячего копчения, а сегодня сижу в машине и у моих ног шевелится в пакете из «Пятёрочки», в пластиковой миске ребёнок-сом. Да, вчера я ел его сородичей, а сегодня еду его отпускать. И отстаньте от меня.

Когда машина тормозила излишне резко, сом вздрагивал и бил хвостом. Но как-то не активно, то ли смирился со своей участью, то ли боясь спугнуть удачу, которая ему уже слегка улыбнулась, переместив из безводной раковины, наполненной иссушающим жабры воздухом, в хоть и скудное, но всё же пространство с водой.

Я вышел из машины рядом с городской набережной возле пешеходного моста и направился к реке. Вытекающая из пакета на асфальт вода отмечала мой путь. Перелез через никелированные ограждения, нырнул под настил набережной. Берег был укреплён крупной рабицей, под которой скрежетал гравий.

– Не хватало сейчас ещё проволокой себе ногу рассадить, – подумал я.

Я сел над тёмной, почти такой же чёрной, как сом, водой, запустил руку в пакет, нащупал мягкое голое тело, снова удивился тому, как сом похож на кота, вытащил пленника и тот перетёк в Клязьму. Вода плеснула и успокоилась. Тёмная гладь застыла монолитом.

Очень противоречивая история вышла. Но мне кажется, я не смогу лишиться жизни ни одно живое существо, хоть немного похожее на кота. Наверное, в этом всё дело.

Дома нас встретил кот Лев и сын Ярослав. Мы, конечно, рассказали о случившемся. Сын одобрил, кот остался равнодушным. Но на то он и кот.

## ВСТРЕЧА

Это был интроверт. И не просто интроверт, а интроверт в квадрате, в кубе, в двадцать пятой степени.

Однако каким бы интровертом он ни был, девушки его любили, и на одной из них он даже женился. Что принёс этот брак ему, более-менее ясно: комфорт, сытость, спокойствие за завтрашний день. Нет, зарабатывал он и сам достаточно, но просто ему нужно было время от времени ощущать, что рядом кто-то есть. Так в его жизни появилась она.

А вот дети в их жизни отчего-то не появились. Были проблемы со здоровьем у него, были у неё... В общем, не получилось.

За ужином она рассказывала ему, как прошёл день, чем дышала её пыльная контора на окраине города. Он ел и делал вид, что слушает её. Даже отпуская какие-то реплики, не переставая барахтаться в своём внутреннем море.

«Нельзя же настолько не интересоваться её жизнью», — говорил себе.

Но сам понимал, что ему всё это не интересно.

— ...Сдавали деньги на подарок ко дню рождения Белоомут, Власова не сдала... — слышал он.

«Белоомут, какая красивая фамилия. Если бы я писал роман, то сделал бы её главной героиней. Может быть, влюбился бы в неё. Или, если б дело происходило в девятнадцатом веке, погиб ради неё на дуэли. Погибнуть, защищая честь Людмилы Белоомут... Это же готовая эпитафия, и тут всё сказано о человеке».

— ...Власова ненавидит Белоомут...

«Власова... Фамилия испоганенная на поколения вперёд. “Армия Власова” — это уже синоним предательства. Как Азеф — синоним провокатора, Пугачёв — символ бунта... Интересно, Пригожин останется в истории как символ бунта, хоть в чём-то сопоставимый с Пугачёвым? Вряд ли. Если не получит свою “Капитанскую дочку”, конечно».

Нельзя сказать, что она не пыталась достучаться до него, хоть кончиком пальца тронуть море, на волнах которого он качался, внутри которого жил, лишь временами всплывая на поверхность. Все её рассказы и были как раз попытками уехать к морю, его морю.

И нет, она не достигала даже береговой линии. Туда, где плескались волны его моря, не ехали поезда, туда не вели железные дороги.

И они сидели за обеденным столом. Она смотрела на его профиль, он смотрел перед собой, едва слыша её, но всё же слыша и оттого иногда подавая замечания.

И напрасно было думать, что он не пытался преодолеть свою интровертированность. Он был жалостлив, очень жалостлив. Но он жил сам по себе, она сама по себе.

Первые годы после свадьбы она время от времени срывалась, кричала, что она ему не интересней кошки или салфетки на столе, замыкалась, не разговаривала с ним неделями. В такие дни он вообще не хотел возвращаться домой, но, гонимый чувством долга, возвращался, ел

приготовленный ею ужин, говорил положенное «спасибо». После недели-двух жизнь возвращалась в норму.

– ...Мозуль вообще не умеет работать с людьми. Постоянно орёт, ставит себя выше всех... – говорила она за ужином.

«...Иногда мне кажется, что я жуткий антисемит. Хотя, если вспомнить моих друзей... Хорошо, приятелей. Ну какой из меня антисемит? Но я, всё же, наверное, ксенофоб. Мне кажется, я никогда не смог бы жениться, да что жениться, даже переспать с азиаткой, мулаткой или негритянкой».

Она всё говорила, он, почти не слыша её, иногда мычал что-то утвердительно или удивлённо, но по большей части даже не показывался над поверхностью моря.

А потом они стали смотреть вместе сериалы и фильмы. И что-то сдвинулось. Нет, её поезда всё так же не могли добраться до его моря, но у них словно образовывалось на время просмотра некое общее море, или, скорее, озеро, и они если не купались там вместе, то хотя бы стояли на противоположных берегах, сняв обувь и зайдя по щиколотку в воду. Это уже немало, поверьте.

Смотрели старый советский фильм «Золотая мина», там на палубе парусного корабля, переоборудованного под кафе, была короткая сцена между упоительно молодой и выразительной Полищук и Далем, играющим преступника, отщепенца, человека, сменившего при помощи пластического хирурга лицо. Фильм проходной, сцена великолепная.

– Смотри, смотри на её лицо! – почти кричал он, интроверт. – Там столько тоски, ненависти и любви к Дально. Она в жизни ничего лучше не сыграла. И в том фильме всё остальное, что она делает, фальшь и пластик. Но здесь...

Он ставил эпизод на повтор. Даль в элегантной джинсовой куртке с подвёрнутыми рукавами, тонкий, нервный, Полищук, лицо мраморно-бледное, но эта бледность так гармонирует с её выражением, что за актрису страшно. Так сыграть девушку на грани нервного срыва могла только девушка, пережившая что-то большое и очень болезненное.

Ничего лучшего Полищук так и не сыграла. А Даль... Даль умер молодым.

– Смотри! Смотри! – кричал он, указывая на смертельную бледность героини. – Это лицо... Отчаянное, обрывающее целую жизнь.

И она смотрела, видела и смертельную бледность, и отчаяние, едва скрываемое тонкой плёнкой спокойствия, видела отчаявшегося, словно больного некоей глубоко скрытой и нераспознанной душевной болезнью Далья. И понимала, что сейчас она вместе с ним, что не только стоит с ним в одном озере на противоположных берегах, но они только что сделали шаг навстречу друг другу. Нет, они почти не стали ближе, и всё же стали, стали.

Она тронула воду ногой, и вот от её пальцев, от её тёплых пальцев с прозрачной кожей, побежала волна, которая, может быть, она так на это надеялась, достигнет того берега, пусть не в виде волны, пусть лёгкой, едва заметной ряби, но достигнет и принесёт, возможно, частичку её тепла, и он почувствует, услышит её тепло, донёсшееся с того берега.

Даль уходит, пообещав убить Полищук, поцеловав, растрепав ей волосы и как-то очень цинично и пользовательски толкнув её голову. Полищук остаётся на палубе парусника с мраморным лицом, и волосами её играет ветер.

А они... Что они... Ступив на секунду в одни, общие воды, с окончанием просмотренного в эфир раз эпизода, вставали и расходились по своим делам в разных концах квартиры.

Секундная встреча. Но ведь это, наверное, всё же лучше, чем вообще никогда не встречаться друг с другом?



## СМЕХ ИЗ-ПОДО ЛЬДА

В один пруд как-то вылили две фляги малька карпа и одну – толстолобика. И надо ж было такому случиться, меж рыбёшками попался малёк русалки. Бестолковая мать не доглядела за одной из своих дочерей, ребёнка-малька захватили сетью, увезли за десятки километров и выпустили в пруд.

Первые несколько лет жители села, сберегая рыбу, исправно делали лунки, рубили проруби, закидывали их сеном, чтобы мороз не так быстро опять «застеклил» их. А потом, года через три, забыли об этой нехитрой, в общем, обязанности, и подо льдом начался замор.

Девочка-русалка тогда была ростом уже с пятилетнего человеческого ребёнка. Вместе с рыбами она лежала на илистом, самом мягком дне и с тревогой прислушивалась к тому, как душно становится в пруду. Рыбы смотрели на неё большими глупыми глазами, не понимая, что происходит и отчего им так плохо, широко открывали рты, шевелили жаберными крышками, лгнули к ней, словно дети к старшему.

И вот когда подо льдом стало совсем непродукно, когда девочка-русалка увидела, как мутнеют глаза рыб, как то одна из них, то другая, заваливается набок, судорожно шевеля жабрами, тогда она поняла, что надо что-то делать.

Она всплыла к тёмному толстому льду и принялась колотить маленькими кулачками в ледяную твердь.

– Эй! – кричала она, отчаянно глядя вверх. – Пустите нам воздух, дайте жизни!

Но толстый лёд, к тому же укрытый снегом, надёжно прятал её крик. Она отыскала на дне камень, но не смогла поднять его. А рыбы, хоть и глядели с сочувствием, ничем не могли помочь.

И тогда она просто приложила ладошку к шершавому льду и начала своим теплом протапливать его. Дело шло медленно, рука мёрзла и леденела немилосердно, но день за днём, ночь за ночью, хоть подо льдом день и ночь совсем неотличимы, она протапливала ледяной панцирь. И вот вся её ладонь ушла в лёд, потом предплечье до середины. Холодно было так, что девочка кричала от бессилия в глухую твердь неподъёмной ледяной толщи, укрывшей пруд.

Но, как бы то ни было, пятипалая ладошка медленно уходила вверх.

Вот рука маленькой русалки погрузилась в лёд по локоть, вот уже до середины плеча...

Ах, как долго, как больно шло дело!

Девочка плакала, но кто увидит слёзы под водой?

Пучеглазые рыбы тенями сновали вокруг неё во тьме, не понимая, что она делает. Касались её лица, рук, ног хвостами, плавниками, желая выказать своё участие и не зная иных способов.

Лёд поддавался.

Рука ушла почти до самых тонких ключиц маленькой русалки, и она уже думала, что лёд слишком толстый и она не сможет проплыть его насквозь, как однажды под указательным пальцем её хрустнула ледяная корочка и она почувствовала снег. Рыхлый, тонкий, почти невесомый по сравнению со льдом. Ей на мгновение даже показалось, что он тёплый, но это ощущение скоро ушло.

Она подождала ещё немного, и вскоре её ладонь с пятью широко расставленными пальцами вся целиком утонула в снегу. Таким невесомом, нежном, воздушном.

– Эхей! – закричала маленькая русалка.

Она принялась шевелить рукой, увлекая снег в воду, где он, пусть и не спеша, но таял, и вскоре через пятипалую лунку потёк, растворяясь в воде, воздух.

Дело было ночью. Русалка увидела через узкий лаз острые от мороза звёзды и рассмеялась.

Вокруг неё, вокруг лунки закипела мешанина из рыб. Огромных, больше самой русалки, маленьких, меньше мизинца на её ноге, они сустились, бились о лёд, толкались в лунку и кипели, кипели.

Впервые за много дней девочка отправилась спать со спокойной душой и уснула, зарывшись в ил и оставив снаружи только голову.

Утром она снова поплыла к лунке, мутно светлевшей вверх. Возле неё всё так же толклись, носились, метались рыбины, рыбы, рыбёшки.

Девочка просунула в лунку руку, разломала хрупкий, тонкий, не толще бумажного листа, ледок и посмотрела наверх. Небо было отчаянно синим, откуда-то сбоку доносились лучи солнца, зимнего, яростно-яркого, так что стало больно глазам. Но то была сладкая боль, и девочка, зажмурившись и замотав головой, снова засмеялась.

Коля Барашек, пастух и местный юродивый, шёл мимо, и что-то привлекло его внимание на безупречно белой равнине замёрзшего пруда. Он поднял ладонь козырьком, пытаясь рассмотреть на сияющем поле точку, чёрточку, отличную от общего фона. Коля всегда был любопытен, он сошёл с плотины и побрёл по снегу, который лишь немного не доставал до краёв его высоких валенок.

Посередине пруда снег воронкой проваливался вниз, а на дне её виднелся протаянный во льду отпечаток детской ладони. Верь Коля в Бога, он бы перекрестился, но юродивым верить в бога необязательно.

Наклонившись над лункой, Коля заглянул внутрь, и оттуда на него посмотрело детское лицо, мелькнула улыбка, белые зубы, щека, потом снова улыбка, глаза.

Окажись на его месте человек чуть более здравомыслящий, он совершенно точно тут же сошёл бы с ума, увидев в тёмной воде под полуметровым слоем льда мелькание детских черт. Да, в конце концов, одна лунка в виде детской ладони с расставленными пальцами, она одна уже способна свести с ума человека с буйной фантазией.

Но Коля был всего лишь местным юродивым. Он улыбнулся в ответ, помахал рукой, приветствуя.

Из лунки на него снова глянул хитрый девичий глазок, и Коля услышал короткий, булькающий смешок девчонки.

Раскинув снег, Коля встал на колени, опустил голову к самому льду.

– Эй, привет! – закричал он своим зычным голосом.

Коля вообще умел только молчать и кричать.

Подо льдом снова мелькнули игривые детские глаза.

– Привет, – чуть булькая, донеслось.

Коля скинул телогрейку, сложил руку узким клином и опустил её в лунку. Рука с трудом, но продвигалась по холодному лазу.

И вот вода.

Он опустил всю ладонь в воду, призывно поводил пальцами и почувствовал, как указательный его палец обхватила тонкая, узкая детская ладошка.

Укрытая снегом чернозёмная равнина сияла под солнцем, слепила всякое смотрящее на неё око мириадами искр. Деревья, осыпанные снегом, чернея, стояли, выделялись на общем пейзаже и, как могли, принимали участие в этом представлении света.

Коля Барашек исчез бесследно.

Но скажите, что бы вы не отдали за то, чтобы однажды на вас взглянули из-под льда озорные детские глаза?

## ИССЛЕДУЯ ЧЁРНЫЙ КОНТИНЕНТ

В своих путешествиях по Африке Мишель Мезонье проникал в самые дикие и потаённые уголки этого континента. Впрочем, меня не оставляет ощущение, что его заметки, касающиеся Африки, столь же тесно связаны и с его исследованиями своей внутренней Африки, своего потаённого чёрного континента. Того, что Юнг звал тенью. Но то не более, чем мои догадки.

Итак, год тысяча восемьсот тридцать четвёртый. Мезонье и его экспедиция пробивает тропы через джунгли центральной Африки.

Племя, которое называет себя просто «люди». Впрочем, это обычное дело в примитивных сообществах – считать людьми только членов своего племени, остальных – животными, даже пусть они и выглядят неотличимо от тебя самого.

Люди верили во взаиморождённых близнецов – мальчика и девочку, юношу и девушку, мужчину и женщину.

Началом человеческого рода стал некий акт, при котором ещё не рождённый юноша оплодотворил ещё не рождённую девушку, следствием чего стало сначала зачатие девушки, а потом и рождение юноши.

Взаиморождённые, так люди называли своих богов. Богиня-дитя родила оплодотворившего её мальчика-бога.

Себя люди называли детьми богов, и потому близкородственные браки и инцест здесь не только не порицались, но даже приветствовались. И при этом, по уверениям Мезонье, он не видел в племени ни малейших следов вырождения.

При встрече люди здоровались, вылизывая глаза друг другу, как, допустим, кошка вылизывает глаза котят, только появившимся на свет. Мезонье долго не мог привыкнуть к этой процедуре, но в итоге даже стал получать от этого удовольствие.

Они интересно хоронили своих мёртвых. Собирали флотилию плотов, самый большой из которых предназначался для усопшего соплеменника, затем выплывали на середину реки, очень большой по уверениям Мезонье, но так и не идентифицированной учёными впоследствии. Плот с покойным поджигали и потом все вместе плыли по ночной реке, сопровождая усопшего, пока плот его не разваливался, а сам он не оказывался в реке, по-видимому, становясь добычей хищных рыб и крокодилов. Провожая соплеменника, люди пели ему песни, успокаивая душу перед переходом в мир иной.

Мезонье описывал, как он однажды сам отправился по ночной реке вместе с похоронной процессией. Пылал плот. Светили над рекой огромные звёзды. Мезонье писал, что нигде больше не видел таких огромных, как в Африке, звёзд. Река напоминала струю застывшего базальта. Небо то и дело пересекали падающие метеоры. Люди плыли, и звуки неслись над рекой томительные, гулкие, «вынимающие душу», как описывал их путешественник. «Казалось, моя душа сама хочет

вырваться и улететь вслед за искрами от погребального костра, за звуками пения, криками жуткими, таинственными, будоражащими, доносящимися временами из джунглей. Поначалу было очень страшно, что я стану добычей крокодилов, но звуки песни вмиг прогнали страхи и наполнили всё моё тело, всё сознание неким воздушным, полётным ощущением, после чего я до самого конца путешествия утратил чувства страха.

Иногда к плоту, горящему, сияющему, распространяющему запахи сгорающих трав и благовоний, которыми был выстлан плот, подплывал кто-нибудь из “сопровождающей флотилии” и бросал в огонь ветку, пучок трав, россыпь порошков, и они распространяли запахи, которые невозможно забыть. Эти запахи джунглей, горящих трав и благовоний, запах горящего человеческого тела, сообщали мыслям и разуму ощущения столь богатые, столь о многом говорящие, что я не в силах перенести их на бумагу и только в бессилии скриплю зубами над чернильницей.

Ко мне подплыл один из людей, дал палку, больше похожую на бревно, пучок травы и горсть душистого праха, после чего указал на пылающий посередине широкой, с две-три Сены в Париже, реки. Я всё понял без слов, поспешно заработал вёслами, подплыл к горящему плоту, бросил в огонь брёвнышко, траву и порошок, после чего немедленно отплыл, так нестерпим был жар.

С первыми лучами рассвета плот с покойным затонул, будто только того и ждал, и мы отправились в обратный путь против течения.

Помню тот странный момент, когда люди перестали петь. Я словно внезапно оглох и опустел, так разительна была перемена.

Когда я прожил в племени три месяца, со мной произвели странный и довольно болезненный ритуал. Меня раздели донага, поставили на площади посреди посёлка, и после этого люди стали по одному подходить ко мне. Каждый остро заточенной стрелой глубоко протыкал мне кожу, после этого некоторое время вылизывал сочащуюся из раны кровь и уходил, оставив подарок. Кто-то дарил козу, кто-то лук, кто-то острейший обсидиановый нож. Один молодой человек привёл и оставил рядом со мной свою сестру, которая потом стала моей женой. Это была довольно продолжительная и болезненная процедура. Каждый совершеннолетний человек племени оставил на мне рану, и каждый принёс подарок. Я был сплошь покрыт ранами и кровью. Потом они все вместе приблизились ко мне и принялись подносить свои руки, из которых также сочилась кровь. Я слизывал её, а в это время всё племя вылизывало меня и мою кровь десятком языков. Странное, жуткое чувство охватило меня. Рот мой был переполнен чужой кровью, а рты окружающих — моей. Мы были одно, единое существо с единой кровеносной системой, одними желаниями, одними мыслями.

Месяц над деревней, похожий на узкий нож, лил на нас свой скудный свет, а мы, будто кошка и котята, вылизывали друг друга, и непонятно было, кто здесь кошка, а кто котята.

“Едина кровь, едина плоть”, — вспомнились мне слова христианской молитвы.

А потом был свальный грех, где в свете погасшего костра брат не отличает сестру, а дочь отца».

Храмом взаиморождённых, по свидетельству Мезонье, могло стать любое дерево с разветвлённым стволем. Но было и первое, главное, росшее посреди селения дерево, вокруг которого и происходили все главные ритуалы племени.



Отправляясь на охоту или любое совместное дело, люди били друг друга. Целью было появление синяков, которые, как считалось, спасали их на время действия. Мезонье писал, что такой обмен ударами действовал очень успокаивающе на участников. Не навсегда, конечно, но на некий период точно.

Мезонье писал, что в джунглях Африки у него осталось пять детей от его официальной, подаренной во время ритуала жены. И кто знает, сколько ещё женщин понесли от него в этом эдемском саду свободы и вседозволенности. Мезонье пишет, что провёл эти пятнадцать лет будто в раю.

Взаиморождённые близнецы, если верить религии людей и Мезонье, однажды убьют друг друга. Потому что рождённые один от одного, однажды точно так же убьют друг друга.

Мезонье наотрез отказывался говорить, почему он покинул «эдемский сад» и людей.

Иногда, когда мы с ним в китайской курильне падали на подушки и готовились хотя бы на краткие мгновения покинуть этот мир, мне казалось, он хочет рассказать мне, возможно, главную тайну его жизни, но в последний момент он неизменно сдерживался, лишь кадык на его покрытой тонкими шрамами шее вздрагивал, будто он продолжал глотать кровь людей, принимающих его в своё племя.

## ПСЫ

Вечером со стороны заката надвинулось море рослых чёрно-белых псов. Лающая чёрно-белая лава заполонила равнину и окружила город.

Стража едва успела захлопнуть городские ворота перед их слюнявыми алыми пастями с белыми как сахар зубами.

Несколько человек, направлявшихся в город, а также с десятков женщин и детей, собиравших землянику на склонах оврагов, бесследно исчезли в чёрно-белом месиве, едва лишь успев издать жуткие крики.

Я лейтенант городской стражи, моё место на стене. Я наблюдал нашествие с самого его начала.

Ночь накрыла город, но никто в нём не спал. Все прислушивались к лаю и завываниям псов, что, как море судно, обступили город.

Некоторые мучимые бессонницей горожане выходили на стены, стояли рядом с нами, смотрели на неясное движение внизу. Казалось, сама земля обрела голос и начала выть и шевелиться.

— Тьфу, — плюнул во тьму, стоявший рядом со мной длинный, худой кузнец с тёмным от въевшейся сажи лицом.

Он долго сдерживался, выдавая волнение только лёгким подёргиванием рук.

— Какая ж мерзость, прости господи, — сказал он.

— Мразь! — крикнул он в пространство. — Пошли вон!

Стая ответила ему нестройным воем, лаем, визгом.

— Пошли вон! — обрадовавшись, что вызвал ответ, повторил кузнец.

Он некоторое время послушал шум стаи и вдруг, к моему удивлению, разразился воем, тут же подхваченным темнотой. Некоторое время он так развлекался, потом снова крикнул:

— Мразь!

И с тем, как мне показалось, внезапно повеселевший и довольный собой, отправился вниз по лестнице.

Наутро из городских ворот вышла тяжёлая пехота нашего герцога и принялась выкашивать чёрно-белые полчища, как косари выкашивают утренний луг. Псы ложились сотнями. Бойцы не успевали махать мечами. Отрубленные лапы, головы, уши, морды разлетались от их ударов, и гвардия продвигалась вперёд с ног до головы покрытая ярко-алой кровью псов. Хруст собачьих костей был слышен даже на стенах, где стояло едва ли не всё население города.

Твари оказались на редкость умными и сообразительными, и вскоре они обнаружили уязвимые места гвардейцев — задняя часть ног и пах. Проявляя чудеса ловкости и самопожертвования, звери умудрялись добираться до них. Пока две-три пары псов повисали на руках воинов, какая-нибудь мелкая шавка умудрялась добраться до незащищённых мест и кусала туда.

Вскоре наши воины стали падать один за другим, и чёрно-белая лава накрывала их.

И вот в сражении настал перелом, шеренга пехотинцев дрогнула, заколебалась и стала отходить. Обратно в город не вернулась почти половина тех, кто три часа назад вышел оттуда.

Город замкнулся в себе. Вырваться своими силами мы больше не рассчитывали. В соседние города были посланы голуби с призывом о помощи. Нам оставалось только ждать, и мы ждали.

Мой сосед, доктор и философ, как он сам называл себя, сказал, что собаки, видимо, в чём-то подобны саранче, которая раз в десять лет переживает оглушительный скачок численности.

— Это точно не наказание Господне? — спросил я. — А то многие так болтают.

— Если кто-то решил, что псам больше нечего делать, кроме как наказывать кого-то за то, что он продавал сырое зерно или залез под юбку свояченице, то, думаю, он ошибается. Конечно, всё от Бога, но не всё же за наши грехи, что-то бывает и просто так.

— Не знаю, мне от этого не легче.

На третий день мы увидели стоящих посреди псиного моря путников, что не успели в город, а по краю оврага баб и детей, собиравших там землянику. Люди стояли, и ветер колыхал их. Казалось, дунь он сильнее, и они либо упадут, либо улетят. Так они стояли, качались, будто приходя в себя, с полдня, а потом опустились на четвереньки и затерялись в псином кипении. Я некоторое время старался не выпускать их из виду, и, удивительно, они вели себя в точности как псы, обнюхивались, подвывали, некоторые даже пытались чесать себя ногой за ухом.

На следующий день с земли поднялись пехотинцы, павшие в сражении с псами, и они, как и люди до них, отстояв на ветру полдня, встали на четыре кости и влились в собачье сообщество, как полноправные члены.

— Уоу-уоу-уоу! — выли они вместе со стаей, задрав головы к лунным небесам.

Луна отражалась в их глазах точно так же, как в глазах остальных псов.

— Это какое-то безумие... — сокрушённо сказал мне врач-философ, когда я, специально пригласив его на стену, указал на людей-псов, беззаботно бегающих по равнине вокруг города.

— Безумие не безумие, — ответил я, — но, став псами, они выглядят счастливее людей. А разве поиск всеобщего счастья не одна из задач философии?

— Задача философии не в том, чтобы низвести людей до уровня пса, а в том, чтобы каждый пёс мог дорасти до уровня человека.

Он махнул рукой и покинул стену, сопровождаемый моим смехом. Весьма невесёлым, надо сказать.

Псы где-то охотились, их гонцы то и дело приносили на равнину оленей, кабанов и даже огромных рыб. До моря от нас был день пути.

Людопсы охотились и ели вместе со всеми. И если на окровавленную собачью морду, разрывающую брюхо оленю и вытаскивающую кишки, я ещё худо-бедно могу смотреть, то видеть, как то же самое проделывает человек, оказалось намного сложнее.

Помощь от соседних городов не приходила. То ли они не поверили нашим и вправду немного отдающим безумием сообщениям, то ли сами находились в подобной западне.

— Что если вся страна заполнена ордами псов? — задавали друг другу вопросы горожане и со страхом ожидали утвердительного ответа.

— Нет, как можно? — отказывались верить их собеседники, хотя совсем не были уверены в своих словах.

Решиться на ещё одну вылазку герцог, потерявший половину своей гвардии, уже не мог, и нам оставалось только пережить осаду и ждать чудесного избавления. В свои силы мы уже не верили.

Город наш богат. Припасов, если расходовать с умом, должно было хватить на пару лет. С водой дело обстояло чуть хуже, но и в ней мы недостатка не испытывали.

— Да и вряд ли эти твари задержатся здесь надолго, — уверяли друг друга горожане. — Не сегодня-завтра сорвутся и пойдут искать места посытнее.

Но месяц шёл за месяцем, а конца осаде всё не предвиделось.

Поскольку почтовых голубей больше не осталось, а соблазн узнать, что происходит вокруг, за горизонтом, был слишком велик, мы время от времени отправляли лазутчиков из добровольцев. Впрочем, мы быстро покончили с этим, как только увидели, что все наши лазутчики довольные и счастливые скачут вместе с псами, вычёсывают блох и хватают, играя, псиц за хвосты.

— Интересно, раз уж они так уподобились псам, может, у них смогут родиться щенки от этих сук? — задумчиво произнёс врач-философ, наблюдая за очередной собачьей свадьбой, где наравне с псами носились за течной сукой два бывших пехотинца.

Одежда их истрепалась, лица обросли бородами, и они с каждым днём действительно всё меньше и меньше отличались от кобелей.

— Возможно, мир отныне принадлежит псам?

Минул год.

Город чах, город выдыхался. В какой-то момент все мы превратились в тени, едва знающие, зачем живут.

Но потом — о чудо! — жители внезапно начали пробуждаться к жизни. На щеках появился румянец, в глазах свечение, в движениях сила.

Поначалу мы с врачом-философом очень обрадовались этой метаморфозе.

— Человек не может впасть в отчаяние бесконечно, — назидательно воздев палец, говорил мой собеседник. — Опускаясь вниз, однажды он коснётся дна, оттолкнётся и станет всплывать. Вот так, коллега.

Врач-философ называл меня коллегой только в минуты высочайшего восторга. За годы дружбы с ним я это уяснил безошибочно.

Но восторг оказался ложным.

День ото дня в горожанах стали всё больше проглядывать псиние черты.

— Здравствуйте, господин пёс!

— Как хвост, как лапы?

Так стали приветствовать друг друга наши бюргеры, неизменно похотывая и похлопывая друг друга по животу.

— Как сука? Как щенки?

Эти вопросы вызывали постоянные взрывы хохота. Лица людей, совсем недавно бледные, измождённые, краснели, наливаясь силой и здоровьем.

— Как благотворно влияет юмор на состояние человеческой души, — поначалу радовались мы с врачом-философом.

Но что-то нас тревожило. Было нечто неправильное в том, что осаждённые перенимают черты осаждающих и радуются этому.

И тревога оказалась ненеправильной. Вскоре в моду вошли лай и подвывания. Время от времени какой-нибудь фривольный кавалер, общаясь с не самой разборчивой дамой, в шутку делал вид, будто хочет по-

нюхать у неё под хвостом. И он и она начинали хохотать при этом как безумные, словно услышали изысканнейшую остроту.

Остановиться и приподнять ногу возле стены стало для приятелей при встрече делом совсем обычным.

Запасы провизии в городе меж тем подходили к концу, и ряд умельцев освоили навык ловли псов за стеной. Раскидывая приманки, а то и просто ловким движением петли они ловили бегущих под городскими стенами зверей. Хозяйки поначалу брезговавшие собачатиной, понемногу ввели её в меню, и оказалось, что это прекрасная замена и говядине, и баранине, и свинине.

Псы, что удивительно, очень разумные и хитрые, совсем не избегали арканов, и, как мне казалось, довольно охотно приносили себя в жертву, становясь гуляшом, копчёными рёбрышками, собачьим жиром, рулькой, супом из псиной головы, шкварками и опалёнными собачьими ушами.

Через два года город перешёл на собачью диету.

Всюду ели псов и безудержно псели. Уже не считалось непристойным опорожниться, сидя возле стены, прямо на улице. Глаза у опорожняющего кишечника при этом становились, как и положено псу, виноватыми, в них сквозило: «Не судите строго, дело живое. Если поел, то надо и это сделать». Встав и оправив штаны или юбку, человек делал загребающие движения ногой и шёл дальше по своим делам.

Не знаю, как и почему я держался. Почему воздерживался от всего псиного. Как и все остальные я ел собачье мясо, но в остальном старался оставаться человеком.

С философом мы теперь общались редко, он впал в апатию и вообще ни с кем не хотел разговаривать и видаться.

А потом я заметил его, весело бегущего на четвереньках и звонко лающего. Перед ним, к моему удивлению, нимало не путаясь в юбках, бежала юная и довольно привлекательная фрау. Они повизгивали в унисон, ноздри его и её плотоядно расширялись, им было хорошо, насколько только может быть хорошо двум пригодным для размножения созданиям в виду предстоящего соития.

Наш город называют городом башен. Их тут десятки. Мой обедневший род не смог построить ничего мало-мальски похожего на башню, а вот семье философа это удалось и я, поняв, куда дует ветер, и к чему всё идёт; действуя мечом и кинжалом, однажды выгнал из родовой башни философа и всю его семью, при виде меня принявших тревожно обнюхивать воздух и поскуливать. Пинками и окриками я перегнал их в моё жилище, запер дверь башни на засов и остался в одиночестве посреди огромного города. За следующие дни и ночи я, при помощи всё того же меча и кинжала, забил солёной и вяленой собачатиной подвал башни, заложил камнями единственную дверь, а с нею и окна первых этажей и остался теперь уже совсем и безысходно один.

Будто ворон я сидел на вершине башни и смотрел, как мои бывшие сограждане всё более и более превращаются в псов: милых, игривых, агрессивных, ленивых, весёлых, задумчивых, беспокойных, склонных к созерцательности... Псов. Они осваивали прежде неведомые им навыки выслеживания человека по следу, учились лаять и, надо отдать им должное, делали это всё более и более виртуозно.

Человеческая речь исчезла с улиц города. И взрослые, и дети теперь общались исключительно лаем. И тут, надо снова отдать должное моим бывшим братьям, они сумели соединить пение и лай. Видимо, есть в музике что-то такое, что невозможно искоренить до конца из человеческой



природы, даже если человек, по сути, уже перестал быть человеком. В лунные вечера горожане садились и пели, именно пели, не выли, на луну, и, признаюсь, меня это зрелище трогало едва ли не до слёз. В этой песне было что-то очень болезненное, какое-то сожаление о том, кем они были и кем стали, казалось, ещё немного, и в вое проступят черты человеческой речи, но нет, напрасно я ждал и тешил себя надеждами. Вой так и остался воем.

Они как-то разоблачили меня, поняли, что я другой природы и оттого, что я внешне похож на них, я сделался им особенно неприятен.

Они неизменно поднимали ногу, пробегая возле моей башни, издевательски выли, пародируя человеческую речь, обратившись к вершине, где сидел я.

Как-то незаметно открылись городские ворота, и псиня стая смешалась с людопсиной. Удивительно, как они с ходу поняли друг друга, что нельзя пройти мимо стены моей башни, не оставив на ней пахучую метку.

Рядом, почти окна в окна, стояла ещё одна башня. Мой философ полюбил залезать на её вершину лунными ночами и хохотать в мою сторону. Он заливался издевательским лаем, выл и визжал в уверенности, что оскорблял меня так, что мне не отмыться до конца жизни.

Меня язвила обида, всё-таки это был один из немногих моих друзей. Но куда сильнее терзал меня вопрос, почему я не стал таким, как они? Почему я один не стал?

Я заметил, что псы боятся огня. Мне доставляло удовольствие вечером, когда я, придя в себя после дневной жары, выходил на вершину башни, кидать вниз подожжённые клочки гобеленов, портьер и ковров. Псы шарахались от горящих ключев, а я, поджигая от факела, воткнутого в один из зубцов башни, бросал куски огня вниз и наслаждался визгом прогуливавшихся внизу по старой привычке людопсов и псиц.

Факел, от которого я поджигал ключья ткани, сиял, коптил, освещал меня и башню.

Снизу мне неслись проклятия. Псы обжигались, но всё равно приходили метить подножие башни. Опасность сделала для них этот ритуал даже более привлекательным. Их становилось всё больше и больше. Запах их нечистот в безветренные ночи бывал невыносим.

Я смотрел, как они разучиваются пользоваться ложками, ножами и вилками, как избавляются постепенно от одежды, насколько спокойно устраиваются, свернувшись калачиком, поспать в тени под стеной летним полднем, как ловко ловят зубами мух и, сделав два-три жевательных движения, глотают их.

Они были по-своему неплохими и даже не злыми созданиями, эти людопсы, а уж про псов и говорить нечего. И, в общем, ничто не мешало мне однажды спуститься, взять кирку, разбить кладку на двери или окне, выйти к ним, смешаться, принять их язык, обычаи, небрезгливость. Но нет, отчего-то не мог, что-то мешало.

Я заметил, что перестал выделять философа из толпы.

Мои запасы кончались. Я научился ловить псов и людопсов и есть их. Да, я больше не делал различия меж ними и ел всех.

Днём я сплю. Вечерами жгу факелы и кидаю вниз горящие ключья.

Вчера далеко-далеко, даже не могу предположить, где это, я увидел огонь. Позавчера я тоже видел его, но не поверил собственному зрению. Псы не зажигают огней. Псы боятся огня.

Это человек. Я не один.

## Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут им. А. М. Горького. Доктор медицинских наук.

Автор семи поэтических и четырех прозаических книг, а также более двухсот публикаций в периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Лауреат премий Нижнего Новгорода (2008), Нижегородской области им. А.М. Горького (2014), имени Ольги Бешенковской (Германия, 2014), литературной премии имени Марины Цветаевой (Татарстан, Елабуга, 2014), литературной премии имени Николая Рыленкова (Смоленск, 2022) и многих других, победитель нескольких международных поэтических конкурсов.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ЛЕД И ПЛАМЕНЬ

### 1

Стасик Синицын был очень любознательным, жизнелюбивым и в меру талантливым мальчиком. Люди и явления жизни в большей степени были интересны ему, нежели не интересны. Все предметы, которые приходилось изучать в школе, были ему по душе. Даже точные науки, к которым наш герой явно не имел особой склонности, привлекали его своей сложностью и тем постоянным и настойчивым преодолением, которое нужно было проявлять для их понимания. Стасик был очень скромным мальчиком, а эта черта никогда не способствует карьере. Кроме того, была у него довольно редкая особенность. Уважая людей, он, однако, совершенно не следовал их стереотипам, и ему было всё равно, что о нем говорят и думают. Но поскольку эта не очень выигрышная черта характера не всем была видна, товарищи очень любили и уважали Стасика.

Родители нашего героя трудились на ниве советского здравоохранения. Мама была терапевтом и врачом реанимации, а папа – оперирующим гинекологом. Понятно, что и сам Стасик избрал для себя врачевание как будущую специальность.

Поступив в медицинский институт, молодой человек продолжал хорошо учиться, с однокурсниками своими был удивительно ровен в общении, и всегда на открытом лице его была совсем даже не дежурная улыбка.

Когда Стасик учился на втором курсе, произошли в нем некоторые перемены. Оно и понятно – гормональная перестройка даром не проходит. Однако вовсе не девушки вскружили парню голову, а явления, можно так сказать, медитативного порядка. Однажды в бабушкином саду увидел он нечто такое, что заставило его застыть от удивления. Именно с этого момента Стасик и ощутил необычность своего жизненного пути. А увидел он, по мнению абсолютного большинства

людей, какую-то самую что ни на есть ерунду – после пронзительного оловянного летнего дождя по кривым тоненьким веткам вишни ползли маленькие серебристые застенчивые капельки.

Стасик сразу понял, что эти капельки и представляют для него какую-то запредельную ценность, и посчитал свои ощущения настолько особенными, что и поделиться ими даже с самыми близкими людьми не мог.

Конечно, молодой человек не ведал, что подобные ощущения испытывали Ду Фу, Сайге, Франсуа Верлен, Афанасий Фет и еще многие и многие не самые ограниченные люди. Но вот ведь беда – вышеназванные персоналии давно уже умерли и никак не могли поделиться со Стасиком своими ощущениями.

С тех пор мальчик начал писать стихи.

Родители Стасика, конечно, были далеки от литературы, но в то же время и полными недоумками их назвать было нельзя. Советские врачи всё-таки. В доме была большая библиотека, и чтение книг считалось вовсе не пустым времяпрепровождением.

Как мы уже писали, Стасику было совершенно по барабану, что о нем думают окружающие, и стихи свои он никому не показывал. В то же время они вовсе не были для него чем-то таким уж невероятно интимным, что нужно было обязательно скрывать от окружающих. Он писал их в толстых амбарных книгах кривым почерком интеллектуального ребенка, и родители его, читая эти тексты, никак не могли понять, насколько они лучше или хуже стихов какого-нибудь Евтушенко или Рождественского. Но Рождественский-то все-таки был поэт, пусть и странный какой-то, непрезентабельно заикающийся, неказистый, но книги его валялись в магазинах, а самого стихотворца показывали по телевизору. Словом, нужен был эксперт, который определил бы, насколько важным делом занимается их сын и имеют ли его литературные занятия хоть какую перспективу.

Как известно, на ловца и зверь бежит. Попал в палату Светланы Ивановны больной Арчибальдов, местный поэт и драматург, страдающий диабетом второго типа вкупе с гипертонической болезнью.

Через несколько дней принесла ему врачаха одну из амбарных книг со стихами Стасика, попросив высказать свое авторитетное мнение.

Ответ Арчибальдова был неожиданным.

– Вы знаете, – ответил письменник, – для такого молодого парня очень даже и неплохо. У него есть чувство ритма и рифмы, а стихи в целом весьма интересные. Во всяком случае, он явно не графоман. Но вы же понимаете, что в наше время поэты созревают очень поздно. И я не могу давать никаких прогнозов. Ясно одно – этому парню нужно учиться, посещать литстудию. Пусть ходит ко мне, по средам, в Дом работников торговли.

Мама рассказала Стасику о словах Александра Григорьевича.

На сына они не произвели никакого впечатления.

– Честно сказать, – проговорил парень, – Арчибальдов этот мне совершенно не интересен. Представляю, какую галиматью он пишет.

– Откуда ты знаешь? – удивилась мама. – Ты же не читал его стихов.

– Ну, может, я и не прав. Но почему-то мне так кажется.

– Конечно, не прав. Ты же пишешь для людей.

– Нет, я пишу для себя. Чтобы скучно не было.

– Вот и Пушкин тоже писал, чтобы не было скучно, – не унималась мама. – А получались то «Евгений Онегин», то «Капитанская дочка».

Не понимаю, какой толк писать в стол. Я уже обещала Александру Григорьевичу, что ты к нему зайдешь.

У Светланы Ивановны была одна похвальная черта характера – она почти всегда добивалась поставленной цели. Герой наш понимал, что существует только один способ отделаться от маминой навязчивой идеи – полностью подчиниться родительской воле. Надо было обязательно сходить к этому писателю, прочитать ему стихи, может быть, даже придумать для мамы что-нибудь в качестве оправдания – но только для того, чтобы она, наконец, отступилась от него.

Александр Григорьевич совсем не походил на писателя, к тому же и одет он был как-то очень уж демократично. В небольшой комнатке Дома работников торговли он чувствовал себя весьма комфортно. Все взгляды студийцев были обращены исключительно на него, и, судя по всему, ему это очень нравилось.

Профессиональный сочинитель сразу же понял, что Стасик и есть сын его лечащего врача, поэтому отошел от обычной схемы обсуждения, когда студийцы начинали критиковать стихотворца, а руководитель выступал в самом конце. Нужно было ни в коем случае не обидеть этого мальчика.

Но Александр Григорьевич не понимал, что Стасика трудно обидеть.

Что касается студийцев, так они были не лыком шиты – сразу поняли, что у мэтра какое-то особое, пристрастное отношение к пришедшему стихослагателю, почувствовали, что он по благу пришел или, как говорили во времена царские, старорежимные, «по протекции». А блатные такие никому особенно не нравятся. Когда руководитель похвалил тексты Стасика и рекомендовал ему почаще посещать студию, начинающие авторы решили взять реванш.

– А что, собственно, принципиально нового мы можем выудить из этих текстов? – риторически спросил мужчина неопределенного возраста с нечесаными патлами сальных волос, падающих на покрытый мелкой перхотью воротник старенького коричневого вельветового пиджака.

– Ну ты, Саша, как-то уж слишком жестко. Можно подумать, что в твоих стихах есть это новое! – заметил мэтр, и студийцы радостно и подобострастно засмеялись. – Не забудь, что парню только восемнадцать лет!

– Мандельштам в его годы уже классические стихи писал! – послышался из угла гнусавый голос поэта Илюши Гринберга.

Казалось, студийцы хотели одного – всячески доказать Стасику, что его произведения – сущий пустяк и что гордиться ему совершенно нечем. Им как будто хотелось испортить мальчику настроение, сделать его не таким уверенным и высокомерным, каким он предстал их воображению. А на самом деле никакой особой уверенности у Стасика не было, и высокомерием он не страдал. Просто ему, в отличие от студийцев, было совершенно безразлично, как его стишки воспримут.

– Александр Григорьевич прав, – вмешалась красивая длинноногая брюнетка по имени Анфиса, постоянно поправляя на бедрах до неприличия короткую черную юбку с красивыми кружевными оборками, – это же еще совсем мальчик! Давайте пощадим его самолюбие! Мне вот эти стихи понравились. В них есть... как это... потенциал!

Анфиса, как ни странно, этими словами пыталась обратить на себя внимание молодого парня, поскольку ей, несмотря на красоту и молодость, явно такового не доставало.

Но Стасик на слова Анфисы явно не повелся.

Возвратясь домой, он заявил маме, что в студии ему все понравилось, однако ходить туда он больше не будет.

«Там собираются настоящие поэты. А я разве поэт? Нет, конечно. Просто я природу люблю и пишу про нее в свободное от учебы время!»

## 2

Стасик понимал, что родителям не нравятся его литературные занятия, поэтому старался писать, когда они были на работе, а тетрадки и амбарные книги прятал на антресолях.

На третьем курсе за отличную учебу наградили его бесплатной путевкой в спортивный лагерь Ростовского медицинского института, находившийся на Черном море, неподалеку от города Туапсе. А Светлана Ивановна в это время, пользуясь отсутствием сына, решила сделать генеральную уборку в квартире. До чего же была она удивлена, когда обнаружила на антресолях двенадцать исписанных амбарных книг и двадцать шесть общих тетрадей!

Женщина была убеждена, что ее сын давно уже отошел от всей этой галиматии и взялся за ум.

– Ну и что в этом ужасного? – возразил на ее возгласы папа Стасика, Валерий Викторович. – Парень прекрасно учится. Путевкой наградили. Ну мало ли у кого какие увлечения! Хорошо, что не пьет и не курит, девок не портит понапрасну.

– А по мне, лучше бы портил! – не унималась Светлана Ивановна. – Двадцать лет уже человеку. Некоторые уже женятся в таком возрасте. А он графоманией занимается! Тоже мне, писатель!

И все-таки не верила она до конца собственным словам и, собравшись духом, взяла одну из толстых тетрадок – и прямиком к Александру Григорьевичу, в Дом культуры.

Мэтр был польщен визитом вдумчивого врача и красивой женщины в одном лице, нехотя взял принесенную тетрадку, стал читать стихи и... зачитался.

– Светлана Ивановна, могу вам точно сказать, что всё это на порядок лучше, чем то, что вы приносили мне тогда, года два назад. Я могу сделать ему сюрприз – напечатать несколько стихотворений в нашей областной молодежной газете. Тем более что я сейчас подвигаюсь там в качестве заведующего отделом культуры. Хотите?

– Вы не шутите? – удивилась врачиха. – Это действительно могут напечатать?

– Голову даю на отсечение. Я этому поспособствую. Сделаем ему сюрприз. Парень явно в восторге будет!

– Но я ведь принесла эти стихи втайне от него. Не знаю, понравится ли ему...

– Да вы что! – чуть ли не закричал Александр Григорьевич. – Еще как понравится! Все нормальные парни мечтают о славе! Знаете, что сделал я, когда впервые напечатался в этой газете? Я купил в киоске десять номеров, постелил их на полу и катался по ним с боку на бок!

– Вот поэтому вы и стали замечательным поэтом, – продолжила Светлана Ивановна. – А Стасик не такой. Он у нас... Ну как вам сказать... Он у нас... тихий.

– Я вам отвечу так. Пропаганда хороших стихов, написанных в нашем регионе, – одна из задач отдела культуры. Можно сказать, что эти



стихи попали мне на глаза случайно. И я, как журналист и редактор, не имею права пройти мимо них, понимаете? Оставьте мне тетрадку на пару дней. Я внимательно изучу ее, отмечу лучшие тексты и отдам их редакционной машинистке. Хорошо?

Светлана Ивановна долго не решалась показать сыну разворот газеты с большой подборкой его стихов и вступительной врезкой поэта Александра Арчибальдова. Реакция сына была непредсказуемой.

– Похоже, Арчибальдов для тебя старается, – сказал он. – Всем же понятно, что вступление его глубоко фальшиво.

Расстроенная мама не знала, что и ответить.

Через некоторое время она опять полезла на антресоли, чтобы почистить произведения сына. Но ни тетрадей, ни амбарных книг там уже не оказалось.

### 3

Александр Григорьевич был полной противоположностью Стасику. Ему всегда хотелось стоять на подмостках. Очень нравилось нашему стихотворцу быть в центре. Вне общества Арчибальдов жизни себе не представлял.

В отличие от Стасика, стихи он начал писать поздно, уже будучи студентом. И никаких амбарных книг у него не было. А вот литстудия была – провинциальная и тихая, которую вел местный писатель, одноногий ветеран войны. Александр Григорьевич уважал профессионалов в любой области, поэтому твердо решил, что если уж будет писать стихи, то обязательно хорошие. Учился он в политехническом институте, на очень престижном факультете, где без способностей к точным наукам делать было нечего. Саша был круглым отличником. Любовь к учебе – эта как раз та черта, которая сближала его со Стасиком.

Работать он устроился в секретный «ящик» с пропускной системой со стандартной зарплатой инженера в сто двадцать рублей. Казалось бы, совсем незначительное событие заставило его круто изменить свою жизнь.

Жизнь его изменила женщина. Читатель (и особенно читательница!) обязательно представят здесь что-то интересное, возможно, даже эротическое. Увы, никаких любовных перипетий с этой женщиной и быть не могло, поскольку это была семидесятилетняя старушка, одетая в засаленный синий халат. Старушка с ведром и тряпкой. Точнее уборщица. Но тетя Катя не самая тупая на свете уборщица была, а даже читающая книжки, проработавшая всю жизнь в этом самом «ящике» технологом, пока ее не сократили.

Увидев на столе у Саши небольшую книжечку светло-коричневого цвета, она поинтересовалась, что это такое. Тетя Катя узнала, что в книжке напечатаны три Сашиних стихотворения, за которые ему заплатили аж восемьдесят рублей. Сумма невероятно возбудила бывшего технолога. За три стихотворения можно получить две трети месячной зарплаты инженера! Мыслимое ли это дело!

Бурная реакция уборщицы не прошла мимо молодого стихотворца. Действительно, стоило ли каждый день сидеть в этом самом ящике с восьмью до пяти часов, когда можно получать почти такие же деньги, умело рифмуя строчки, особенно на такие темы, которые востребованы в советских редакциях?

Недолго думая, Арчибальдов написал заявление об уходе по собственному желанию.

На жизнь он зарабатывал выступлениями по линии Бюро пропаганды художественной литературы, а также публикациями стихов и статей в местных газетах.

Бог наградил Александра Григорьевича спокойным нравом и жизнелюбием, и этими чертами он очень походил на Стасика. Но если последний был человеком малообщительным и больше всего на свете любил прозрачные капли после дождя, медленно сползающие по тонким веткам, то поэт Арчибальдов без общества жить не мог совершенно. Всегда ему нужно было быть на виду, стоять на подмостках. Сама поэзия как таковая не значила для него ровно ничего, да и как поэт он ничего из себя не представлял. Но был он, безусловно, человек не только способный, но и в каком-то плане даже талантливый – он каким-то внутренним, утробным нюхом ощущал, какой текст в какое издание можно пристроить и как заработать деньги самым что ни на есть быстрым способом.

Довольно часто журналисты становятся писателями. Во всяком случае, чаще, чем инженеры. Случай же Арчибальдова был совершенно противоположным. Уже будучи профессиональным писателем, членом Союза, он стал писать информации в газеты, и не было ни одной статьи, чтобы ее не напечатали, и никто никогда не мог назвать его текст распространенным в редакционных кругах словом «неформат».

Возглавив отдел культуры местной молодежной газетки, Арчибальдов сразу же стал там своим и подчас даже замещал главного редактора.

Особое отношение было у него и к спиртным напиткам. Арчибальдов любил выпить, что, конечно, не способствовало его здоровью. Однако всегда мог остановиться, и равнодушие к выпивке не переросло у него в зависимость.

Он рано женился на своей однокласснице, которая в тяжелейшее для России время, вошедшее в европейские языки под словом *bespredel*, навсегда рассталась с радиофизикой и стала... бухгалтером.

Родила она нашему письменнику двух прекрасных мальчиков. Счастливая семейная жизнь вовсе не мешала Александру Григорьевичу встречаться с женщинами, отношения с которыми были ему просто необходимы в силу бурного темперамента и любовью ко всякому разнообразию.

Избыточная масса тела, унаследованная сочинителем от предков, явилась традиционной почвой для развития диабета второго типа и гипертонической болезни, из-за которых и пришлось ему познакомиться с мамой Стасика. Но Арчибальдов был кем угодно, только не ипохондриком. Лечиться он не любил.

Поэтому, когда появилась у него боль в пояснице, вспомнил своего папу, мучавшегося от радикулита, и сам поставил себе вышеназванный диагноз.

Увы, радикулита у Александра Григорьевича не было. На МРТ врачи нашли какое-то непонятное образование в позвоночнике, в котором заподозрили метастазы опухоли.

Случайно узнав о своем возможном диагнозе, Арчибальдов испытал шок. Потом он решил, что здесь какая-то ошибка. Во всяком случае,

он должен был умереть не теперь и не сейчас, а через много-много лет, когда у него уже не будет ни отдела культуры, ни литстудии, когда дети вырастут и общение с женщинами утратит всякий интерес.

Лену (а так звали его последнюю подругу) Арчибальдову терять было особенно тяжело.

Пришла работать в отдел писем молодая девчонка, с очень даже средней фигурой и внешностью. Нестираная футболка, вечно мокрая и вонючая в подмышечных впадинах, дырявая и потертая джинсовая юбка. Но что-то в ней было этакое, узнаваемое, нечто такое, что когда-то уже видел Саша Арчибальдов. И была в этой девчонке какая-то детская непосредственность. Не понимала до конца она отношения людей и с начальниками общалась так же, как и с многочисленными людьми, приходящими в газету, – патологическими жалобщиками, правдоискателями и графоманами.

Стремительно у них всё началось с Арчибальдовым. Когда пригласил он ее на Гребной канал покататься на лодке, сначала не соглашалась, ссылаясь на бытовые дела, но, оказавшись на грязной бетонке, заваленной рыболовными крючками и разноцветными осколками битого стекла, сразу же помогла Арчибальдову донести лодку до воды, сноровисто вдела весла в уключины и завертела их болтающимися на красных шелковых нитках красивыми гаечками, как будто она всю жизнь только этим и занималась.

Когда плыли мимо противоположного берега Гребного канала, попросшего кугой и камышами, сказала, что хочет в туалет.

Арчибальдов нашел небольшую песчаную отмель, пришвартовался. Лена быстро выпорхнула из лодки, но не побежала в кусты, а присела прямо на берегу, по-детски глядя в глаза Арчибальдову.

Никогда раньше не испытывал наш герой ничего подобного. Как будто теплая морская волна подхватила его, во рту стало сладко и терпко, словно там лежал леденец, и он понял, что здесь, на берегу, и должно всё произойти.

Как только Лена приподнялась, он уже выскочил из лодки и схватил ее за руки.

– Давайте у меня дома, – предложила Лена, как будто речь шла о каком-то бытовом, хозяйственном деле. – Здесь неудобно, места мало.

Но Арчибальдов уже поставил ее голыми коленками на мокрый песок отмели и спустил дырявую джинсовую юбочку.

– Ой, больно как-то, – простонала Лена. – Я же говорю, дома давайте.

Но Арчибальдов никак не среагировал на ее слова.

Постепенно ее стоны стали обретать какой-то иной характер, становились все сильнее, настойчивей и ритмичней. Прекрасно понимал наш герой, что теперь уже совсем не от боли она стонет.

Наконец, она сильно закричала, и в этот момент из прибрежных камышей, растопырив крылья, взлетела дикая встревоженная утка.

Лена дышала так, как будто только что сдала норму ГТО по бегу.

– Всё, улетела, – довольно улыбаясь, сказала она, и Арчибальдов тогда совсем не понял, что речь шла вовсе не об утке.

Так неужели никогда больше не услышит он это заветное слово из ее губ – узких и слегка дрожащих, не знающих, что такое губная помада?

Кроме слов, были и не менее дорогие запахи.

В резной шкатулке, привезенной после войны из Германии, бабушка хранила так называемые «драгоценности» – бусы гранатового цвета, серебряные брошки, ремешки и браслетики от часов. А еще там лежал

флакон духов «Красная Москва», удивительно красивая граненая бутылочка с пробкой в виде пятиконечной звезды. Пробка внизу переходила в узкий наконечник с шариком на конце, которым как раз бабушка и душилась, когда выходила из дому.

Саша никогда не открывал эту пробку, его больше интересовали бабушкины безделушки. Но запах от духов шел настолько сильный, настолько специфический, что бабушка, возвращаясь домой, всегда безошибочно определяла, что ее шкатулку открывали. «Опять лазил в шкатулку?» – спрашивала она, еще не успев затворить за собой дверь.

Потом он неожиданно столкнулся со знакомым запахом. Именно этими духами пользовалась жирная директорша школы Альбина Викторовна, по прозвищу Слониха.

«Вот, явилась уже, сменную обувь проверяет, – услышал однажды Арчибальдов из уст молодой практикантки по биологии. – Вся школа “Красной Москвой” провоняла».

Были, конечно, и другие запахи. На спортивной площадке дома отдыха «Красное Сормово» долговязый парень с опереточным именем Роберт так сильно бил по резиновому волану, что однажды закинул его на крышу гаражей. Мама посоветовала заменить волан сосновой шишкой, но эффекта не было – шишка далеко не летела, а однажды даже застряла в ракетке, в квадратике, ограниченном плотной бесцветной леской.

Переживания Саши не прошли мимо папы, и в тот же день он сел на автобус, нашел в городе Кстове спортивный магазин и к ужину вернулся с двумя пахнущими резиной воланами. Один он купил про запас – на тот случай, если вдруг какой-нибудь дурацкий Роберт вместо исполнения опереточной арии опять волан на крышу гаража закинет.

Этот резиновый запах тоже нельзя забыть. Но теперь никаких запахов уже не будет.

И тут неожиданно закон парных случаев сработал. Если раньше Арчибальдова лечила мама Стасика, то теперь он попал к нему, молодому неврологу. Стасику как раз и предстояло определить, что там такое в позвоночнике у местного письменника и, может быть, как-то облегчить боли, которые с каждым днем усиливались.

Увидав Стасика в своей палате, Арчибальдов обрадовался. «Ну, если он такой же врач, как и поэт, то это неплохо», – подумал он.

За прошедшие годы Стасик несколько изменился. От необщительности парня не осталось и следа.

Молодой врач сразу же заявил писателю, что верит в положительный исход его болезни.

– Жить вы будете, Александр Григорьевич. Но, возможно, вам предстоит операция. Принимать таблетки в вашем случае нет никакого смысла – они только ненамного уменьшат боль.

Писатель сразу стал думать, что подарить молодому доктору. Наконец, подарил свою книжку и, подписав ее, произнес:

– Это символический подарок. А главный – впереди.

Стасик прочитал стихи Арчибальдова, и они ему не понравились. Он чувствовал, что должен помочь этому человеку, и помочь не только как врач.

– Неужели вы исключительно потому принялись за сочинительство, что поняли, что так заработать легче всего? А сейчас, публикуясь за счет спонсоров, вы чего добиваетесь? – спросил он у Арчибальдова на следующий день.

– Я добиваюсь одного – получить какую-нибудь премию. Я ведь и книжку эту издал исключительно под премию. Сейчас уже на стихи не проживешь. Но я не пропаду – у меня есть газета.

Он долго рассказывал Стасику о том, какие существуют премии и как сложно их получить.

– Вы не рыбак случайно? – спросил Стасик.

– Нет. Хотя у меня есть резиновая лодка и я люблю на ней плавать.

– У вас психология рыбака. Я сейчас подумал – а что напоминают все эти ваши премии. И вдруг понял – рыбалку. Вот пришли вы на берег, закинули удочку и смотрите – клюнет или нет... А я вот точно не рыбак. Не пойду я за рыбой на Волгу.

– А куда пойдете?

– В магазин. Куплю там рыбу. Я же знаю, что она там есть.

– Если следовать вашему принципу, то и с женщинами знакомиться не надо. Ведь не знаешь, клюнет или нет. Лучше сразу позвонить проститутке. Это наверняка, как в случае с рыбой в магазине... А вот по поводу премий... Да, похоже на рыбалку. Но ведь я всё-таки шесть премий уже получил. Привык уже этот поплавок закидывать. Сам-то я прекрасно понимаю, что стихи мои никто читать не будет.

– Редко встретишь честного человека, – обрадованно сказал Стасик. – Я ведь тоже пишу. Но кое-кому это нужно! Знаете кому?

– Интересно узнать. Маме, наверное.

– Нет, ей совсем не нужно. Она читает только прозаические тексты, да и то редко. Это нужно мне. Работать над словом вообще очень интересно. А вот писать на заданные темы, как вы, я никогда бы не смог.

– Вот и здорово. Но ведь у вас уже есть профессия. Вы врач.

– Ну, не смог бы писать всякое дерьмо я вовсе не поэтому, что в свое время выучился на врача. Просто не хочу писать дерьмо. Вы смогли бы отказаться от своей писанины?

– Наверное, нет. Теперь уже нет. Когда в «ящике» работал инженером, тогда бы смог. Вы знаете, сколько в нормальное время за книги платили?

– Ну так это раньше было. И чаще всего за поэмы всякие типа «Братской ГЭС». У меня к вам предложение. Вы бросаете писать свою галиматью, а я в ответ снимаю вашу боль. Навсегда снимаю, слышите? Навсегда! И тревогу вашу я убираю. У вас нет никакого рака, слышите? Это не метастаз. Но вам показана операция. Небольшая. После которой боль пройдет.

– Ну, Станислав Валерьевич, это уже какая-то сделка получается. Я не Фауст, вы не Мефистофель... Вам-то какое дело, пишу я или нет?

– Честно сказать, мне, неврологу Синицыну, никакого дела нет. Но я хочу вас вылечить не только от боли в позвоночнике.

– Хорошо. Допустим, я бросаю писать. А в газете вы мне работать не запретите?

– Я хочу, чтобы вы перестали болеть и заниматься дребеденью. Скорей всего, вы и заболели из-за этого. То, что вы пишете всю жизнь в газетке, куда позорнее ваших стихов. В стихах вы почти всегда искренни, хотя сами стихи у вас вялые, беспомощные. Но в газетках-то вы и в советские времена ввали, и сейчас продолжаете!

– Ну, спасибо за комплименты, дорогой доктор. Надеюсь, результат вашего лечения окажется для меня приятнее этих разговоров.

– Несомненно. Результат будет очень приятным. Хотя участвовать в операции я не смогу. Это компетенция нейрохирурга. Вы только



сейчас обещайте мне, что прекратите заниматься всякой галиматьей. Вы прекрасно понимаете, что я считаю галиматьей. Не притворяйтесь.

– Хорошо, Мефистофель, – улыбнулся Арчибальдов. – Считайте, сделка совершена. Продаю душу дьяволу в обмен на здоровье.

– Как раз наоборот! Я вырываю вас из дьявольских лап навсегда. Все, вы обещали, обратной дороги нет. Но помните – если вы меня обманите, тогда прогноз болезни может быть совсем другой. Выбирайте.

– А что, вы теперь будете следить за мной? Проверять, послушался ли я вас?.. А если я, как вы, стану тайно стихи писать в амбарных книгах и прятать в шкафах, ну как вы тогда проверите, что я не бросил писать? В гости ко мне придете с обыском?

– Нет, Александр Григорьевич. Не приду. И по одной простой причине. Никогда вы ничего в амбарных книгах писать не будете. Ведь вам же надо быть в центре. Стоять на подмостках. Публиковаться. Получать премии, а потом сотни раз повторять, что вы лауреат, лауреат, лау...

– Хватит! – оборвал его письменник. – В конце концов вы врач, а я больной человек. Нельзя же так с больным. Будьте милосердны.

– Да я уже закончил. Перевожу вас в нейрохирургию. Но мы еще с вами встретимся. А о нашем договоре никому не говорите. Даже в органах. И еще одно обещание вы должны мне дать – спиртные напитки больше не пить! Запомните раз и навсегда! Иначе вам грозит внезапная смерть!

## 5

После разговора со Стасиком Арчибальдов не спал всю ночь.

«Что же, – подумал он, – если страшный диагноз не подтвердится, я обещаю Богу завязать и со стихами, и с журналистикой. Сторожем пойду работать. Или редактором. Возможно, Станислав Валерьевич и есть мой ангел-хранитель. И он давно уже предупреждал меня через свою маму этими жуткими амбарными книгами, что не делом я занимаюсь».

Утром красивая и аккуратная медсестра отвела его на третий этаж, где располагалось нейрохирургическое отделение. Лечащий врач, немногословный Кирилл Владимирович, сразу же заявил, что у Арчибальдова, скорей всего, редкий вариант болезни Шморля – межпозвоночной грыжи, которая и дает такую резкую боль.

После операции нейрохирург сказал, что диагноз подтвердился.

Что же теперь оставалось делать Арчибальдову? Писать нельзя, пить – тоже. Слава богу, общение с женщинами Стасик ему не запретил. Он вспомнил традиционные поездки на лодке с Леной, песчаные отмели, запах болотной травы и понял, что, наверное, еще не всё в его жизни потеряно.

Но, с другой стороны, это ведь глупо, совершенно глупо! Этот мальчишка просто решил посмеяться над ним, писателем! Тоже мне, психолог нашелся... Нет, он еще подумает, бросать ему писать или нет.

В первые дни после операции Арчибальдов ощущал боль при ходьбе и когда ложился на койку, но с каждым днем боль становилась всё меньше и меньше. По-видимому, Стасик обладал пророческим даром.

После выписки из больницы Арчибальдов вернулся к работе в газете. Это единственное из обещаний, которое он выполнить не сумел – пятидесятилетний писатель не умел зарабатывать деньги иначе как писаниной. Бросить писать стихи оказалось проще – советская власть закончилась, и за творчество перестали платить.

Каждый день он долго и напряженно думал о Стасике. Он понимал, что встреча с ангелом-хранителем не была случайностью. Более того – чувствовал Арчибальдов, что доктор должен явиться к нему опять и что отношения их приобретут какой-то совершенно иной вираж и размах.

Стасик появился неожиданно, и как раз там, где Арчибальдов не ожидал его увидеть.

В коридоре Дома работников торговли, опираясь на обшарпанный подоконник со следами отслоившейся грязно-белой масляной краски, стоял молодой человек с нездоровым, желтоватым цветом лица. Кости черепа отчетливо проступали сквозь бледную кожу. В руках человек держал большой старомодный портфель.

Арчибальдов не сразу узнал своего доктора. Да, это был Стасик.

– Я теперь сапожник без сапог, – как-то вяло, потерянно пробормотал он, глядя в глаза Арчибальдову. Невролог, страдающий опухолью мозга. Нейроглиома – опухоль коварная, агрессивная и неизлечимая. Этот портфель я принес вам. Там мои сочинения. Помните, мама приносила вам амбарные книги? Здесь практически всё, что я написал. Папа умер, мама состарилась. Квартира достанется моей двоюродной сестре, а она не только стихов, но и книг не читает. Возьмите всё это. Напечатайте хоть под своим именем. Может, вам за это хоть что-то перепадет. А то портфель на помойке окажется.

– Что вы, Stanisław... – промямлил Арчибальдов.

– Валерьевич, – добавил Стасик.

– Да, Валерьевич. Вы помните, как совсем недавно я умирать собирался? А ведь не пришлось умереть. Так и вы, может быть...

– Александр Григорьевич, бросьте это. Чудес не бывает. Поймите – мы с вами ничем не отличаемся. То, что будет со мной через полгода, с вами случится через десять лет. Возьмите этот портфель.

В портфеле сочинитель обнаружил знакомые ему тетрадки и амбарные книги. Каждая из них была пронумерована красным фломастером на обороте обложки.

Что он будет делать с этими текстами? Ни одно издательство не станет публиковать это за свой счет. Может, сдать эти рукописи в областной архив?

Придя домой, Александр Григорьевич положил портфель в темную комнату, где он хранил летом лыжи, а зимой – надувную резиновую лодку и летние покрывала от колес.

## 6

О смерти Стасика он узнал через год от общего знакомого. Сразу же вспомнил про портфель и достал его.

Начал читать не с первой тетради, испещренной убогим и круглым детским почерком, а с двенадцатой.

Умерший доктор отдал Арчибальдову вовсе не черновики – Стасик писал в других тетрадях, а в эти аккуратно переписывал свои тексты.

Чем больше читал Арчибальдов стихи Станислава Синицына, тем больше они завораживали его. Почему этот молодой доктор совершенно не хотел обнаруживать свой талант? В чем была загадка этого человека? И была ли она, эта загадка, вообще?

Был ли Синицын странным человеком? Может быть, странны все другие люди, которые сегодня соберутся в литературной студии?

Каждый человек ищет себе подобного и стремится к подобному. Ясно было одно – Синицын не только не подобен Александру Григорьевичу, но полностью противоположен ему во всем. Если Арчибальдов позитив фотографического снимка, то Стасик – негатив.

«Лед и пламень», как сказал поэт.

В этот вечер в литстудии намечалось обсуждение стихов Анфисы Чистяковой. Однако девушка не пришла. Дозвониться до нее не смогли – не брала трубку. Тогда Арчибальдов предложил стандартное проведение занятия – чтение стихов по кругу.

Когда все прочитали свои рифмованные творения и по традиции должен был читать руководитель, Арчибальдов вынул из пакета с надписью «Магнит Косметик» толстую тетрадь Стасика и прочитал одно стихотворение.

В комнате повисла звенящая тишина.

– Неужели... это... – начала было пожилая библиотекарша Мария Тихоновна, сидящая в углу. – Неужели это действительно вы написали? – нерешительно спросила она.

Кровь бросилась в лицо Арчибальдову. Да, старушка поняла, что это не его текст – он не может создать ничего подобного.

– Вы правильно заметили, Мария Тихоновна, – хриплым голосом сказал поэт. – Это не мой текст. Написал мой друг, который попросил не называть его фамилию. К сожалению, он ушел из жизни. Вам эти стихи понравились?

– Почитайте еще! – закричали студийцы.

– Нет, ребята, – оборвал руководитель. – Уже девять часов. Мы должны покинуть помещение. В другой раз.

По пути домой писатель зашел в закусочную, взял пятьдесят грамм водки и вдруг почувствовал, что от выпитого не стало ему спокойнее и веселее.

Нет, он никогда не бросит ни писать, ни пить, ни работать в газете.

«Слышите, Станислав Валерьевич? Не берите меня в свой рай, пожалуйста. Мне и здесь хорошо».

## ЭКЗАМЕН

Иван Григорьевич родился в начале лета, и, наверное, потому и нравилось оно ему больше всех других времен года. Однако вовсе не был он и метеопатом — любил и доверчивое шуршание листьев под ногами в осеннем выстуженном парке, и первый нерешительный снег, и длинные лыжные прогулки в середине зимы, и оглушительный запах цветущих черемух.

Зимой ему разве что темнющие короткие дни-недоноски не ложились на душу. Очень хотелось не столько тепла, сколько лучистого света солнца.

Не секрет, что декабрь у нас самый мрачный из всех месяцев, так что в декабре и ждать-то солнечного света особенно не стоит. Но в этот год и январь от декабря совсем не отличался. Постоянная серая оттепель, однообразный мокрый снег с дождем — и на Новый год, и на Рождество, и на старый Новый год. Двадцатого января, в день рождения покойной бабушки Ивана Григорьевича, солнце тоже не показалось.

После долгих новогодних праздников началась традиционная сессия, и наш герой каждый день ездил в институт принимать экзамены. Но если в прошлые годы были между рабочими днями хоть какие-то просветы, то в этом мрачном году экзаменационные дни прекращались только по воскресеньям.

В этот день Ивану Григорьевичу было как-то особенно не по себе. Он плохо спал ночью. Впрочем, такое с ним и раньше случалось — проснешься в четыре часа утра, а ощущение такое, будто сейчас не четыре утра вовсе, а четыре часа дня — совсем спать не хочется.

Иван Григорьевич встал, побрился, сварил себе две сосиски. Он ел всегда «Нежные», но на этот раз их в «Магните» не оказалось. Пришлось покупать «Владимирский стандарт». Это тоже были неплохие сосиски, он часто брал их в маленьком деревенском магазинчике, когда ездил на дачу. К сожалению, дачный сезон уже два месяца как закончился.

От сосисок затошнило. Впрочем, тошнить могло и от крепкого чая — наш герой поленился заварить его в маленьком фарфоровом чайничке с отбитым носиком, оставшемся от бабушки, бросил пакет «Принцессы Нури» прямо в старую, треснутую советскую чашку с изображением Адмиралтейства и едва заметной надписью «Ленинград».

Иван Григорьевич включил компьютер и стал работать над книжкой. Он писал биографию одного ученого, известного в узких кругах. Ученый этот в какой-то степени был новатором и работал над очень даже не узкой в плане человеческой жизни проблемой — он впервые в истории человечества осуществил пересадку сердца, однако не человеку, а лягушке. К тому же это была вовсе не замена сердца, а пересадка второго, изолированного сердца в грудную полость. Результаты эксперимента были потрясающими — лягушки с двумя сердцами жили

в среднем до четырех месяцев, а одна даже протянула шестнадцать месяцев и девять дней.

Иван Григорьевич писал свою книгу прежде всего по велению души, а не по принуждению, но в то же время были в его труде интересы шкурные. Шкурные, но, заметим, не меркантильные. Денег у профессора Самойлова никогда не бывало и не предвиделось, и никогда он, честно говоря, не стремился к ним. Суть дела заключалась в том, что был наш профессор вовсе не профессором как таковым, то бишь не имел ученого звания профессора, а работал только в профессорской должности, с которой его каждый год грозились снять. Данная же монография должна была послужить надежной защитой от подобного неприятного события – всё-таки написание серьезной книги не каждому по зубам. Издать монографию предполагалось в том же институте, где работал Самойлов, самым что ни на есть крошечным тиражом. Дело было вовсе не в тираже даже и вовсе не в том, прочитают его книгу или нет, – дело заключалось только лишь в том, что он станет автором монографии, а уж это, как говорится, дорогого стоит. Несмотря на эти, казалось бы, тактические и шкурные интересы, работа над рукописью в этот темный бессолнечный январь была единственной отдушиной в жизни Самойлова.

Экзамен начинался в половине десятого. Это означало, что выходить из дому нужно примерно в девять сорок пять.

Пока двигатель нагревался, Иван Григорьевич ходил по двору. Стоял возле старого дуба, одного из древнейших деревьев в городе. Когда-то здесь, возле этого дуба, он впервые встал на лыжи – маленькие, детские, доставшиеся от двоюродного брата. Крепления на лыжах были самые что ни на есть деревенские – какие-то нелепые полугнилые ремни, в которые вдевались тупоносые детские валенки. Далеко на таких лыжах не уедешь. Впрочем, ребенку и не надо далеко ехать – по двору бы только покататься, съехать с небольшой горки к двум худосочным анемичным березкам так называемой «площадки». Он хорошо помнил, как папа старательно надевал лыжи на его тупоносые валенки, закреплял ремни, которые постоянно отстегивались. Один валенок был у него черного, другой – серого цвета, и он отлично помнил, что изначально оба валенка были черные, но потом с одним произошло что-то фатальное, необратимое. Папа всегда повторял, что к лыжам должны прилагаться еще и палки, да вот только палок у Вани никогда и не было. Просто папа брал его за руку, за нелепую голубую бабушкину варежку, и вел к горке, по которой страшно было ехать в гололед.

Все прошло. Ни лыж, ни папы. Только нелепый бело-оранжевый шлагбаум возле рыжих от ржавчины ворот.

Иван Григорьевич подошел к машине. Стрелочка ушла далеко уже от буквы «С» – значит, можно ехать.

Долго нажимал на кнопку пульта. Шлагбаум не открывался. Самойлов вспомнил маленького скуластого председателя ТСЖ, отвлеченного мелкого жулика, поставившего этот шлагбаум. Наверняка он теперь придумал какие-то новые пульты. Во всяком случае, неблагоприятное исходило от этого уродливого нечистоплотного человечка, только и думающего о том, где бы чего украсть. А может быть, просто пульт сломался?

Сомнения разрешил сосед Женя Симкин, гулявший с гавкающей собачонкой по двору.



– Дормидонтыч решил, что с телефона открывать современнее, – сказал он. – Пульт можешь выкинуть, а номер я тебе дам. Второй раз звонить не надо – шлагбаум автоматически закрывается.

Ушлый председатель одно время удачно торговал пультами, благодаря чему в рабочее время во дворе, где всю сознательную жизнь прожил Иван Григорьевич, парковались люди, работающие неподалеку. Машины рассасывались только после пяти часов вечера. Наш герой, как большинство преподавателей, работал по расписанию и зачастую возвращался с кафедры довольно рано, в середине рабочего дня. В это время благодаря ушлomu Дормидонтычу всегда возникали проблемы с парковкой, и автомобиль приходилось ставить за два квартала от дома.

С машиной вообще всегда были проблемы. Иван Григорьевич вообще не помнил такого дня, чтобы в ней всё работало. Конечно, на всякие мелкие неисправности, не критичные для езды, он не обращал внимания. Но этими неисправностями никогда дело не ограничивалось.

Как только он отъехал от шлагбаума и вырулил на улицу, сразу же услышал знакомый стук подвески. Звуки учащались с увеличением скорости. Понятно было, что по колесу задевало что-то. Этот звук начался после посещения шиномонтажа. Но ведь шиномонтажники всего лишь снимали колеса и ставили их назад. Они не могли ничего повредить. Возможно, это просто совпадение, но в любом случае предстоит ехать в сервис, и в какую сумму эта поездка обернется, трудно было предположить.

Возле учебного корпуса его вновь встретил шлагбаум, но этот шлагбаум можно было открыть и при помощи пульта. Эти белые палки стали глубоко символичны для нашего времени – эпохи мышинной борьбы за частную территорию. Люди настолько отгородились друг от друга, что, казалось, сблизить их уже никогда не удастся.

На первом этаже толпились студенты, нервно ожидающие экзамена. Увидев Самойлова, они дико завизжали.

Крик молодых людей, не сумевших сдержать свои эмоции, был более чем понятен – Иван Григорьевич славился своим либерализмом и ставил двойки редко, в самых исключительных случаях.

Самойлов вспомнил, что сегодня был не просто экзамен, а переэкзаменовка, то есть на первом этаже кучковались отъявленные двоечники и бездельники.

Первой ему сдавала Аня Щеглова. Это была очень красивая и общительная девочка. Она была в меру умна, вежлива, адекватно относилась к окружающим. Кто знает, для чего была рождена эта девочка, во всяком случае Самойлов не видел у нее вектора развития. Очевидно было одно – любая учеба была не ее стезей. Учиться, получать знания – всё это лежало явно за пределами ее интересов. Похоже, что она и не скрывала свое настоящее отношение к учебе. Всем своим видом, всем своим поведением она давала понять, что все мы, конечно, очень даже умные, все мы очень современные люди, все мы прекрасно знаем, разумеется, что занимаемся здесь какой-то ерундой, какой-то мышинной возней. Но иного пути нет у нас – ну не может же нормальный современный человек быть без высшего образования, без этого самого пресловутого диплома, также как уважающий себя человек не может быть без денег, квартиры, машины и дачи, без двух жен, без двух (хотя бы!) детей и, разумеется, без двух любовниц – первой, умной и практичной не обязательно молодой и сексуальной, и второй, обязательно молодой

и сексуальной, но не обязательно, а может, даже и желательно неумной и непрактичной.

Аня села возле Самойлова, виновато улыбаясь.

– Такое ощущение, Аня, что ты не знаешь ни одного вопроса, – сказал ей профессор.

– Именно так, Иван Григорьевич. От вас ничего не скроешь. Но ведь я уже получила двойку. Со второй двойкой меня мама на порог не пустит.

Самойлов обратил внимание на то, что у Ани каждый ноготок был покрашен разной краской и на каждом еще нарисован маленький цветочек – ромашка, колокольчик, ландыш, розочка и еще какой-то цветок.

– А на другой руке – другие рисунки? – почему-то спросил он.

– Нет, – отвечала Аня. – Такие же. Пять разных рисунков для разных пальцев.

– Это интересно.

– Еще бы!

– Во всяком случае, интереснее экзамена.

– Вот именно! А главное, это совсем нестрашно. А вот эти экзамены... Давайте, я вам расскажу (и тут Аня предложила Самойлову вопрос, который знала лучше других, но который, как назло, не попался ей в билете).

Иван Григорьевич не возражал.

Аня действительно отвечала не так уж и плохо – на твердую тройку. По-видимому, именно этот вопрос она только и успела выучить.

А вот второй экзаменующийся оказал на него колоссальное впечатление.

Парень был ему не знаком, хотя его нестандартная внешность не могла не обратить на себя внимание и раньше – длинные волосы, татуировки на руках, кольцо в носу. Он часто видел его в столовой.

Владимир Тимофеев (а именно так звали парня) в этот день выглядел не просто странно. Он был совершенно не в себе.

Опытный профессор сразу же понял, что дело вовсе не в экзамене.

– Да какой экзамен, – сказал он Самойлову. – Мне теперь ваши оценки по барабану. Даже если меня выкинут из этого института, я много не потеряю. Армия мне не грозит – у меня бронхиальная астма тяжелой степени. А вот что теперь с мамой делать, не знаю.

Володя рассказал профессору, что недавно маме позвонил представитель службы безопасности и велел ей переложить деньги на безопасный счет. Вскоре оказалось, что это мошенник, и все мамины деньги растревались в криминальном российском воздухе.

– Деньги не слишком большие, – подытожил студент. – Всего-то около шестисот тысяч. Но ведь у мамы больше нет. Всё бы ничего, – поведаль он профессору, перейдя на шепот, – но теперь эти люди обещают ей вернуть деньги.

– Ну, такого не бывает, – возразил Самойлов.

– Еще как бывает! – продолжал Володя. – Они просят ее поджечь банкомат.

«Неужели он всё это сочиняет только ради тройки за экзамен?» – подумал Самойлов.

– Может, отвечать будете? – предложил Самойлов.

– Да, я отвечу, – сказал студент. – Хотя можете мне и двойку поставить. Мне давно уже всё надоело. Жить не хочется совершенно.

Последние слова были сказаны в таком отчаянии, что профессор не сомневался уже в искренности Володи.

А когда он начал отвечать, Иван Григорьевич сразу же понял, что Тимофеев находится уже в другом мире, в котором оценка за экзамен действительно какая-то, как говорят физики, ничтожно малая величина по сравнению с другими явлениями.

Ответ был между тройкой и четверкой. Самойлов поставил «хор» и попрощался с Володей.

– Скажите, а вы бы пошли поджигать банкомат в таком случае? – неожиданно спросил его студент.

– Конечно, нет. Это же уголовное дело. Тем более что мошенники никаких денег маме не вернут.

– Я бы тоже не пошел, – ответил Володя. – Но она другая. Верит людям.

Остальные студенты отвечали настолько ужасно, настолько бесприсветно, что Самойлов окончательно заскучал.

После экзамена пошел в столовую со своим пакетиком чая. Это было дешевле. В студенческой столовой был один несомненный плюс – там всё было достаточно дешево. Однако меню не отличалось разнообразием. Сегодня был только застывший рис и куриные котлеты.

Кассирша дежурно поставила перед ним пустой одноразовый стаканчик из плотной белой бумаги. Она знала, что он ходит в столовую со своими чайными пакетиками.

На обратном пути всё было еще мрачнее – подвеска гремела еще больше, шлагбаум не открывался, несмотря на телефонные звонки, а когда открылся наконец и Иван Григорьевич въехал во двор, места для парковки не оказалось.

Он поехал к школе, где проучился десять лет. Но и там он обнаружил шлагбаум.

Как же так? Примерно неделю назад он оказался в такой же истории. Но тогда он спокойно оставил машину во дворе школы.

Ситуация понятная. Здесь тоже поставили шлагбаум. Но это незначительное, казалось бы, событие так возмутило Самойлова, что он и не заметил, как отъехал на несколько кварталов от школы. Заехал в первый попавшийся двор. Нет, это слишком далеко. Можно отыскать место и поближе к дому.

Отыскал. Вышел из машины.

Но тут с ним произошло что-то непонятное. Самойлов поймал себя на том, что не узнает родной город. Точнее, это было двойственное чувство. С одной стороны, он прекрасно знал, где находится, куда ему следует идти, где расположен его дом. И в то же время он понял, что с ним произошла какая-то катастрофа.

Нет, у него вовсе не случилось инсульта. И никакой боли он не испытывал. И в то же время ощущение какого-то липкого кошмара ударило его по голове. Он невероятно испугался. Ему показалось, что вся прошлая его жизнь только что закончилась и теперь никогда, никогда не будет к ней возвращения.

Прошлая жизнь закончилась, но началось что-то другое, страшное, непредсказуемое, никак не зависящее от его, Самойлова, планов и действий.

Он шел мимо школы, где проучился десять лет, и вспоминал учительницу физики Александру Ивановну.

«Каждый человек – кузнец своего счастья», – частенько повторяла бодрая женщина, поправляя на голове пучок седых волос, держащийся на огромных шпильках.

Кузнец?! А если кузнец, то надо взять молоток да и ударить по этому шлагбауму, надо взять этот молоток да и подойти к скуластому карлику Дормидонтычу, ударить его по зубам со всей силой. Изо всей силы молотком по зубам! Получай, ворюга, за все свои махинации!

Вернувшись домой, Иван Григорьевич сразу же включил компьютер. Работа над монографией наверняка должна была спасти его от этого кошмара.

Задержался на новостной строке в интернете.

«Пятидесятилетняя женщина облила бензином из канистры и подожгла банкомат в отделении Сбербанка РФ на улице Ванеева».

Нет, это совпадение! Это только совпадение!

Иван Григорьевич нажал на крестик.

«Вы действительно хотите отписаться от новостных уведомлений?» – появилось на экране монитора.

Самойлов нажал «отписаться».

Нет, никаких новостей!

Здоровье прежде всего.

Я ничего не видел, ничего не слышал.

Никто мне ничего не рассказывал.

## Поэзия

### Александр ОРЛОВ

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 им. И. П. Павлова, Литературный институт им. А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, основ философии и права в столичной школе.

Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Бийский вестник», «День и ночь», «Дети Ра», «Дон», «Дружба народов», «Литературная учеба», «Наш современник», «Подъём», «Сибирь», «Сибирские огни», «Юность». Автор сборников поэзии и прозы и книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси».

Лауреат всероссийских премий имени А.П. Платонова (2011), Ф.Н. Глинки (2012), С.С. Бехтеева (2014), Н.С. Лескова (2019), Д.Н. Мамина-Сибиряка (2020) и других, обладатель «Золотого Витязя», а также специального приза Издательского совета РПЦ «Дорога к храму» (2017).

Живет в Москве.

**Александру Владимировичу исполнилось 50 лет. Редакция журнала «Нижний Новгород» поздравляет замечательного поэта и прозаика, нашего постоянного автора, с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и новых творческих достижений.**

## ...И СПИШУТ АНГЕЛЫ ДОЛГИ

*Предисловие Елены КРЮКОВОЙ*

*Дар поэту, настоящий, доподлинный, Божий – глядеть во Время и видеть там лица (пресветлые бессмертные лики!) предков своих.*

*Предки, род, сила Рода. Праотцы твои, деды и отцы – они кто для тебя?.. – да почти святые. А верней сказать, для тебя – так просто святые; ты им молишься всеми своими трудами, всей своею честной жизнью, святость их небесную отрабатываешь непосильной, упорной работой земной; их ликами, фигурами, золотым светом их нимбов расписаны стены твоего внутреннего храма, незримой храмины твоего сердца, твоей души. Твоей памяти.*

*Так начинается работа Духа. Прошлое – не сгибло. Не кануло. Прошлое расцветает лилией-нимфеей на заросшем, диком озере; оно выходит из-за сосен и елей молчаливыми лесными богами, оно спит в полях под палящим солнцем – так зерно спит в земле до суждённого срока.*

*Для русского человека прошлое – это война. Война всегда была и есть. Не укроешься от неё никуда.*

*Александр Орлов – войною меченный. Меченный огненным Временем. Он помнит его генами, хромосомами; наш Русский Миръ, прошедший в сердцеvine двадцатого века наистрашнейшую войну, передал её лютый грохот, крик, гул и безумную, через потоки слёз, радость салютов – нам всем – по наследству.*

*Какова была цена великой Победы? Что чувствовал простой солдат, родню потерявший? Как, чем он побеждал смерть? Тот свет – этому свету – видите, слышите! – протягивает руку. Александр Орлов – да, тоже воевал там и тогда: здесь и сейчас он говорит нам об этом.*

*Мы воюем, хороним и пишем.  
Что поделать? Война есть война.*



*До неё меня звали все рыжим,  
А теперь вот к лицу седина.*

*Может, это плохая примета,  
Что тебе я пишу обо всём,  
Но я верю, мы будем вдвоём,  
Ты меня позови с того света.*

*И как быть человеку, радости жаждущему, сугубо мирному, к счастью всем существом протянутому, – с налетевшей неотвратимо смертью-войной? Под какое живое твоё ребро вонзается её проклятый штык?*

*Но ты – воин. Ратник. Солдат. Слово Александра Орлова много весит. Очень много; очень плотное оно – чугуна, сталь, платина. Слово – как военная клятва, присяга.*

*Жизнь вокруг шумит, и шумят в ней на ветру слова; а по весне вновь выходит сеятель на поле, бросает зёрна в родную землю. В темь, сумрак, тепло, плотно перемешанное с лютым холодом, родимой вспаханной земли.*

*Логос – тоже зерно. Слово – прорастает. Прорастает упорно, упрямо. Слово правды прорастёт сквозь все наслоения чудовищной, искусной лжи. Слово из расхожого, заплёванного, привычного-обычного становится золотым символом, золотой кистью на красном знамени – и золотым зерном падает, ложится, скорбно погружается в землю: умирает. Под нами – солдаты. Под нами – генералы. Там, под землёй, под водою рек и озёр. На дне Ладоги, под серебряной наледью Дороги жизни – грузовики с детьми, с роднёй поэта. А ведь все люди на Родине друг другу – родные! Народ – родной. Кровь, выходит так, неразъёмна; она сама, кровь, – глыба: и прошлое, и настоящее, и тем паче – будущее. Кровь – как же рифмуется с кровью! И четыре прадеда поэта встают за его плечами. А кто же там, вдали? В грядущих далях? Важно – помнить. Важно слышать разрывы войны. Смерть за одним плечом, Жизнь – за другим.*

*А зерно – прорастает. И становится твоей живой памятью.*

*Ростком поэзии соединяются времена.*

*Александр Орлов – не просто пахарь, не просто сеятель, неустанный раб-ботник на словесной ниве: он и есть тот самый росток, проросший из зерна всенародного страдания прямо под небеса огромной Русской поэзии и Русской победной радости. Сила в его сжатом, упругом стихе; сила и воля, любовь и символика, запах хлеба насущного и тихая молитва у родимого гроба. А голову задержи в небеса – что там?*

*Там – гроза прошла, и радуга воссияла. Там – полночные звёзды: золотые, алые.*

*Я пошёл на прогал,  
Прямо в звёздный тоннель.  
И встречали меня,  
Говоря о войне,  
Стражи Судного дня  
В солнцеликом огне.*

*Там Страшный суд, Последний приговор и Жена, облеченная в солнце, и солнечная великая радость, и боль, обращённая в чудо, и Свет неизреченный, ведь «русским отовсюду виден Бог».*

## Род

*Четыре прадеда моих  
Живей живых.  
Четыре прадеда моих  
В снах дождевых.  
Четыре прадеда моих  
В лучах дневных.  
Четыре прадеда моих  
В словах мирских.*

Четыре прадеда моих  
В цветах степных.  
Четыре прадеда моих  
В лесах глухих.  
Четыре прадеда моих  
В делах земных.  
Четыре прадеда моих  
В крестах резных.  
Четыре прадеда моих  
В мирах иных.  
Четыре прадеда моих  
Среди былых.  
Четыре прадеда моих –  
Я возле них.  
Четыре прадеда моих  
Живей живых.

\* \* \*

Я был зачат в любви, а не в пробирке,  
И Бог мне подарил двадцатый век,  
Я вырос из потёртой богатырки,  
И был мне чужд прозападный хай-тек.

Я радовался школьной суматохе  
И жил, не зависая в соцсетях,  
И вёл со мной ночные диалоги  
По облакам спустившийся монах.

Мы говорили обо всём и много,  
И не было пределов естества,  
Казалось мне, что я в ладони Бога  
И не покорен власти большинства.

Я вздрагивал от огневых семантик,  
Но главное в словах духовника  
Запоминал корчагинский романтик,  
И смерть страны была недалеко.

\* \* \*

Мне нравилась с ним каждая беседа,  
И увлекал заботливый расспрос,  
И верилось, что в быт востоковеда  
Я счастье восьмиклассника привнёс.

И был от разговоров я в восторге,  
Когда он умер, это был провал,  
Казалось мне, он всё на свете знал  
И не забыл Есенина и Зорге.

Я помню, в жизни был он незаметен  
И появлялся будто бы тайком.

К нему не приставали сотни сплетен,  
Что пролетали с первым сквозняком.

Я чувствовал: он прожил одиноко,  
Но двор его негласно уважал,  
И был примером старый нелегал,  
Служивший без признания и срока.

\* \* \*

Объясни мне, товарищ, толково:  
Перешли мы сегодня Донец,  
Нам немного ещё до Ростова,  
Не молчи, я же тоже вдовец.

Будем биться, а там ростовчане  
Встретят нас, и начнётся привал:  
Поедим, отогреемся в бане,  
Полк не зря же в степи замерзал.

Перед нами «Ворота Кавказа»,  
Нет пощады для немцев, румын...  
С нетерпением жду я приказа.  
Прошлой ночью позвал меня сын.

Он, жена уходили за Волгу —  
Я смотрел и кричал им вослед —  
Нёс в руках новогоднюю ёлку...  
Только больше на свете их нет.

\* \* \*

Дочка полкового комиссара  
Мне явилась будто наяву,  
Как случилось это, не пойму...  
Говорили: мы с тобой не пара,  
И что ты не веришь никому.

Ты же, как царица ясноока,  
Грудь, бедра, русая коса...  
Может, это просто чудеса,  
Или по решению пророка,  
До отправки дали полчаса.

И тебе клубничная помада,  
Хоть ругал отец, пошла к лицу,  
Мы во сне стояли на плацу:  
Сон помог в руинах Сталинграда,  
Заново родиться мертвецу.

\* \* \*

Что ты смотришь горестно и колко?  
Ты родным под Кашин отпиши:

Медсестра-то наша, комсомолка...  
Может, выпьем за помин души?

Помнишь, как смеялась она звонко  
И кричала: «Мальчики, привет!»?  
От неё осталась лишь воронка  
И слетевший на ходу берет.

Первая красавица филфака,  
Был в неё влюблён весь батальон.  
Буду жив – и на стене рейхстага  
Среди тысяч фронтовых имён

Напишу размашисто – «Марина»,  
Чтобы видно было за версту.  
Вскоре почту повезёт машина,  
До неё я сам давай дойду.

\* \* \*

Передо мной года на марше,  
И я всё всматриваюсь в них,  
И становлюсь от взглядов старше,  
От мыслей, мёртвых и живых.

И мне в границах двух столетий  
Раскрыта и моя судьба,  
И тайны родственных наследий  
С крестом небесного раба.

И в неизбежности событий,  
Что жизнь меняют вкривь и вкось,  
В одном из многих челобитий  
Услышит Бог меня авось.

И всё изменится, быть может,  
И спишут ангелы долги,  
И слово жизнь мне подытожит,  
И выпьют за меня враги.

## Бабье горе

В ночь я сбился с пути  
И зашёл в крайний дом,  
Запах мёда, кутьи  
Расползается в нём.  
И старушка Яга  
Накрывает на стол,  
Говорит: «Ходока  
Господь Бог, знать, привёл.  
Что стоишь – иль не рад,  
Что попал на помин?

Это древний обряд,  
Ты сворачивай блин,  
Помяни горькой всех,  
Не забудь и своих,  
Пей до дна, то не грех.  
Ты остался в живых,  
И поэтому знай:  
За тобой есть должок,  
Да ещё выпивай,  
Ты не свалишься с ног.  
А должок твой таков:  
Вплоть до Судного дня  
Поминай мертвецов,  
В сердце лица храня,  
Сток прошлого вкус,  
Только это твой крест.  
Вижу я: ты не трус.  
Если вдруг надоест,  
Приходи ещё раз,  
Призову вековых,  
Чтоб ты слышал их сказ,  
И твой взгляд не потух,  
Чтоб ты понял, внучок,  
Что такое война,  
Сердце слёзно прожёт  
Бабым горем сполна,  
Чтобы тысячи звёзд  
Твой забрали покой,  
Чтоб ты встал в полный рост  
С неушедшей войной.  
Чтоб на ней ты пропал,  
Скрылся, сгинул, погиб,  
И у всех, кто так ждал,  
Голос мигом охрип,  
Чтобы годы прошли,  
И ко мне на помин  
Не пришёл весь в пыли  
Не рождённый твой сын».  
Я сидел и молчал,  
Покидал меня хмель.  
Я пошёл на прогал,  
Прямо в звёздный тоннель.  
И встречали меня,  
Говоря о войне,  
Стражи Судного дня  
В солнцеликом огне.

## Евгений РАЗУМОВ

Родился в 1955 году в селе Шахове Костромской области. Выпускник Литературного института им. М. Горького. Работал актёром драматических театров в Орске, Мичуринске, Костроме, литконсультантом, корреспондентом, ответственным секретарём и главным редактором в периодических изданиях.

Автор десяти сборников стихотворений, а также публикаций в альманахах и журналах: «Истоки», «Тверской бульвар, 25», «Литературная учёба», «Волга», «Подъём», «Дети Ра», «Уральский следопыт», «Русский путь», «Губернский дом», «Костромской собеседник» и в других изданиях. Лауреат областных литературных премий – имени И.А. Дедкова (2015), имени Ю.В. Бекишева (2023).

Член Союза писателей России. Живёт в Костроме.

## И, МОЖЕТ БЫТЬ, ТОГДА ТЫ ОПРАВДАЕШЬ ПЛОТЬ...

### Предчувствие

«Под пером Тынянова воскресну», –  
Кюхельбекер Пушкину твердит.  
«Интересно, Виля, интересно», –  
отвечает нехотя пиит.

Он не знает, кто такой Тынянов.  
Но воскреснуть – в этом есть резон.  
Вон Гораций пережил траянов  
и неронов. Это ли не сон

в райских кущах?.. Это ли не искус  
пистолету подставлять живот?..  
«А морошку кто-нибудь из близких  
неприменно, Виля, принесёт».

...На часах передвигает стрелки  
позапрошлый праотцовый век.  
...И приходят вместо нянь сиделки.  
...И морошка окропляет снег.

### Питер Брейгель. «Перепись в Вифлееме»

Цедят вино из бочки. Режут свинью на ужин.  
«Да Вифлеем ли это?» – спросит усталый путник.  
Хмуро кивнёт прохожий. Голос его простужен.  
Мальчик на льду играет, в прорубь макая прутик.



Возле гостиниц тесно. Перепись потому что.  
Даже хибара ведьмы, что не сожгли когда-то,  
служит сегодня кровом. Чаем поит старушка  
тех, что бросали камни. Пьют, ничего, ребята.

В общем, денёк обычен, кабы звезда не висла  
вон, где из меди флюгер, кабы не эти двое:  
женщина и мужчина (что им земные числа  
переписи какой-то, если в душе – такое!..)

Ставни скрипят и двери. Нет под луною места,  
видимо, для Младенца. Только в пещере разве.  
Где-то гудит волынка. Где-то звучит челеста.  
Ослик жуёт солому. Бычьи грустны подглазья.

В общем, и ночь обычна, кабы не свет небесный,  
кабы не стук Младенца ножкой внутри Марии...  
Что остаётся миру – свет Рождества исчезни?..  
Каменный шар, откуда в небо глядят слепые.

## Винсент Ван Гог. «Едоки картофеля»

Свети им, керосин! Согрей их, чёрный кофе!  
Но главное – насыть, картофель молодой!  
Распятие к стене прибито. На Голгофе  
осела копоть дней, пропахшая едой.

А без неё куда? На кладбища Брабанта,  
где чёрная земля просеивает плоть.  
Нет, ходики идут. И согревает гланды  
кофейная бурда. И соли есть щепоть.

Землистого лица улыбка не коснётся.  
И даже Бог во сне, наверно, не придёт.  
Но надо как-то жить, коль есть на небе солнце  
и отдаёт земля корявый корнеплод.

Посыпь его сольцой и нацепи на вилку.  
И ощути спиной тепло от очага.  
Мурашки побегут по грязному затылку.  
Блаженно поскребёт затылок тот рука.

Ну вот и хорошо (глаза бы не глядели).  
Ну вот и ладно (все по лядвеи в земле).  
А за окном уже подобие метели.  
Подобие луны чуть теплится во мгле.

\* \* \*

Воздуха мало и хлеба немного  
в комнате той.

Малые дети просят у Бога  
булки простой.

Ангел с авоськой придёт, горемыки.  
Спите пока.  
Будет там хлебушек в виде ковриги  
и кренделька.

Будут и масло, и даже колбаска  
(верится мне).  
Это, наверное, всё же не сказка –  
ангел в окне.

Из гастронома шагает в пальтишке,  
крылья сложив.  
Дверь приоткроется. Плюшевый мишка  
(всё ещё жив)

примет авоську и лапкой помашет  
ангелу вслед.  
Снег ничего никому не расскажет  
(ротика нет).

## Зелёный карандаш

*О. Бурчагиной*

Наши внуки доверят рисунки свои,  
где зелёных коров окружает трава,  
только нам, говоря, например: «Подои»  
или: «Бабочка это, а там – кружева».

Будет небо на этих картинках всегда  
*голубое* (туда мы, сестра, улетим).  
Мы *оттуда* увидим с тобой города:  
Кострому, Паникарпово, Вологду, Рим...

Наши дети *оттуда* нам будут видны  
без бинокля, а внуки – тем более, Оль.  
Если сон это, то в наши лучшие сны  
никогда не войдут ни обида, ни боль.

Потому что... Но – тсс... У коровы рога  
задевают за облако, ноженьки где  
мы повесили с неба с тобою, пока  
шли зелёные кони к зелёной воде.

\* \* \*

*Внуку Саше*

Тебе придумают судьбу, которая – другая.  
А та, которая *хранит*, кому-то не нужна.

И запакует чемодан слона и попугая.  
(Не пикнет даже хоботок у этого слона.)

И этот плюшевый народ уедет на бибике –  
туда, где будет хорошо (кому-то – не тебе).  
А я?.. Я, мальчик, напишу вослед четыре книги.  
О чём?.. О том, не значу что уже в твоей судьбе.

Я не сопьюсь среди зверей – енота и собаки,  
точней – енота и кота. (Собаки тоже нет.  
Она сбежала без тебя, точней – ушла в дворняги.  
Такая плюшевая вся. И погасила свет.)

Я просто тихо закурю на кухне сигарету.  
(Хотя лет десять не курил.) Ещё – утру слезу.  
Ведь я отсюда никуда, мой ангел, не уеду.  
Ведь я енота и кота тебе не привезу.

Туда, где будет хорошо (кому-то), вероятно.  
Молиться буду о тебе, *мой мальчик, где-то там*.  
Судьба?.. Моя – уже прошла. Прошла уже – и ладно.  
«Храни твою судьбу Господь!..» – шепчу я городам.

\* \* \*

Луна над головой – ещё не нимб, дружок!  
С подарками войдёшь – душа остолбенеет:  
пять личиков детей тебя возьмут в кружок.  
Родимых палестин хвоинками повеет.

Хотя бы раз в году должна напоминать  
икону та земля, где выпало родиться.  
Пять личиков детей свою обступят мать –  
с подарками уже. Минуту будет длиться

приход снеговика, прохожего, калош  
прапрадедовых, сна о божьем человеке.  
Не возгордись, дружок!.. Ко всем ты не придёшь.  
В толпе хотя бы ты не оттолкни калеки.

И, может быть, тогда зачтёт тебе Господь  
и жёлтый апельсин, и марципан зелёный...  
И, может быть, тогда ты *оправдаешь* плоть,  
что в этот мир пришла, другими заселённый.

## Муравей

Смирение моё, присядем на дорожку!..  
Ты – в лапотках своих, я – в ботах набекрень.  
И пусть хранит чулан отцовскую гармошку.  
И пусть глядит окно на мамину сирень.

Осталась от судьбы тетрадь за три копейки.  
(Давно её купил, но, полагаю, – зря.)  
Пусть пугало польёт цветы из этой лейки.  
Пусть помнит этот сад меня до сентября.

Я жил. Когда-то. Здесь. И даже верил (помню),  
что небо *видит* нас – меня и муравья.  
Покинуть этот дом, конечно, нелегко мне,  
но... Тянется тропа вдоль местного жнивья.

И даже Лев Толстой пусть полежит у печки  
с Астаповом своим. (Он – не попутчик нам.)  
Мы тень свою и ту оставим на крыльчке.  
К несбыточным пора своим вернуться снам.

И – раствориться в них. (Ах, как сирени много!...)  
И – *не существовать*. (Смирение, ау!...)  
...Впервые муравей так близко видит Бога.  
(В ладонь мою прилёг, когда я лёг в траву.)

## Анастасия АБРАМОВА

Родилась в 1982 году в Арзамасе. Окончила филологический факультет Арзамасского педагогического института. Руководитель песенного кружка в клубе семейного досуга «Молодежный».

Была победителем Болдинского слёта молодых литераторов в номинации «Авторская песня». Живет в Арзамасе.

## СКРИПКА – ЭТО НАРЕЧИЕ...

\* \* \*

Легкое сияние.  
Вздоха легкий бриз.  
Легкое внимание,  
Но еще не близ.

Вроде бы символика –  
Вроде не о нас.  
Души чуть не в тонику,  
Чуть не в консонанс.

И себя неловко я  
Чувствую, но факт:  
Ты – второе легкое,  
Без тебя никак.

\* \* \*

Звенит в ушах от тишины  
И вторит пустота  
О том, что мы размещены  
Не там, и жизнь не та,

Что кроме этой немоты  
Нет ничего.  
Что нет ни «мы», ни «я», ни «ты».  
Есть путь в окно.

И там, в распахнутом окне,  
Цветут сады.  
Лишь стоит вышагнуть вовне,  
Из немоты.

Ну а пока вокруг лишь тишь,  
Хоть вой, кричи.  
В ней ты не первый год молчишь  
О помощи.

\* \* \*

Скрипка – это наречие,  
Ответ на вопрос «как».  
Некто стоит междуречьем.  
В арке застыл полумрак.  
От арки – подъезд налево.  
Прежнюю жизнь забудь:  
Темная полудева  
Камнем легла на грудь  
Чудом еще живого,  
Бледного скрипача,  
Данного полуслова  
Всю полноту ища.  
Арка – лазейка в кладке.  
Скрипко в его груди.  
Рядом следы по брусчатке.  
Выберешься – приходи.

## На смерть Инны Тепловой

Разбуди меня, любимый, разбуди.  
Отчего колючий иней жжет в груди?  
Отчего так непробуден, труден сон?  
Отчего не отвечает мне Харон?

Разбуди меня, родной, разубеди,  
Что кошмар небытия вновь позади,  
Что Харон мой просто занят, как всегда,  
И вокруг него вода и города.

Мой любимый, будь со мной, не уходи,  
В колкий иней руки теплые клади,  
Будь движеньем бытия, чтоб мне не сметь  
Догадаться, как я вдруг проснулась в смерть.

Убаюкивай, любимый, и держись.  
Все из смерти засыпали в эту жизнь...  
А Харон ступает рядышком со мной  
Через иней... Разбуди меня, родной.

\* \* \*

За шторами взглядов, меж граней, терзаний  
С трудом различаю тебя.  
Стоит послеливневый город твой ранний  
Совсем без огня, без огня.

И бродят в потёмках незримые души  
И бредят рассветом одним.  
И мы тут стоим и сандалии сушим.  
И все об огне говорим.



С огнём – это страшно. С огнём – это больно.  
И невыносимо глазам.  
Огонь поперечно, глубинно, продольно  
Прошёлся по нам и не нам.

И кто-то навеки теперь обожжённый.  
Но кто-то согрет от огня.  
И солнце горит, как огонь сбереженный,  
Внутри у тебя и меня.

И что остается, нам что остается? –  
Его выдыхать из груди.  
Шептать вразнобой: «Наше общее солнце,  
Давай – выходи, восходи!»

И ночь на исходе, и высохли лужи,  
И нас уже в месте том нет.  
Но солнце отпущено, солнце – снаружи.  
И скоро наступит рассвет.

\* \* \*

*Мы всегда будем в ответе за тех, кого приручили*  
А. де Сент-Экзюпери

Спи светло, пусть мерцает твоя душа  
На темной, сопящей планете  
Живительным огоньком.

Спи легко, как слетают с карандаша  
и летят к твоему виску строки эти  
невесомым лучом, незамеченным мотыльком.

Я молчу, я твой сон не нарушу вовсе,  
Не выдам твоих границ и не выдам твоих дорог,  
Ты молчишь, и настойчиво азбукой Морзе  
Несётся в эфире зашифрованный диалог.

Вдруг влетает куда-то в грудную клетку  
То тревожное, то застенчивое «ты здесь?»  
И тогда я не вслух отвечаю прицельно и метко:  
«Разумеется, здесь, здесь мы друг у друга – есть,

Где втайне от солнца протягиваются лучи,  
Где втайне от слуха доносится «приручи, приручи!».

Спи спокойно, а мне не стоит так долго  
В изголовье твоём фантомом стоять,  
Под дыханье твоё встречая рассвет.

Здесь я точку свою поставлю во имя долга.  
Ты упрямо во сне мотнёшь головой опять  
И протянешь тире в ответ.

## Проза

### Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И. Герцена (ЛГПИ) по специальности «география и биология». Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор издательства «Литературная матрица».

Автор романов («Укус ангела» и других), сборников прозы. Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010), лауреат всероссийской премии искусств «Созидающий мир» (2020), литературной премии «Гипертекст» в номинации «Проза» (2023).

Живет в Санкт-Петербурге.

### О СЧАСТЬЕ

Разжогову повезло – после зачисления на физфак в келье общежития, расположенного в Межвузовском студгородке на Новоизмайловском, его поселили одного, без соседа. Многим иногородним студентам родители снимали в Петербурге жильё, а некоторые и сами, утомлённые строгостью проходной и неустроенностью быта казённого угла (душ, туалет и кухня – на этаже), снимали что-то в складчину на двоих, так что в здешней учебной казарме были счастливчики, имевшие в своём распоряжении целую комнату. По невероятной случайности, не приложив ни малейших усилий, Разжогов очутился в их числе. На первый взгляд, учись, и только, – образцовые условия. Но на деле эти условия, как и всё образцовое (стерильное), оказались недостаточными для полноценной жизни: где тишина и покой, там и одиночество, а бремя его по силам далеко не каждому. Тяжело давалось оно и Разжогову.

Поначалу, ещё не успев обзавестись в Петербурге друзьями, он в своей клетке с письменным столом у окна и двумя кроватями вдоль стен временами разговаривал сам с собой, а спохватившись, пугался и чувствовал на затылке и макушке под нерасчёсанными волосами движение мурашек. Сентябрь был по-летнему тёплым, в открытое окно из парка Авиаторов иной раз залетал шмель и гудел, слепо натываясь на желтеющий потолок и покрытые ветхими обоями стены, – он ударялся и отскакивал от них, точно крошечный ворсистый шарик, пока какая-нибудь поверхность не отфутболивала его назад в спасительное окно. Особенно остро Разжогов переживал свое одиночество по вечерам, когда с улицы струился отверженный осенний свет, а за стеной помимо привычных мужских голосов слышался вдруг девичий смех, непринуждённо весёлый и, как казалось,

неподдельно счастливый. Там, за стеной, радовались жизни и, наверное, даже любили. В такие вечера Разжогов чувствовал себя лишним на земном празднике – он лежал на кровати, разглядывая желтовато-серые пятна на потолке, или ходил по комнате из угла в угол, чтобы хоть скрип разошедшихся половиц засвидетельствовал его присутствие здесь, вблизи так легко и досадно обходящегося без него радостного пира.

Впрочем, это продолжалось недолго – считанные дни. Вскоре он обрёл приятелей из числа однокурсников, и чувство непричастности к весёлому хороводу жизни покинуло его. Покинуло настолько, что иной раз голову Разжогова стали посещать разнообразные мысли – такие же случайные и нелепые, как некогда в родном Светлом Яру под Волгоградом, где в школьные годы он занимался боксом – по мнению отца, это воспитывало характер, а по мнению, матери травмировало извилины.

Трезво оценивая себя, Разжогов понимал, что *спесь философских дум* – не его тема. Однако по меньшей мере в одном пункте он чувствовал своё родство с Заратустрой – подобно этому жителю гор, Разжогов не был врагом девушек.

\* \* \*

Она пропустила первые полторы недели занятий из-за бронхита. Поэтому, войдя в аудиторию, где под руководством доцента Инны Карловны у группы Разжогова шёл семинар по механике, и впервые увидев своих сокурсников, успевших за это время худо-бедно перезнакомиться и отчасти даже сдружиться, смутилась и покраснела. Вслед за ней в аудитории появился декан Артём Михайлович, опрятный мужчина с цепким, как коготь, взглядом и смуглым лицом в сетке резких морщин, выразившим усталую сдержанность.

– Гляди-ка, у нас новенькая, – негромко сказал Вася Овечкин, староста группы, с которым у Разжогова уже завязались узы товарищества.

Разжогов не ответил – он онемел, так хороша в своём смущении была эта девица, одним своим видом изгнавшая его из стен аудитории в рай. Круглое, очаровательно скуластое, ещё по-детски нежное лицо; чёрные, стриженные чуть выше плеч волосы с матовым блеском – так в антраците посверкивает ещё не добытый огонь; влажные, по-восточному слегка раскосые глаза; припухлые губы, манящие неподдельной свежестью... Её ладную фигурку облегал воздушное, пепельного цвета платье с короткими рукавами, казавшееся лёгкой дымкой – чем-то невещественным, как вздох, как будущее.

– Знакомьтесь, это Кабира Ежова. – Декан повернул голову в сторону девушки. – Она поступала с вами в одном потоке. С этого дня Кабира будет учиться в вашей группе.

В лихорадочном июне, во время подачи заявления и потом, в ожидании результатов конкурса, Разжогов Кабиру не встречал, это точно – видел бы, нипочём бы не забыл. Со многими студентами своего курса, с тем же Васей Овечкиным, он в абитуриентскую страду не пересекался – только осенью после начала занятий.

– Я против, – хамовато откликнулся ещё не отвыкший от школьного шутовства коренастый Карпович, балагур и похабник с копной чёрных волос над низким лбом. – Её приголубишь, а она иглами – бац!..

Карпович вскочил с места и выразительным движением огладил перед собой нечто воображаемое. Несколько девичьих смешков послужили ему скромной наградой.

Кабира опустила глаза. Декан, не меняя усталого выражения лица, посоветовал Карповичу сесть, не пестрить и лучше с надлежащим усердием *приголубить* Поляхова – автора учебника «Теоретическая и прикладная механика». Тут уже прыснули юноши – Артём Михайлович не слишком ревностно следил за соблюдением принятой в профессорской среде дистанции в отношениях с бурсаками. Кабира от смущения ещё пуще залилась краской.

– Трепетная, – переглянувшись с подругами Люда Краева, требовавшая от всех называть её Милой. – Как гимназистка.

Краева считалась лидером мнений среди девичьей части курса и уверенно вела себя с мужчинами. У неё был масляный, порочный взгляд и предпочтение к колготкам ярких цветов (лиловый, сиреневый, серебряный), а когда она проходила мимо Разжогова, то всякий раз старалась выразительно коснуться его упругой грудью. Говорили, что родители Милы богаты и довольно влиятельны, однако это (иное дело, будь они строги) ничуть не мешало ей жить в своё удовольствие, – она слыла энтузиасткой всякого рода вечеринок и была охотница до разговоров *о любви*, начиная беседу примерно так: «Когда любишь, постели тебе уже недостаточно». Удивительное дело – ей казалось, будто всем ужасно интересно знать, что у такого-то конец тонкий и длинный, как карандаш, а такая-то любит предаваться утехам на столе, распластавшись на нём, точно курица для разделки.

Миле декан ответил:

– У Кабири самый высокий балл по ЕГЭ. Выше нет ни у кого на курсе. Так что, если понадобится, она и вас, альтушек, подтянет.

На этом Артём Михайлович посчитал свою миссию завершённой и степенно удалился.

Не поднимая глаз, Ежова проследовала по проходу между рядами к свободному месту за дальним столом, где одиноко сидел Даня Селиванов, сирота и по жизни – его родители четыре года назад погибли в автомобильной аварии. Инна Карловна, поправив на голове трудоёмкую причёску из крашенных в медно-рыжий цвет волос, продолжила занятие. Однако до конца пары динамика, кинематика и статика твёрдого тела больше уже не интересовали Разжогова – он то и дело оглядывался на Кабиру, целомудренно мечтая и в мечтах досадуя на то, что место рядом с ним за столом занимает Овечкин. Будь это не так, новенькая не прошла бы мимо и теперь, источая ягодные ароматы кисельных берегов, сидела бы с ним по соседству.

В Петербург, как выяснилось в тот же день (новости на курсе доставлялись с удивительной скоростью), Ежова приехала из Орска. В жилах её смешались русская и казахская крови, и как это иной раз случается у метисов, не скрестили клинки, а напротив – одарили Кабиру невыразимой прелестью, собрав воедино все лучшие черты, присущие физике обоих народов. Всё прошлое в Разжогове в тот день словно оборвалось. Бывает, люди что-то принимают за счастье только потому, что прежде не знали ничего лучшего. А когда наконец узнают, то понимают, что никакого счастья до этого и не было – одно наваждение, мнимость. Словно ночную сторону жизни вдруг озарил дневной свет – и та сразу умерла, лишившись прелести и загадочности. Той загадочности, которая обычно умножает величие. Это была простая и в целом довольно грубая мысль, но Разжогов пронзительно её почувствовал и, оглушённый, не мог выразить иначе.

Когда прозвенел звонок, возвещавший конец занятия, Разжогов, скрывая глаза за плечо, вместо второго закона Ньютона изучал тонкую

шею Кабиры, с просвечивающими под кожей венами, в которых билась слившаяся воедино кровь потомков славян и золотоордынцев.

Инна Карловна поднялась из-за стола и вышла из аудитории. Студенты, устремившись следом, сгруппировались в дверях, и в этот миг, перекрыв фоновые шумы, аудиторию огласил сочный звук пощёчины. Все обернулись. У дальнего стола стоял бледный Карпович, злым взглядом испепелявший хрупкую спину идущей к выходу Ежовой.

\* \* \*

До зимы Разжогов так и не нашёл ни повода, ни внутреннего усилия, чтобы сойтись с Кабирой ближе. При одной мысли о том, чтобы решиться, подойти и заговорить с ней о сокровенном, всё его существо немело – слишком это было желанно, слишком пугающе. Разжогов вовсе не был скромником, но тут словно запрет – с ней, как с другими, невозможно. Его сковывало неясного происхождения безволие, как бывает во сне, – он списывал его на счёт рыхлости доставшейся ему по наследству породы, которую так и не укрепил подростковый бокс. Месяц за месяцем они по-прежнему оставались друг для друга просто приветливыми сокурсниками, и только. Благо никто другой, кажется, не спешил опередить Разжогова – это его утешало, но вместе с тем и расслабляло. Потом началась зимняя сессия с зачётами, экзаменами и беспутными попойками в промежутках между ними, происходящими по большей части в общежитии на Новоизмайловском, в которых (попойках) не принимала участия из всей группы, пожалуй, одна только Ежова.

Кабира избегала застолий, да и вообще сторонилась компании сокурсников: ведь они жили на ощупь и учились как будто не всерьёз, словно играя, она же жила и училась вдумчиво и целеустремлённо. Взаимно отвергаемая (спокойно, без обид) отвергнутыми ею товарищами, вечерами напролёт, пока её беззаботная соседка по комнате, крашенная блондинка Ангелина, наслаждалась свободой взрослой жизни, Кабира упорно постигала науку за письменным столом, ничуть, казалось бы, не тяготясь столь трудно выносимым в юности одиночеством. Разжогову, например, чтобы вынести его, не хватало душевных сил.

Теми же вечерами Разжогов с Овечкиным часто сидели в его комнате-келье, окутанные клубами табачного дыма, извергаемого старостой группы (курить в комнатах общежития запрещалось, но – для исполнения запрета – недостаточно строго), и за бутылкой вина или водки, удивляясь внезапно распахнувшейся в них глубине, вели философические разговоры. Вася жил на Петроградской возле «Ленфильма», и хотя слегка надувал щёки, открывая Разжогову непарадные тайны Петербурга, сам между тем любил бывать в общежитии, ценя царившую там – стоило миновать вахту – атмосферу вольности, которой ему не хватало под родительским кровом.

– Война мышей и лягушек, – закуривал очередную сигарету Овечкин. – Оставь ты эту тяжбу злых и добрых дел. Она никогда не закончится. Известно: на одной чаше – жертвы, невинные и виноватые, на другой – Победа и Гагарин. Уже оскомина...

Разжогов отвечал:

– Просто не люблю вот этого: как же ненавидим мы Советы за то, что презирали деньги и позором считали наживу... За то, что бесплатно учили, что извели чуму и холеру, что врачевали даром и даром давали крышу над макушкой... За то, что воздвигали улей пчёл трудовых

и не вводили во искушение, за энтузиазм великих строек и освоения пустых земель... За то, что не забывали обещаний и исполняли угрозы, что всё, как могли, делали сами – от иголки до ракеты... За то, что тащили и не пущали, а лучшее кино и лучшие песни всё-таки сняты и спеты при них... За любовь без корысти, за наивность мечты – за это проклинаям Советы на всю длину вечности. Вот чего не приемлю.

Вася Овечкин улыбался:

– Понимаю, но... Не смотри назад. Это запрещено. Это запрещалось во все века. И за этим всегда следовало наказание. Вспомни Орфея, вспомни жену Лота, вспомни всех, кто смотрел в прошлое и там искал образ будущего – «Аненербе», древние укры... И себя тоже вспомни. Человека неизменно наказывали за то, что он обернулся.

Вася вновь щёлкал зажигалкой. Он постоянно курил, и оттого создавалось впечатление, что из-за своей тонкой душевной организации, которую может невзначай разладить напитанный тихой грустью сырой петербургский воздух, он способен дышать только через сигаретный фильтр. Вообще, Овечкин был во всём необычайно самобытен – так казалось Разжогову – и даже шарф вокруг своей шеи закручивал каким-то специальным удушающим узлом.

– А ещё его наказывали за слово «любовь», в котором не было самой любви, – круто поворачивал разговор Разжогов. – И за счастье, которое, не будучи счастьем, таким казалось. Потому что любовь – это такой инструмент, который оценивает тебя, измеряет и взвешивает... Но сам ты этого не знаешь и не видишь, если в тебе такого инструмента нет. А тебе, дураку, кажется, что если в тебе его нет, ты неуязвим...

Пока другие жили на ощупь и учились не всерьёз, Кабира преуспевала по всем предметам. Профессора её хвалили, а Инна Карловна, выводя пятёрку в её зачётке, говорила: «У вас редкие способности. Вам следует идти в науку». Ежова смущённо улыбалась и опускала взгляд. Не подавая вида, сокурсники завидовали ей, а Кабира, не подавая вида, завидовала им, таким беспечным, лёгким, умеющим из всякой чепухи сделать праздник и жить вслепую. Она видела, как после зимней сессии из группы отсеяли двоих, не выдержавших экзамены-лотерею, – видела и делала закономерные выводы. А остальные? Поразительная беззаботность: остальные простились с неудачниками, словно бы не открывая глаз, и тут же о них позабыли, не извлекая урока и не допуская, что вслед за этими двумя может подойти и их черёд.

Мила Краева, охочая до разговоров *о любви*, и вовсе наколбасила. Однажды полицейские, проезжая в патрульной машине по Кузнецовской улице, обнаружили её на газоне, недалеко от грузинского ресторана «Чито Гврито», где Мила в апельсиновых колготках с пьяным хохотом каталась по присыпанной свежим снегом пожухлой траве. Её доставили в отдел, но и там она вела себя неоправданно дерзко – сбила с дежурного фуражку и угрожала весь состав отдела лишить погон, – благодаря чему сведения об инциденте дошли до деканата. Миле грозило отчисление – весь курс вразнобой гудел, позванивал и тренькал от этой новости, как оркестровая яма перед увертюрой... Но обошлось, отделалась предупреждением. Слухи, между тем, ходили разные:

а) Краева откупилась;

б) отец Краевой подключил связи или употребил власть;

в) Краева переспала с Артёмом Михайловичем.

Карпович настаивал на последней версии и в её доказательствах был увлечённо многословен. Когда он вещал, он был уверен, что остроумно



и изящно мыслит, хотя к работе ума его шутовские упражнения не имели никакого отношения. Скорее, тут можно говорить о механическом повторении расхожих и довольно сальных острот, часто употребляемых и потому уже почти потерявших всякую остроту, – причём о повторении в забавных и нелепых сочетаниях. Так действует искусственный интеллект, если ему недостаточно чётко сформулировали задачу.

– Я смотрю, мы с тобой братья, – сказал как-то перемывающему Милины косточки Карповичу Даня Селиванов.

– Это почему? – наморщил лоб Карпович.

– У меня – ни отца, ни матери, у тебя – ни стыда, ни совести.

\* \* \*

На каникулах в родном Светлом Яру Разжогов постоянно думал о Кабире. Он думал, что любовь – это такая религия, в храме которой божеству поклоняется только один богомолец. Ведь ты любишь потому, что кто-то стал для тебя божеством, и нет ничего желаннее соединения с ним. Но если появится ещё хотя бы один прихожанин – храм тут же превращается в бордель. Или ещё хуже – в круги Дантова ада.

Во время кутежей в компании старых друзей и их подруг, жаждущих встречи с фартовым куликом, перепорхнувшим из своего приевшегося болота в трясину мечты, он смотрел по сторонам и испытывал противоречивое и новое для себя чувство узнавания и отторжения. Нет, всё это теперь было не его... Все эти мрачные забегаловки и шалманы, где пивная отрывка, грубый флирт и блестящие от чебуреков губы перемешаны в одну окрошку, где даже морозный утренний туман пахнет прокисшим супом... Там пьют допьяна, едят пока лезет, любят женщин где придётся, и лица людей там лукавы и нечисты. Ему было немного стыдно за это новое чувство, словно бы он что-то в себе предавал, но ничего поделать с собой Разжогов не мог. Так изменила оптику его хрусталиков Ежова, не пошевелив для того даже пальцем. И ему, чтобы оставаться *своим*, чтобы не прослыть спесивцем и павлином, тоже приходилось пить, есть покрытые волдырями чебуреки, любить какую-то прилипшую к его плечу кошёлку, которая будет верна ему до самого утра. При этом нигде так быстро всё тайное не становилось явным, как в таких вот городках...

Разжогов тосковал от мысли, что где-то ведь, чёрт побери, есть чистая – без чада – жизнь, искреннее веселье и непритворный, чуткий разговор. И душа его взывала к небесам, чтобы те указали верный путь к тем отмытым до блеска берегам, где на пьедестале его ждёт Кабира. Тогда он в тысячный раз давал себе слово наконец открыться ей, всё сказать, а дальше... будь что будет.

\* \* \*

Начало второго семестра Разжогов встретил с облегчением, хотя ничто после его возвращения в Петербург по существу не поменялось – студенческая жизнь шла своим чередом, а безволие и внутреннее ощущение по-прежнему не позволяли ему решиться на отчаянное признание. И так – до самой весны.

Накануне 8 Марта в город пришла оттепель. Сначала было пасмурно, потом разъяснело, и из-за облаков выглянуло ещё несмелое, однако уже и не ледяное солнце.

На следующий день с крыш потекло, воздух наполнился смутным, но светлым предчувствием и неопределённым, но радостно волну-

щим ожиданием. Разжогов с Овечкиным, шурясь на весеннее светило, отправились в магазин, а когда, побрякивая бутылками и бережно следя за сохранностью кипы завернутых в бумагу тюльпанов, возвращались в общежитие, возле одного из домов на Новоизмайловском их чуть не накрыл пласт сорвавшегося с карниза крыши, заледеневшего за ночь, но теперь поплывшего снега. Они восторженно переглянулись. Событие их не напугало, напротив – развеселило: в мире весна, они молоды, бодры телом, легки душой и почти бессмертны.

В комнате Дани Селиванова готовился пир – мужская часть группы собиралась чествовать сокурсниц. Нарядные девицы, довольные поводом и предвкушавшие лестное к себе внимание, тоже не сидели без дела: рубили на кухне салаты, жарили куриные бёдрышки, доставали из запасов домашние закрутки, носили яства и накрывали поляну, собрав по комнатам остальных участников пестринки тарелки, вилки, рюмки и стаканы.

Из питерских, живущих в родительских гнёздах, были Овечкин, Карпович и Мила Краева, остальные – сборная общежития со всех краёв страны. Наконец сели за стол. Селиванов взял в руки штопор, намереваясь открыть дамам вино, Карпович ухватил бутылку водки.

– Нет-нет! – в театральном порыве выбросила над столом руки Краева. – Так не годится. Состав не полный.

Она обвела взглядом собравшихся, словно пересчитывая по головам.

– Ежову приглашали? – спросила наконец.

– Я звал, – кивнул Селиванов. – Не пришла.

– Плохо звал. – У Милы была новая причёска – на виски падали пружинки локонов.

– Хочешь колючую в омут заманить? – бросил на Милу шальной взгляд Карпович. – Дохлый номер.

По натуре Карпович всё же больше был азартным болельщиком, чем форвардом на поле, хотя казаться перед другими хотел именно последним.

– Имею намерение. – Краева поднялась из-за стола. – Или сегодня не праздник?

Девицы одобрительно зашумели.

– Безнадёжно, – глядя вслед скрывшейся за дверью Краевой, заверил Селиванов. – Не придёт.

Гости непринуждённо болтали, шутили, азартно накладывали в тарелки салаты, один Разжогов в ожидании итога Милиной затеи сидел как замороженный.

Вася Овечкин для развлечения публики загадал головоломку:

– Представьте... Вот, скажем, приехал дачник в захолустный городок, пришёл в магазинчик садового инвентаря и дал хозяину в залог купюру... Допустим, пятитысячную. Чтобы тот не продавал до завтра единственную имеющуюся в наличии газонокосилку. Завтра, мол, он придет с женой и, если той газонокосилка придётся по душе, он её купит. Владелец магазина взял купюру, отправился в автомастерскую и отдал механику долг. Механик взял деньги и отдал свой долг хозяину мясной лавки. Хозяин лавки отдал долг фермеру, разводящему бычков. Фермер – печнику за починку камина, печник – стекольщику, застеклившему ему веранду, стекольщик – хозяину заправки, а тот – владельцу магазина садового инвентаря. – Тут Вася совершил движение рукой, которое могло означать всё что угодно. – Назавтра дачник приехал с женой, и та сказала, что газонокосилка ни к чёрту не годится – допустим,

не подходит под цвет её глаз. Дачник попросил залог обратно. Владелец магазина отдал купюру. Каждый остался при своём, но и все долги городишки были оплачены. В чём фокус?

– Нам интересно, – признался за весь стол Карпович, – прямо исчезлись все.

Но головоломка осталась неразгаданной, потому что в этот миг дверь открылась и на пороге с торжествующей улыбкой на лице возникла Краева. Вслед за ней под одобрительные возгласы в комнату вошла Кабира, как обычно смущённая и словно бы извиняющаяся за своё существование. Видимо, тонка и ненадёжна была нить, с нанизанными на неё бусинами её жизненных устоев, и сама она эту хрупкость чувствовала.

Потеснившись, Ежову усадили за стол, и тут же в стаканы потекло вино, а в рюмки – водка. Карпович, повелев мужчинам встать, произнёс предсказуемый тост – за присутствующих дам, при этом предложив, чтобы следующие здравицы были посвящены напрямую каждой из участниц вечеринки, разумеется, по выбору тостующих. Идея была с воодушевлением поддержана. Все выпили и расселись по местам. Одна Кабира лишь едва намочила в вине губы – их свежесть не нуждалась в дополнительных усилителях.

Селиванов провозгласил тост за белокурую Ангелину, любительницу яркой косметики, воспев её достоинства и назвав райской птицей в здешних зелёных джунглях (намёк на коридоры общежития, выкрашенные в бутылочный цвет). Аплодисменты и звон стаканов. Следом болтливый Карпович вновь взял слово и восславил чумовое обаяние Милы Краевой, попутно припомнив ей и вызывающий колер колготок, и заснеженный газон, и что-то ещё, обозначенное многозначительными намёками, но напрямую так и не названное – то ли запутался и напускал туману, то ли была между ними какая-то общая тайна. И снова шум, смех и стеклянный звон.

В этот миг Разжогов остро, до жаркой дрожи осознал, что пришёл его час – или теперь, или никогда: не воспользоваться обстоятельствами – преступление против возведённого им храма, против гулко ворочавшихся в нём, Разжогове, как дальний гром, одновременно окрылявших и сковывавших чувств. Будто сияющая трещина молнии расколола тёмную тучу в его душе. Будто кто-то неведомый легонько подтолкнул в спину: «Твой ход – ходи!» И он поднялся над столом. Поднялся и сбивчиво, но каждый раз выправляясь и находя нужные слова, сказал... Сказал, что есть стрекот и звоны летнего луга, есть певчая вода на перекате – её струи, как струны, есть музыка высоковольтных проводов и хор фарфоровых изоляторов, есть литавры небес, симфония звёзд и цветомузыка радуги, – весь мир звучит. И Кабира – тоже музыка, которую, раз услышав, больше не забудешь...

– Знаем, знаем! – хохотнул Карпович. – Есть такие песенки – репей!

Но Разжогов уже сказал, что хотел. Кабира слушала, потупившись, потом посмотрела Разжогову в глаза, и в этот миг он безнадежно и радостно понял: готово, дело сделано, ему не избежать того, что уже давно, туманное и неясное, неодолимо надвигалось на него. Всё былое тут же показалось Разжогову жалким вздором перед этим взглядом. Именно этой минуты он ждал и боялся, потому что за ней – или что-то невыносимое, ужасное, как гибельная снежная лавина, или счастье.

Очнулся он от звонкого:

– Нет уж, нет уж – до дна! До дна!

Это Мила подбадривала Кабину, которая, запрокинув голову, судорожными глотками – видно, что ей было не в привычку, – допивала из

стакана вино. На глазах сокурсников подобное происходило впервые – похоже, это была новость и для самой Ежовой. Что случилось? Такова сила произнесённого им тоста? Разжогов, чуть подогретый водкой, приятно льстя себе, подумал, что человеческая речь, если это не чепуха, не вздор, не порожнее дуновение бла-бла-сферы, обладает собственной энергией, как обладают ею огненная или водная стихии – вовремя сказанные *правильные* слова способны повелевать людьми, способны спасать и губить. Это было откровение, это была простая и несомненная истина. Именно так – спасать и губить... Ибо горе тому, кого *правильные* слова застали врасплох.

Потом звучали новые тосты – говорил Овечкин и другие... Никто не остался без внимания – все присутствующие барышни были отмечены и учтены. Включили музыку, погасили светильник под потолком, зажгли настольную лампу – в полумраке комнаты начались танцы. Разжогов видел, что Кабира опьянела, – она нетвёрдо покачивалась в объятиях Карповича, руками обхватив его шею, как опору, он что-то нашёптывал ей на ухо, она смеялась. Почему Разжогов допустил? Виной тому всё та же рыхлость породы, млеющей тогда, когда нужны решимость и отвага. Потом все снова уселись за стол, говорили речи, пили... Кабира совсем *поплыла*, и назойливо крутящийся вокруг неё Карпович, придерживая Ежову за талию, вызвался сопроводить безвольно обмякшее тело до комнаты. Белокурая Ангелина вполголоса напутствовала: – Карпуша, не теряйся!

Мила нехорошо улыбалась, пружинки локонов на её висках дрожали. Разжогов подумал, что женщины – даже при видимой приветливости – беззаветно ненавидят тех, кто чище, способнее, целеустремлённей их, и этого греха никогда и никому не прощают. Да и мужчины не многим лучше... Он хотел напиться, но у него не получалось. Отчего же реальность такова, что без оговорок принимать её можно лишь приукрашенным воображением? Почему холодный взгляд на вещи, позволяющий увидеть их такими, каковы они есть, – не более чем ещё один способ самоубийства? Чем эта комната и эти люди лучше тех мрачных забегаюлок и шалманов, от которых он бежал? Те же лукавые и нечистые лица, тот же грубый флирт и блестящие от майонеза губы... Да вот они, эти губы – перед ним. За столом уже играли в детскую бутылочку, и Разжогову выпало целоваться с Краевой.

В этот миг кто-то вошёл в полутёмную комнату и сказал:

– А Карпуша-то с Ежовой, кажется, договорился.

\* \* \*

Как Разжогов отбросил целующую его Милу и выскочил из логова Селиванова, он не помнил. Дверь в комнату Кабиры была приоткрыта, вероятно, сogleдатай, принёсший весть, не потрудился её затворить. В полутьме Разжогов увидел кровать, на которой, подмяв под себя тряпично расслабленную Ежову, возился Карпович – одной рукой он обнимал её за шею, другой шарил под задранным подолом. Своими губами Карпович ловил губы Кабиры, и та, вяло отбиваясь и тщетно сисясь освободиться от навалившегося на неё груза, вдруг замирала, стоило ему впитаться в её рот, сдавалась, как будто в этот миг происходило что-то совершенно её подавляющее или, напротив, – оправдывающее, искупающее все мучения. Но как только он отрывался от её рта, тело Кабиры выгибалось, и она вновь пыталась выскользнуть из-под взгромоздившейся на неё туши.

Разжогов подскочил к кровати и резко сдёрнул Карповича на пол. Соперник был плотный, коренастый и тяжёлый, как дубовый комель, но охватившая Разжогова дремучая ярость придала ему сил.

– Ты что сдурел? – поднялся на ноги Карпович. – Пошёл отсюда!

– Она же не хочет! Она же ничего не понимает! – едва сдерживал гнев Разжогов. – Она же пьяная в шапито!

Кабира лежала без движения, отрешённая и, казалось, вовсе не замечающая происходящего.

– Тем лучше, – не разглядев в сумраке огненного взгляда одноклассника, хохотнул Карпович. – Проваливай.

– Вместе, – отрезал Разжогов. – Уйдём вместе.

– Да пошёл ты! – Карпович с силой оттолкнул его локтем. – Ушёлёпок!

И тут же получил удар в челюсть. Сработала мышечная память – удар у Разжогова вышел резким и по-боксёрски точным. Карпович снова повалился на пол. Ухватив упавшего за ворот рубахи, Разжогов выволок его в коридор, где бил по лицу уже не спортивно, в кровь, куда придётся, не давая подняться на ноги давно переставшему сопротивляться противнику. Да тот подняться и не пытался. Подоспевший Вася Овечкин едва оттащил разъярённого Разжогова от его жертвы. Собравшиеся на шум обитатели этажа с испугом смотрели на побоище.

Оставив Карповича с разбитым в кровь лицом на полу коридора, Разжогов вернулся в комнату Кабиры. Она сидела на кровати, прикрыв ладонью рот и едва сдерживая сотрясавшие её рвотные спазмы. Разжогов схватил мусорную корзину с заправленным в неё полиэтиленовым пакетом и поставил перед Ежовой: как раз вовремя – её тут же вывернуло. Жалкая, бледная, с мокрыми бессмысленными глазами она походила на человека, только что угодившего под поезд и чудом выжившего. Кабира откинулась на подушку, но новый приступ рвоты вновь бросил её к корзине...

Потом в душевой, под холодным дождём из гибкого шланга Разжогов неумело отмывал Кабиру, намочив ей всё платье. После этого, закинув её руку себе на шею и крепко обхватив за талию – она по-прежнему была пьяна, – отвел в свою комнату, снял с ней мокрую одежду и уложил в постель, накрыв одеялом. Сам лег на пустующую не заправленную кровать и отвернулся к стене. Он долго не мог заснуть – всё случившееся потрясло его, горячие вспышки красными бутонами распускались у него под веками, стоило ему закрыть глаза. Но виной бессонницы было не только это... Лежавшая в полутора метрах от Разжогова хрупкая голая девушка, такая желанная, такая доступная, такая беспомощная, искушала его своим тихим дыханием, заставляя изнемогать и проявлять чудеса сдержанности. Нежность, жалость, вожделение – всё существо его искрило от мятущихся чувств, как искрят под напряжением оголённые провода... В конце концов он заснул.

Разжогову снилось, что они с Кабирой едут вдвоем в поезде: смотрят то друг на друга – глаза в глаза, – то в окно, и для снизошедшего на них умиротворяющего блаженства этого вполне достаточно. Он слышал ритмичный шёпот колёс, и из этой счастливой поездки ему не хотелось возвращаться – он готов был ехать день, два, неделю, и чтобы за окнами так же мелькали неяркие поля с кустами в утренних туманах, еловые и сосновые леса, тихие реки и станции, названия которых он не успевал прочесть... Но утро навалилось в срок, строго по расписанию, как расплата за нечаянную радость этого сна.



\* \* \*

Разбудили Разжогова влажные, полные отчаяния всхлипы – на кровати, по горло завернувшись в одеяло, плакала Кабира. За окном уже светило солнце и на голубом, не по петербургским правилам весеннем небе были разбросаны редкие, белые, с подводами мягких теней облака. Голые ветки клёнов шевелились на ветру, то застывая, то разыгрывая стремительную пантомиму. Одинокая ворона на дереве обламывала клювом упрямый прутик – сгодится, чтобы вязать гнездо.

– Брось, – сказал Разжогов. – Ничего не было.

– А почему я здесь? – В этом вопросе заключалось столько детского обезоруживающего недоумения, что Разжогов не сдержал улыбку.

Он всё рассказал ей. Всё как было. Но несчастную Ежову его рассказ ничуть не успокоил.

– Какой ужас!.. – закрыла ладонями лицо Кабира. – Боже мой, какой позор!

Вид у неё был помятый и бледный, глаза полны слёз. Смущённо натянув так до конца и не просохшее платье, она выскользнула из комнаты, запретив Разжогову провожать её.

Что именно Кабира имела в виду, закрывая ладонями лицо, он понял позже, когда к своему удивлению обнаружил, что никто, кроме Васи Овечкина, не верит, будто к Ежовой, оставшейся у него на ночь, он даже не притронулся. Он честно признавался тем, кто такого признания заслуживал (Селиванов, ещё два-три сокурсника), как было дело, но в ответ получал лишь хитровато-проницательные взгляды, словно бы говорящие: «Ну-ну, конечно, понимаем, девичья честь и всё такое... Но мог бы и сказать как на духу, ведь тайна в нас умрёт, ведь мы – могила...» Если не верили ему, то кто же поверит ей? Кто?

Разжогов и рад был бы помочь до крайности удручённой случившимся, такой трогательной в своём смущении и такой беззащитной перед вмиг разбежавшимися слухами Кабуре – подставить плечо, взять под крыло, как-то прикрыть от насмешливых взглядов, – но вскоре, несмотря на заступничество старосты группы Овечкина и к вящему злорадству Карповича, его приказом по университету отчислили за учинённые «пьяное бесчинство» и драку в общежитии. Просить о помиловании декана Артёма Михайловича, вполне способного на понимание и сочувствие, было бессмысленно – подписанный ректором приказ обжалованию не подлежал. Через два дня после того, как об отчислении известили коменданта общежития, тот выставил Разжогова из комнаты. Налегке – всё имущество уместилось в наплечной сумке – он уехал в Светлый Яр, где загулял от обиды и несправедливости, спеша набеситься вдоволь и налюбоваться впрок в тех самых постылых забегаловках, которые ещё не так давно душа его, облучённая сиянием Кабири, отвергала.

А полтора месяца спустя, в мае, Разжогов по повестке отправился на срочную службу.

\* \* \*

Через год, которого оказалось достаточно, чтобы расстаться с юностью, одолеть рыхлость характера, вправить на место мозги, научиться ценить одиночество, но не озлобиться и не поломаться, он вернулся на гражданку, вынеся из опыта службы на удивление лишённую всякого



казарменного остроумия заповедь, которую вбивал салагам в мозжечок сержант – мол, в биографии *мужика* должны быть три этапа: до армии, в армии и после армии. Третий как раз теперь и открывался перед Разжоговым, словно девственная белая страница. И он знал, как следует этот лист заполнить. Поэтому прежде всего отправился не в родной волжский Светлый Яр, а в Петербург, в Межвузовский студгородок на Новоизмайловский – к Кабире, с которой не расставался в мыслях всё это время и чей образ весь армейский год ласкал и ранил его сердце. Ведь забыть – и значит разлюбить. Он не забыл. Он помнил. Её лицо, шея, глаза, волосы, губы... Особенно губы – они по-прежнему дышали свежестью и манили.

Да, он точно знал, что в первую очередь следует вписать в этот безупречно белый лист. В его мечтах Кабира была всё та же – кроткая, вдумчивая и целеустремлённая, не перестающая удивлять профессоров прилежанием, глубиной познаний и чистотой помыслов. И для неё, такой трепетной и ранимой, он готов был стать верным и надёжным рыцарем – опорой и защитой, – спасибо марш-броскам с полной выкладкой, мудрому сержанту и прочим отцам-командирам...

Он шёл от метро «Парк Победы» к корпусу общежития, узнавая и не узнавая город. Тот всё так же был одет в асфальт, бетон и штукатурку, но многие магазины, которые год назад торговали галантереей или канцтоварами, теперь поменяли ориентацию и продавали рыбу или обувь. Одни вывески уступили место другим; тротуары местами облагородила новая плитка; мороженщик укладывал сладкие цветные шарики в вафельный факел, а год назад укладывал в стаканчик; на улицах появилось много девушек с кольцом в носу... Город был тот же и при этом менялся, как Протей, как прошлое. По прихоти скакнувшей мысли Разжогов подумал, что такое же чувство узнавания/неузнавания порой испытывает человек, когда в записи слышит собственный голос – тот кажется ему своим и вместе с тем чужим. Ведь сам он слышит себя не так, как слышат его другие.

В небе стояли холмы облаков. Из открытого окна звучал рояль. Впереди Разжогова шли две немолодые женщины с продуктовыми пакетами. На одной были туфли с косо сбитыми каблуками, на другой – цветные кроссовки из эрзацкожи. Та что была в туфлях, говорила наперснице:

– А кто кому теперь нужен? Я мужу-то своему, не уверена, что нужна. Благо третий он у меня. А в груди-то пылко, горю прямо вся – возраст такой, женский финал проклятый на подходе...

В знакомой Разжогову комнате Кабире не оказалось – там обитали другие студентки, встретившие его приветливо, однако ничего определённого о проживавшей здесь прежде Ежовой не звавшие. Будь на их месте незабвенный сержант, он бы ответил коронным присловием: «Хрен его знает, товарищ майор, собака след не берёт!» – а эти просто с улыбками мотали головами. Тогда Разжогов отправился к Дане Селиванову – тот по-прежнему занимал ту самую комнату, где когда-то они – как давно это было! – поздравляли сокурсниц, и где Разжогов впервые в своей жизни произнёс *правильные* слова. Слова, возымевшие силу.

Селиванов и рассказал ему, что случилось с Кабирой...

Поначалу она ещё как-то держалась, ходила по факультету и общежитию точно затравленный зверёк, втянув в плечи голову, – ведь в глазах всех она постыдно пала, умудрилась за одну ночь – с двумя, из-за кошачьего распутства стала предметом нечистоплотного мужско-

го дележа, а представлялась-то – снежинка, гимназистка, недотрога... Так пала, что и не подняться. То есть иная, может быть, и перетерпела, закрылась бы, как моллюск в ракушке... Но не Кабира. Она потерялась – не знала, куда ей деться: приходилось сносить грязноязыкие пересуды, краснеть от двусмысленных намёков и циничных шуток... А эти ехидные колющие взгляды в лицо и подлый смешок в спину? И она сломалась. В самом деле слишком тонка оказалась нить ожерелья её жизненных правил. И бусины рассыпались. К искреннему огорчению Инны Карловны Кабира потеряла вкус к учёбе, следом понемногу приистрастилась к вину. В сентябре на втором курсе стало ещё хуже – тихую, запуганную, мстительно раздавленную за былую невинность и *правильность*, её подпаивали кому не лень, она сделалась доступной... В зимнюю сессию её отчислили за академическую неуспеваемость. Некоторое время она ещё жила в общежитии, переходя из рук в руки и ночуя в чужих постелях. Она смирилась с этим позором и сносила всё прежде для неё несносное, потому что вернуться домой в Орск казалось ей ещё большим позором.

В конце концов – видимо, по подсказке родительского сердца – за ней приехала мать. Она едва узнала дочь, так сильно та переменялась – лицо осунулось и черты его огрубели, плечи поникли, под погасшими глазами лежали тени... Вместе они уехали домой и больше о Кабуре здесь никто не слышал.

\* \* \*

Вечером Разжогов с Васей Овечкиным сидели на дворовой террасе клуба Fish Fabrique и говорили о счастье. Поезд Разжогова отправлялся в 00:12, до вокзала от клуба было рукой подать. На столе перед ними стоял наполовину пустой графин. Вася по-прежнему много курил, шею его охватывал хитро закрученный лёгкий шарфик, словно он собирался удивиться, а не уберечься от простуды.

– ...Потому что нам недоступно счастье, – говорил Овечкин. – Только и всего. Недоступно, даже когда исполняются наши заветные желания. Ведь мы изгнаны оттуда, из обители благодати, в тот мир, где её нет. Не удивительно, что опустошение и тоска охватывают нас всякий раз, едва мы добиваемся цели...

Огромная, размером со вселенную, вина давила грудь Разжогова.

– Не понимаю... Почему? Ведь я хотел как лучше... – Он наполнил рюмки. – А вон как вышло. Сначала сказанные мной слова с их губительной силой, а потом... потом я сам, желая её спасти – её же погубил. И сбежал, и бросил, и предал... Почему всё пошло не так? Почему всё вывернулось ливером наружу?

Разжогов раскаивался в содеянном и постанывал от стыда, как от зубной боли. На губах Васи застыла горькая улыбка.

– Вот видишь – сам ход вещей даёт тебе понять, что оно, счастье, не отсюда. Ну, или это мы не там. – Овечкин залпом опрокинул рюмку. – Не там, где оно водится. А раз так, то самые невыносимые муки, самые горькие душевные страдания, какими мы страдаем, – не более чем фантомные боли. Болит то, чего у нас нет. Уже нет. Чего мы лишены.

– Раньше ты говорил, что книга мира написана на языке математики... А что теперь? – Разжогов смотрел на сложенные перед собой руки. – Не понимаю... Как это – болит то, чего у нас нет?

– Болит же у человека отрезанная нога. Допустим, какая-то наша часть осталась там, в обители счастья, из которой мы были изгнаны. И эта отрезанная часть болит. Везунчик – тебе дано это почувствовать. – Овечкин, как худосочный петербургский дракон, выпустил из ноздрей две струйки дыма. – Почувствовать и по складу этой болезненной нехватки представить, чего мы лишились, – ощутить, каков он, утраченный рай. Мне – не дано. Не буду даже и пытаться... Тут математика бессильна. Несоответствие лучших устремлений человека устройству мира, в который он низвергнут – вот истинное подтверждение бытия Бога. Так доказывал Его существование Паскаль.

– Но что же делать с болью?

– Ничего. Терпеть, скорбеть и искупать. – Овечкин погасил в пепельнице окурки и тут же закурил новую сигарету. – Слышал, наверно, что внутриутробное развитие повторяет основные стадии филогенеза организма.

– Чего?

– Понятно... Так вот, что-то подобное происходит с людьми и после рождения. То есть изгнание из рая всегда случается с нами вновь – как земная мистерия, как важнейшее в жизни событие... Допустим, прощание с детством. Да... Мы расстаёмся с ним резко, разом, хотя потом эта резкость стирается в памяти и как-то сглаживается... Но само детство, если оно было хоть чуточку детским, остаётся для нас раем и родиной души. Отец там всегда самый сильный, а мать – самая красивая. Там тебя любят просто за то, что ты – это ты... И там ещё ничего не известно о смерти. Только в момент изгнания открывается эта нелепость – что в мире есть смерть и она непременно придёт за тобой.

– Не только смерть. Ещё там обман, подлость, предательство...

– Ну да, и обман. Теперь, после изгнания, он заполняет всю нашу жизнь – до крышки гроба. Недаром сказано: будьте как дети. Будьте как дети, иначе нет вам дороги в Царство Небесное. Потому что это царство – их. Понимаешь? Их – уже не наше. Оно, это царство, – без смерти и без лжи – детское. И нам нечего там делать с нашими законами эквивалентного обмена – они всё равно в тех краях не работают.

Вечер был светел, как бывают светлы майские петербургские вечера. Запах табачного дыма мешался с запахом кофе, доносящимся из открытой двери клуба, сразу за которой располагалась барная стойка с кофемашиной. Разжогов смотрел на свои руки и думал: пусть так, пусть он не будет счастлив, пусть счастье не там, куда изгнан человек, но... он не сможет её забыть. Он никогда не сможет этого сделать. Он будет помнить Кабиру всегда – ведь она подарила ему знание того, какого чуда он лишён.

Именно так – время врачует, но сколько бы слоёв прошлого на эту рану ни легло, он будет помнить Кабиру всегда, до последних дней. До той поры, пока небесный сержант не скамандует ему освободить землю и сдать тело.

Разжогов нащупал в нагрудном кармане билет. Поезд на Орск с пересадкой в Москве отправлялся через два часа.

## Владимир КУЗИН

Родился в 1964 году, образование среднее техническое (авиамеханический техникум) и незаконченное высшее (четыре курса Ивановского государственного университета, филологический факультет).

Работает в охране. Живет во Владимире.

## МИСКА С РЯЖЕНКОЙ

Баба Клава постучалась в комнату и вошла.

— Опять, — покачала она головой, увидев, как внучка открыла семейный альбом с фотографиями. — Вика, так нельзя. Три месяца прошло. Понимаю, ты тоскуешь по маме, но ведь жизнь продолжается. Вон психолог твой говорит: не возмѐшь себя в руки — дойдѐт до сильных антидепрессантов, а дальше — зависимость от них...

Села на диван рядом с девочкой. Тоже взглянула на фото.

— Это вы с мамой на озере. Она выбрала место, где помельче. Плавать тебя учила, а ты визжала во всё горло... — Показала на другой снимок: — Тут вы в детском парке, ты всё на карусельной лошадке любила кататься. — Вика перевернула лист. — Здесь ты в первый класс пошла. Все дети с цветами. Мама, радостная, на тебя смотрит... Господи, как же быстро летит время, вот тебе и тринадцать...

Девочка посмотрела ещё несколько фотографий и закрыла альбом.

— Почему она села к этому частнику, а не в автобус? — неожиданно спросила. — Не врезались бы в самосвал...

Баба Клава вздохнула и опустила глаза. Она чувствовала себя отчасти виноватой в случившемся.

— В полиции сказали, что автобус отменили из-за неисправности; а мама, видно, не захотела ещё полтора часа ждать, торопилась поздравить меня вместе со всеми...

Немного помолчали.

Затем Вика искоса взглянула на бабушку:

— А про отца она тебе ничего не рассказывала?

Та даже вздрогнула.

— Увы, как я ни пыталась из неё вытянуть. Ни кто он, ни откуда. Нет его для нас, говорит, и всё... — Сразу перевела разговор на другую тему: — Может, поешь? Я вон макароны с тушёной сделала. Ведь кожа да кости скоро останутся.

Девочка покачала головой. После добавила:

— Зефирчику бы...

— Ой, да где ж он у нас? — баба Клава засуетилась. — Пойду сбегать в «Пятёрочку». Заодно и хлеба куплю, кончился...

Встала с дивана и, охнув, схватилась за поясницу.

— Опять? — Вика положила альбом на стол. — Давай уж я схожу...

Выйдя на улицу, она равнодушно посмотрела на своих сверстниц, что-то с интересом обсуждающих, и направилась в сторону магазина...

А проходя мимо соседнего дома, услышала громкое мяуканье, которое доносилось из подвального окошка возле куста сирени.

Позади Вики шли две женщины с большими сумками в руках.

— Опять сирота горланит, — сказала одна другой недовольным голосом. — Ночью спать не даст.

Девочка замедлила шаг... потом остановилась и обернулась:

— Извините, а почему сирота?

— У него мамку машина задавила. Прямо тут, — женщина кивнула на проезжую часть. — Два котёнка уже умерли, остался этот... Всё за мамашей как хвостик бегал. Она ему и кусочки с помойки таскала, и умывала... Теперь вот каждый день её зовёт... Видно, ничему она научить сына не успела. Скорее всего, и он не выживет...

Вика немного постояла... затем подошла к подвальному окошку и присела.

— Где ты там?

Едва разглядела чёрно-белого зверёныша в темноте за решёткой. Попробовала его коснуться.

Тот зашипел.

— Ого, — девочка отдёрнула руку, — какие мы дикие... Подожди здесь...

По пути из магазина Вика снова подошла к подвальному окошку и положила возле решётки кусочек сардельки. Однако котёнка не было. Девочка подождала ещё немного и направилась было домой. Но тут сзади раздался шорох. Вика обернулась: сардельки на месте уже не оказалось...

Утром следующего дня она собрала в пакет миски, купленные вчера в зоомагазине, продукты и воду...

Услышала четвероногого пострела ещё издали.

Подошла к подвальному окну:

— Хватит кричать, людей разбудишь... Поесть тебе принесла. И водички.

Котёнок притих.

Девочка вынула из пакета миски. В одну наложила курятины, в другую налила воды.

— Родниковая, сама набирала...

Зверёныш не выходил.

— Эх ты, трусишка.

И, спрятавшись за угол дома, стала наблюдать.

Ждать пришлось недолго. Котёнок высунул мордочку из окна, принюхался... быстро подбежал к миске и, урча, набросился на еду... После зашевелил носиком, глядя по сторонам — вероятно, пытаясь уловить знакомый мамкин запах. Затем юркнул в подвал.

Вика заглянула туда.

— Эй, давай познакомимся...

Тишина...

Вечером из подвального окошка опять доносилось громкое мяуканье.

Вика подошла.

— Тише ты...

Котёнок замолчал.

— Правильно, — одобрила девочка. — А то за километр слышно. Хочешь, чтобы тебя поймали и выкинули отсюда? Здесь хоть тёплые трубы и крыша над головой. — И, подумав, добавила: — Раз ты откликаешься на команду «тише», то и назову тебя «Тишка». Понял?..

На следующий день Вика привязала к нитке фантик от конфеты. И когда котёнок поел, она из-за угла бросила фантик ему под нос. Тишка от неожиданности так высоко подпрыгнул, что Вика чуть не прыснула со смеху. Потом медленно потянула ниточку на себя, и фантик зашуршал об асфальт. Котёнок наострил уши. Затем подкрался к нему на согнутых лапках; и, вильнув задом, прыгнул к фантику и впился в него когтями.

– Ай, молодец! – взвизгнула девочка. – Поймал!

Тишка бросился в подвальное окно и скрылся в темноте...

В другой раз Вика пошуршала фантиком о стену дома. И котёнок принялся хватать фантик через решётку. Но девочка вовремя отдёргивала руку и продолжала шуршать. Тогда Тишка вылез из-за железных прутьев и, сделав прыжок, зубами вырвал фантик из пальцев Вики и утащил его с собой.

– Во даёт! – вскрикнула девочка. – Игрушку спёр!..

Как-то вечером она решила сфотографировать зверёныша, чтобы показать его бабушке. Удалось не сразу, и только через решётку...

Один раз Вика хотела вылить в раковину остатки давнишней ряженки; но подумала, а не дать ли попробовать Тишке? Немного подогрела её на слабом огне, непрерывно помешивая, и вылила в бутылочку...

Каково же было удивление девочки, когда котёнок, поочерёдно обнюхав миски с едой, выбрал сначала не курятину и не сосиску, а ряженку. Остальное съел потом...

Через некоторое время он уже перестал скрываться от Вики. Сидел возле решётки и с интересом наблюдал, как его новая знакомая наполняет миски и меняет воду... И однажды, когда он лакал свою любимую ряженку, Вика коснулась пальцем его уха. Тишка съёжился и... продолжил чавкать. Правда, когда девочка попыталась его погладить, он сиганул в своё убежище...

«Но уже хорошо, дал дотронуться», – подумала Вика...

Однажды она увидела, что котёнок полез на куст за воробьями. Те перелетели на соседний; и Тишка, спрыгнув с этого куста, кинулся к следующему. Затем дальше...

Девочка побежала ему наперерез.

– Потеряешься, глупый... Ну-ка назад!

Котёнок тут же бросился к окошку; однако не спрыгнул в подвал, а стал наблюдать за девочкой из-за решётки...

А когда он поел, Вика снова попыталась его погладить; однако тот попытился.

– Малыш, – сказала она, – я тоже осталась без мамы. Знаю, как это ужасно. Но ведь жизнь продолжается, бабушка моя права... Так что давай привыкай ко мне. Хорошо?

Тишка с любопытством смотрел на неё из своего укрытия, время от времени зевая.

– Ну иди дрыхни, соня...

На следующий день девочка как обычно позвала своего четвероногого друга. И через некоторое время из подвального окошка выскочил котёнок с чем-то в зубах.



Вика вскрикнула... Присмотрелась.

– Фу, блин, – вздохнула, – я думала,мышь...

Это был тот самый фантик, который несколько дней назад Тишка вырвал из руки девочки и утащил в подвал. Котёнок положил его на асфальт и уселся рядом, глядя на свою подругу.

– Поиграть хочешь?.. Или извиниться решил, ворюга?.. Ладно уж... Только давай его выбросим, он грязный...

Вечером, когда Тишка поел, Вика поиграла с ним новым фантиком... И затем привязала его к ветке кустарника, чтобы котёнку было нескучно одному. Пошуршала им. Тишка наострил уши и прыгнул к фантику... А вскоре уже играл не только им, но и листьями, которые раскачивались на ветру. Да с таким огоньком в глазах, что Вика тоже раззадорилась: она принялась бросать над головой зверёныша маленькие веточки; и тот прыгал за ними, пытаясь схватить их на лету...

Однажды, когда Тишка уже поел, из окна первого этажа высунулся лысый мужчина с заспанным лицом.

– Эй, костлявая, так это ты тут пакостишь?

Девочка вздрогнула.

– Я ничего такого...

– Мозги мне не пудри. То брызги кефира вижу, то кусочки мяса...

– Здесь котёнок.

– Да хоть крокодил! Чтoб никакого мусора под моим окном не было! Грязь тут будет разводить! Живёшь где?

Вика показала рукой на соседнюю пятиэтажку.

– Вот марш к своему дому и там хоть какашки под окна бросай!..

Девочка собрала миски в пакет и пошла домой...

На следующий день она встала чуть свет и, подкравшись к подвальному окошку, разложила миски с едой и водой.

– Тишка! – позвала.

Никого.

«Ну что он там, – подумала. – Надо быстро покушать и спрятаться».

Прождала своего питомца минут десять, но тот так и не появился. Тогда Вика решила оставить миски с едой у окна и забрать их чуть позже. Надеясь, что малыш поест без неё...

По пути из магазина она забежала к котёнку и увидела, что мисок на месте нет, а подвальное окошко закрыто фанерой.

«Спятели, что ли?» – возмутилась девочка.

Попробовала оторвать фанеру, но та не поддавалась. Осмотрела её. Болтов и шурупов нигде не было. Видимо, посадили на клей...

Как стемнело, Вика тайком взяла большой кухонный нож, оделась и, сказав бабушке: «Я скоро», вышла из дома. Баба Клава была не против её дружбы со зверёнышем: она видела, что в последние дни внучка стала жизнерадостной, у неё появились румянец на щеках и хороший аппетит. А что ещё было нужно?..

Девочка подошла к подвальному окошку, вынула нож и протиснула краешек лезвия между фанерой и стеной. Затем потянула ручку ножа на себя, и фанера отлетела...

Разложила еду.

– Тиша...

Котёнок, видимо, был напуган шумом, поэтому долго не появлялся. Пришлось звать его несколько раз. Наконец, он высунул мордочку и испуганно осмотрелся.

– Это я, не бойся, – тихо сказала Вика.

Тот принялся... и набросился на еду.

– Сутки голодный, – посочувствовала девочка... – Попей водички, я её тоже заберу. Видишь, нашу посуду выбрасывают.

И посмотрела на окно первого этажа...

Когда малыш юркнул в подвал, она загородила окошко фанерой...

За пару недель они так сдружились, что фантик стал не нужен. Тишка начал играть с пальцем девочки. Хотя ей приходилось быть очень осторожной: уж очень острые у зверёныша были коготки. И всё же она шла на риск, чтобы малыш привык к запаху её рук...

Котёнок больше не кричал, оставшись один; а, завидев Вику, выскакивал из своего укрытия и носился взад-вперёд как угорелый – то ли приветствуя свою новую знакомую, то ли предвкушая полакомиться...

Однажды она заметила, что глаза у котёнка слезятся и под одним из них появилась белая густая жидкость... В ветаптеке сказали, что это конъюнктивит и что запускать его нельзя, нужно капать. Или мазать глазным тетрациклином.

– Он пока не дастся, – вздохнула Вика.

Но мазь всё же купила. И решила, что нужно малыша из грязного подвала вызволять как можно скорее...

Как-то было очень жарко; и Вика подумала, что Тишка хочет пить. Поэтому она не стала ждать, пока стемнеет, а ближе к шести вечера направилась к котёнку.

Подходя к дому, взглянула на окно первого этажа. Показалось, кто-то наблюдает за ней из-за занавески. Присмотрелась... вроде никого...

Поставив фанеру к стене дома, позвала:

– Тиша...

Котёнок не появлялся.

Девочка прислонила голову к решётке и крикнула громче:

– Тишка! Тишка!..

Минут через пять вдалеке послышалось мяуканье и приближающийся шорох... Наконец, зверёныш высунул из окна.

– Что так долго?... – недовольно произнесла Вика. – Давай покушай и попей водички. Как всегда, из ключика...

И она принялась раскладывать миски.

Тишка поглядел в сторону угла дома и наострил уши.

Девочка тоже туда посмотрела, но там никого не было.

– Малыш, не бойся, – принялась она его успокаивать, – я тебя никому в обиду не дам. Но тебе нужно довериться мне, чтобы я смогла тебя отсюда забрать. Мы станем жить втроём: я, бабушка и ты. Будешь спать на мягком коврикe и мурлыкать. А ещё у меня есть маленький мячик, и мы будем играть с тобой каждый день... Завтра возьму у своей знакомой переноску, и попробуем отсюда съехать. Хорошо?

Котёнок поглядел на Вику своими пуговками-глазками.

Девочка погладила его по голове.

Тот вылез из своего укрытия и принялся передними лапками массировать рукав рубашки Вики и мурчать. У девочки часто забилося

сердце: она слышала, что так поступают котята по отношению к своей мамке.

Вика улыбнулась ему в ответ.

И в этот момент сзади раздался шорох, и по пальцам девочки ударил металлический обруч рыболовного сачка. Вскрикнув, она отдернула руку. Тишка отскочил было в сторону подвала, однако широкий сачок всё же успел его накрыть. Малыш забился в сетке и во весь голос замяукал. Лысый мужик подскочил к нему и быстро обмотал его сетью. Вика вцепилась в рукоять сачка обеими руками.

– Что вы делаете?! – закричала. – Отпустите котёнка!

Мужчина отшвырнул её в кусты, быстро подошёл к стоявшей неподалёку «Тойоте» и бросил в багажник сачок с запутавшимся в нём и неистово орущим зверёнышем.

Вика подбежала к багажнику и попыталась его открыть, но мужик сел в машину и дал газу.

Девочка бросилась вдогонку. «Тойота» выехала на проезжую часть и рванула к перекрёстку. Вика помчалась за ней по тротуару.

Машина свернула в сторону объездной дороги, набрала скорость и постепенно скрылась из виду...

Вика бежала, попутно заглядывая в каждый двор и ища глазами «Тойоту»... Выйдя к светофору, она перешла дорогу и направилась вдоль дачных участков, осматривая их сквозь рабицу и зовя котёнка... Затем вернулась в черту города и принялась обходить дворы вдоль объездной... Голова её кружилась, глаза застилал туман...

Где-то после четырёх часов поиска девочка села на скамейку у девятиэтажки, закрыла лицо руками и сморщилась, как от боли... После побрела домой...

Бабушка, увидев внучку бледной и уставшей, которая ни слова ни говоря юркнула в свою комнату, горестно покачала головой...

Наутро Вика бросилась к подвальному окошку. Ни фанеры, ни мисок, которые она не успела забрать вечером, там не оказалось. Она наклонилась к решётке:

– Тиша! Тиша!..

Немного подождав, девочка обошла дом, пытаясь найти ту самую машину. Но её нигде не было.

Тогда она снова пошла вдоль проезжей части, заходя в те места, где не была вчера...

Утром следующего дня она присела к подвальному окну. Ещё раз покричала котёнка... Затем подошла к окошку квартиры, где жил хозяин «Тойоты», и забарабанила ладонью по подоконнику... Минуты через три окно распахнулось, и в нём показалась лысая голова.

– Вот не надо мне по подоконнику стучать. Я тебя предупреждал, чтобы ты здесь грязь не разводила. Но тебе, видать, по фигу...

– Я всё убирала, – возразила девочка.

– Значит, хреново! Если после тебя тут мухи роем летают.

– Я обещаю, что никого здесь больше кормить не буду, – на её глазах выступили слёзы, – только, пожалуйста, скажите, куда вы котёнка отвезли?

– Надо о людях думать, а не засранцев разводить. Он своё дерьмо под сиренью закапывал. Думаешь, мне это в кайф? Здесь не питомник, а жилой дом.

– Он может ослепнуть, ему глаза лечить нужно... – проговорила Вика.  
– У животных, костлявая, существует естественный отбор. Ещё не проходили в школе? Сильный и здоровый выживает, больной и слабый обязан сдохнуть. Не надо вмешиваться в природу.

– Ни капли жалости у вас! – вспыхнула девочка.

– Гляньте, сердобольная какая, – выпучил глаза мужчина. – Ты вон своему дармоеду кур покупала, а им перед этим живым бошки отрубают. Однако тебя это, видимо, не смущает...

И быстро закрыл окно.

Вика ещё немного постояла и направилась было к дороге. Но тут окно первого этажа снова открылось, и лысая голова пробурчала:

– У Семязино я его выкинул. Там дома и дачи. Может, к кому-нибудь прибился. Если собаки не слопали...

Вика облазила все овраги и заросли. В самом Семязино и в окрестностях. Опросила жильцов, показывала им фото Тишки. Однако никто его не видел. Девочка предлагала хозяевам вместе осмотреть их чердак или сарай. Но одни обещали как-нибудь заглянуть туда сами (тогда Вика оставляла им номер своего телефона), другие её прогоняли...

– Я знаю случаи, – сказала ей пожилая дачница, – когда котов и кошек выбрасывали за десятки километров от дома, а через какое-то время те возвращались. Правда, там были животные хозяйские. И уже взрослые...

После третьего дня поисков девочка еле держалась на ногах. И, придя домой, сразу рухнула на диван.

– Вика, – тронула её за плечо бабушка, – ну что ты себя изводишь. Хочешь, возьмём котёнка из приюта или по объявлению. Здорового, чистого... Дался тебе этот подвальный. Поди-ка с лишаями.

Девочка отвернулась к стене...

Вечером она встала, накинула ветровку и вышла из дома.

Подул сильный ветер, нагнав чёрные тучи. Резко потемнело.

Вика наклонилась к подвальному окошку и позвала котёнка. Немного подождав, она вышла к тротуару и побрела по нему, глядя под ноги... Наконец, подобрала большой увесистый камень и направилась обратно.

Грянул гром, и хлынул сильный ливень.

Девочка медленно подошла к окну первого этажа, в котором горел свет. Остановилась метрах в трёх от него и замахнулась камнем. И вдруг сквозь тюлевую занавеску увидела, как этот лысый мужик, который увёз Тишку, держит на руках маленького ребёнка. Слегка подбрасывает его и, приблизив к себе, целует. И так несколько раз. Слышится детский смех... Затем они уходят...

Вика стояла с замахнувшейся рукой словно в оцепенении... Наконец, изо всех сил бросила камень в землю, упала на траву и громко зарыдала. Повернулась лицом к тучам:

– Тиша, милый, я не предавала тебя! Не выманивала, чтобы он тебя схватил! Я просто проворонила! Прости меня! Знаю, тебе сейчас плохо, ты мокрый и голодный! Но поверь, я не перестану тебя искать! Неделями, месяцами! И всегда буду ждать! Возвращайся, малыш! Здесь тебя встретят заботливые руки и... миска с твоей любимой ряженкой!..

Она лежала, рыдая, на траве; и по её лицу хлестали крупные капли дождя...

## Сергей ВАРАКСИН

Родился в 1957 году в посёлке Чупа, Карелия. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию. Фотограф, член Союза фотохудожников России.

Рассказы опубликованы в журналах «Нева», «Урал», «Южная звезда», «Дружба народов» и других. Живёт в Петрозаводске.

## СОЛЁНОЕ МОРЕ

Кеды поехали по мокрой коре, и он боком упал на крутящиеся скользкие брёвна, которые тут же разошлись в стороны. Лёха ушёл под воду, ударился головой о сомкнувшийся сверху лес, снова пошёл на дно, пуская пузыри и теряя сознание.

— Опаньки, — сказал появившийся откуда-то небритый мелкий мужик в мятом пиджаке, вставая у него на пути. Он улыбался, показывая во рту жёлтую фикса, и пританцовывал на месте, разводя руки в стороны.

— Гы-ы! — ухмыльнулся сзади него второй, длинный. — Какая встреча!

Он отодвинул плечом мелкого, положил одну руку Лёхе на голову, а второй дал ему под дых. Лёха упал и забарахтался ногами, пытаясь набрать в грудь воздуха.

Бум! — взорвалось у него в голове, и Лёху вырвало какой-то мутной зеленой жидкостью. Это Пашка схватил Лёху за волосы и вытащил на боны.

— Чуть не утонул, мля, — удивлённо сказал Лёха, откашливая солёную, горькую воду.

Посёлок стоял на берегу залива, и местный леспромхоз сбрасывал туда лес для сплотки, а Пашка учил Лёху жить. Он говорил: «Давай!» — и Лёха бежал, задыхаясь от страха, бежал, толкая тяжёлые сырые стволы ногами.

— Козёл! — горячилась Танька.

— Это же брат мой, — оправдывался Лёха.

— Большой он, — вертела Танька пальцем у виска. — Урод, какой-то.

— Дура! — уверенно говорил Пашка.

— Я же люблю её, — защищался Лёха.

— Фигня всё это! — отрезал Пашка, и попавшаяся ему под ноги курица с кудахтаньем вылетала в открытую дверь сарая.

Лёхина тонкая душевная организация трещала по швам. Он перестал спать ночами, писал стихи, а по утрам долго смотрел на себя в зеркало и мучил волосы, раскатывая их по ушам расчёской. На школьной

парте он вырезал ножиком: «Остановите земной шар, я хочу слезть!», а потом покрасил буквы фиолетовой пастой.

– В Москву поеду, – сказал Таньке. Она смотрела на него с гордостью.

Пашка стихов не писал, он читал переписанное от руки пособие по самбо, подстригся налысо и до зимы ходил в спортивных штанах и майке. В сарае у него лежала штанга с колёсами от вагонетки и висел набитый крупными опилками мешок.

– Фигня всё это – говорил он Лёхе, сидевшему с «Забриски-Пойнт» у двери, и бил в мешок ногами. Пыль заполняла сарай до потолка, и Лёха выбегал наружу, чихая и обмахиваясь «Иностранкой».

По субботам ходили в кино к геологам за пару километров по железке. Местные стояли у клуба кучей, плевали под ноги шелуху от семечек и хрипло матерились.

– Что, суки леспромхозовские, опять припёрлись?! – выдёргиваясь из толпы, кричал кто-то из геологических.

– Тебя, дурака, спросить забыли! – под дружный ржач отвечал Лёха. Обратно шли в посёлок, прыгая по шпалам и кривлялись, изображая геологических придурками. Геологические плелись нестройно сзади.

– Вломим вам в следующий раз! – жалобно ругались, пинали ногами воздух.

Пашку забрали в армию, в десант. Через полтора года он пропал в Афгане.

– Без вести, – сказали военные, не помещаясь в коридоре. – Но комиссия работает, надейтесь.

Никто, конечно, не надеялся. Все пили за Пашку водку. Жалели. Танька любила Лёху. Они лежали рядом на песке, и Танька языком лизала Лёхино солёное плечо, водя его рукой себе по бёдрам. Лёха опять рассказывал про Пашку.

– Ну, хватит, задолбал... – сказала Танька, отворачиваясь.

Они шли домой с вечернего сеанса, отстали от своих и долго целовались. Танька обнимала Лёху за шею, висела на нём, поджав ноги.

– Опаньки... – сказал откуда-то взявшийся небритый мелкий мужик в мятом пиджаке, вставая у них на пути. Он улыбался, показывая во рту жёлтую фикса и пританцовывал на месте, разводя руки в стороны.

– Гы-ы! – ухмыльнулся сзади него второй, длинный. – Какая встреча. – Он отодвинул плечом мелкого, положил одну руку Лёхе на голову, а второй достал из кармана нож и воткнул его в Лёху. Лёха упал и забарахтался на шпалах, пытаясь дышать и поднять себя на ватные ноги.

Мелкий взял Таньку за воротник и сильным толчком поставил её на колени.

– Щас, щас, шас... – быстро говорил он, придерживая одной рукой Таньку, а второй расстёгивая ширинку.

Длинный присел над Лёхой и вытирал нож о Лёхины штаны.

Справа от насыпи метнулась чья-то тень и зашуршал гравий.

– Всем стоять, никуда не расходиться! – крикнул кто-то из темноты, задыхаясь от бега.

– Ты кто тако-ой?! – спросил нараспев мелкий, отпуская Таньку и оборачиваясь.

Пашка молча пнул ногой ему в пах. Мелкий согнулся пополам, а Пашка сделал шаг назад и ударил коленом ему в зубы. Мелкий опрокинулся



спиной в рельс, голова сползла в черноту канавы. Теперь длинный сбоку дал Пашке кулаком в лицо. Он печаткой разбил ему губу, так что кровь потекла Пашке в рот. Пашка поморщился и носком ботинка попал длинному под самое колено. Длинный зарычал: «А-а-а!» — и боком лёг на землю. Крутясь, он закрывал от Пашки лицо, но Пашка сел на него сверху и, опираясь левой рукой, стал быстро, попадая через раз, бить длинного правой, пока тот не отключился. Потом он медленно встал, шатаясь, и стоял, в белой майке с пятнами крови, развернув плечи и глотая разбитым ртом воздух.

Крупные капли дождя вдруг разом ударили по шпалам и деревья зашумели вокруг. Танька подбежала к нему, заглядывая в глаза. Пашка резко оттолкнул её, она чуть не упала.

Он подошёл к Лёхе и сел рядом.

— Ничего, — сказал он, — ничего... — Он погладил мокрое Лёхино лицо — Всё это фигня, Лёха.

## Валерий МАККАВЕЙ

Родился в 1980 в Горьком. Окончил юридический факультет Нижегородского госуниверситета им Н.И. Лобачевского, квалификация – юрист. Работает заместителем директора по научно-методической работе в ГБПОУ «Нижегородский техникум информационных технологий и права».

Публиковался в журнале «Нижний Новгород», альманахе «Земляки», сетевом издании «Литература». Вошёл в шорт-лист Международной литературной премии им. Юрия Левитанского (2023).

Живёт в Нижнем Новгороде.

## АРБУЗ

### 1

Санька Барсук сидел на скамейке возле подъезда. У него на коленях лежал арбуз размером с баскетбольный мяч. Он задумчиво гладил его блестящую корку, время от времени постукивая пальцами по её твердой поверхности. Барсук не ночевал дома, и сейчас его беспокоило, как отреагирует мать на его появление. Арбуз был кстати. С его помощью он рассчитывал снизить градус агрессии и повернуть ситуацию в свою пользу.

Вчера на Заречном рынке он встретил Вовку Козыря. Они вместе сидели на малолетке.

– Вы посмотрите – то не Барсук, то Барс! – радостно воскликнул Козырь и сгрёб Барсука в объятия. – Как сам?

Барсук почувствовал неловкость. Хвалиться было особо нечем. После освобождения он целыми днями валялся на кровати и курил, пуская кольца дыма в оклеенный бумажными обоями потолок. Никто от него ничего не требовал, никто не указывал, как жить. Спать можно было сколько угодно и когда угодно, питаться вдоволь, гулять где захочешь. Но идти на улицу желания не было. Ему нравилось просто лежать, курить, чувствовать себя в безопасности и пребывать в состоянии постоянной дремоты.

Первое время мать закрывала глаза на его образ жизни, но постепенно недовольство её стало расти. Однажды она не выдержала и, зайдя к нему в комнату, громко сказала:

– Может, хватит уже коптить стены, ну? Вся квартира куревом провоняла. Съездил бы в деревню, ну. Бабушке помог. А то лежишь целыми днями, как трутень. Вот восемнадцать исполнится, устрою тебя к себе в цех, ну. Хоть польза будет.

Барсук молча поднялся с кровати и пошёл докуривать на балкон.

Мать растила его одна, работала то ли мотальщицей, то ли чесальщицей на ткацкой фабрике. Была женщиной неопрятной и простоватой. Эти качества проявлялись у неё во всём, но больше всего сказывались на кулинарных способностях. Особенно страдали заготовки

консервированных продуктов на зиму. Мать сушила грибы без разбора, ягоды не промывала, и очень часто в грибном супе можно было увидеть белые тельца мушиных личинок, а варенье отмечалось хрустом речного песка на зубах.

Показывать неловкость было нельзя, и Барсук ответил:

– Пока тебя не встретил, всё было хорошо.

Козырь улыбнулся и прищурился.

– Слушай, Барсук, я чё хотел сказать... – Козырь посмотрел по сторонам. – Давай в сторонку отойдём, а то тихушники могут быть.

Они вышли за ворота рынка и, свернув за угол, остановились в безлюдном месте.

– Помоги мне отзаниматься, а? Кроссовки новые очень нужны. Тут, понимаешь, какое дело... Хочу скататься к пацанам на Бор, а в сланцах ехать западло. Вид всё-таки должен быть соответствующий. А я в долгу не останусь.

Барсук посмотрел на Козыря: выгоревшие на солнце шорты, вытянутая футболка с рекламой столичного пива, сланцы на босу ногу. Выглядел он и правда не очень. Сам Барсук был одет в новенький спортивный костюм и шанхайки. Мать купила на освобождение.

– Козырь, без обид, но я даже месяца ещё не отгулял на воле. Я, пожалуй, пас.

Козырь отступил на два шага назад и внимательно оглядел Барсука с ног до головы.

– Ты при бобах, что ли? Костюмчик, смотрю, новый, тапочки китайские. Так подкинь немного деньжат, раз богатый.

– Нет у меня денег, сам голяком.

Барсук достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул парочку, протянул одну Козырю, а вторую сунул в рот и, чиркнув зажигалкой, раскурил.

– А чё на рынок-то пришёл, раз денег нет?

Барсук пожал плечами.

– Да просто так. Прогуляться.

– Просто в попу, а так в рот, – Козырь осклабился и громко захохотал.

Барсук посмотрел на него исподлобья.

– Да ладно, не парься. Шучу я.

Какое-то время они молчали. Козырь присел на корточки и жадно курил, периодически сплёвывая на землю. Под его ногами образовалась небольшая слюнявая лужа. В центр лужи Козырь поместил бычок фильтром вверх.

– А ты слышал за Седого? – спросил он поднимаясь.

– Нет, а чё?

– Да он, прикинь, решил хату выставить комерса какого-то. Тот живёт на втором этаже. Подгадал, когда дома никого не будет. Ночью полез через балкон, да чё-то напутал и залез в соседнюю. Там его встретил хозяин квартиры, скрутил и сдал мусорам. Вот умора!

Козырь захохотал.

– Такой же фартовый, как и ты, Барсук! Может, и зря я тебе предлагаю делюгу.

Барсук поморщился и отшвырнул окурочек в сторону.

Свой срок он получил за покушение на кражу. Тем вечером с друзьями они крепко выпили, праздновали днюху одноклассника. Сначала они сидели в кафе на Покровке, названия Барсук уже не помнил, потом пошли в кремль. Стоял морозный декабрь, накануне празднования

Нового года. Склоны Кремля были покрыты толстым слоем снега. Кто-то из ребят бросил клич прокатиться с этих горок. И они толпой, под ободряющие возгласы и дружный смех, покатались вниз. В тот раз обошлось без травм.

Обратно в свой район они ехали затемно в битком набитом автобусе. Барсук стоял на ступеньках у задних раздвижных дверей, его мучило. Тошнота подкатывала волнами. Чтобы не заблевать спины стоящих рядом людей, он выскочил на Комсомолке, завернул за остановку, и его вырвало. До дома решил пройти пешком. Никто из друзей за ним из автобуса не выпрыгнул. Может, не заметили.

Во дворе, напротив школы, он увидел припаркованную красную «девятку»: двери машины были не заперты, кнопки блокировки замков дверей – выдвинуты на полную длину...

Его взяли в четыре утра спящим в обворованном им же автомобиле. Он сидел на пассажирском сиденье с краденой магнитолой на руках.

Что тогда побудило его открыть дверь машины и плюхнуться в кресло, он так и не смог себе объяснить даже в колонии. И если бы не уловка за хулиганство, свободы его могли бы и не лишить.

Козырь сидел за разбой.

– Слышь, Барсук, дело-то плёвое. Там схема простая. Ну чё ты ломаешься, как тёлка.

– Чё за схема?

– Да, короче, подойдём к лотку с обувью. Я попрошу померить кросы, потом вторые, потом третьи. Пока комерс будет искать третью пару, передам одну из прежних Полторашке, у неё уже будет пакет. Она положит кросы в пакет и отдаст его тебе. Ты спокойно пойдёшь на выход. Встретимся здесь же, – Козырь с надеждой посмотрел на Барсука.

– А Полторашка это кто?

– Да тёлка одна, Наташка-Полторашка. Она сейчас ситуацию сечёт. Прикинь, она может выпить полторашку пива практически залпом.

Барсук натужно улыбнулся. Происходящее ему не нравилось.

– Ты не очкуй, с меня спроса не будет. Я же останусь там, как ни в чём не бывало. Скажу, что понятия не имею, где кроссовки. Сейчас выходные, народу много, выберем тот лоток, где меряют сразу несколько человек. Мало ли кто стащил? Полторашка тоже затеряется в толпе. Так что всё на мази.

В колонии Козырь сидел достойно: в актив не вступал, шнырём не был. Когда в зону поднялся Барсук, подтянул его к себе. Подогнал тёплые вещи, объяснил за жизнь. Барсук был ему многим обязан.

– Ладно, Козырь! Будешь должен.

– Вот, от души, братан! Я знал, что на тебя можно положиться.

Козырь криво улыбнулся.

– Ну, погнали тогда. Найдём Полторашку.

Всё произошло так, как и говорил Козырь. Возле торгового лотка не было свободного места. Покупатели стояли плотной толпой. Кто-то примерял обувь, кто-то расплачивался. Было шумно и тесно.

Полторашка оказалась невысокой симпатичной девчонкой. В её облике чувствовалось определённое благородство. Барсуку даже не верилось, что она связалась с таким, как Козырь. Ему казалось, что такие девчонки обычно находят перспективных парней, счастливо выходят замуж, устраиваются на хорошую работу.

Козырь мерил кроссовки с видом разбирающегося человека. Аккуратно их зашнуровывал, топтался на месте, зажатый со всех сторон

покупателями. В какой-то момент он скинул кроссовки Полторашке. Та ловко опустила их в заранее подготовленный пакет и передала Барсуку. Барсук неспешным шагом пошёл по направлению выхода из рынка, предварительно свернув в соседний торговый ряд.

Взяли их в месте встречи.

На допросе Барсук вёл себя спокойно. Говорил, что ни в чём не участвовал. Ни с кем заранее не договаривался. Его попросили понести пакет, он и взял. Что находится в пакете, не знал.

Ночью в обезьяннике долго не мог уснуть. Козыря и Полторашку раскидали по хатам, а его почему-то оставили в клетке под присмотром дежурившего сотрудника, хотя в помещении находились три камеры.

Барсука мучили тревожные мысли. Что будет с мамой? Опять, бедняга, на последние деньги будет собирать ему передачи, тащить через всю область тяжёлые сумки, мерзнуть на полустанках. Через полгода Барсуку исполнится восемнадцать, и его переведут во взрослый лагерь. Как там встретят?

Сидеть не хотелось. Лучше бы и правда уехал в деревню.

Утром Барсука отпустили под подписку о невыезде. Что стало с Козырем и Полторашкой, он не знал.

По пути домой сочинил незамысловатую историю о том, что познакомился с девушкой, провожал её в Стригино. Было поздно, обратно транспорт уже не ходил, денег на такси не было. Пришлось там заночевать. Барсук понимал, что это отсрочка всего лишь на несколько дней, пока не придёт очередная повестка. Тогда мать всё поймёт. Но сейчас другого варианта объяснить своё отсутствие он не видел.

За размышлениями Барсук не заметил, как дошёл до Заречного рынка. Через несколько минут он будет дома.

— Земель, подожди!

К нему торопливой походкой шёл неопрятного вида человек. Лицо одутловатое, волосы нечёсаны, одет в вытянутые треники, пиджак на голое тело и стоптанные сандалии.

Барсук остановился. Чё ему ещё надо?

— Третьим будешь? — спросил незнакомец и широко улыбнулся. Барсук заметил, что во рту у него практически не было зубов, из-за чего речь его звучала с присвистом.

Барсук шутки не оценил и намеревался уже пойти дальше, как тот суетливо продолжил.

— Да, пошутил я. Земель, помоги разгрузить фуру с арбузами. А? Очень надо. Один я не справлюсь. Нам на шкалик дадут, и арбуз можно любой с собой взять.

В глазах незнакомца Барсук увидел всю боль страдающего с похмелья человечества. Подумал, что арбуз бы ему пригодился. Вернётся домой хоть не с пустыми руками. Но где-то внутри его головы сидела мысль, что второй раз за сутки он ввязывается в какую-то авантюру.

Фуру разгружали долго. Незнакомец представился Борей и стал знакомцем.

Боря постоянно филонил: то у него живот схватит, то ему поссать захочется, то сейчас подойдёт. В момент его отсутствия Барсук договорился с хозяином фуры, что всё причитающееся достанется Барсуку, в том числе и арбуз. На том и сошлись.

Борю Барсук пустил по бороде, так ничем с ним и не поделившись. Тот попытался наехать, но выхватил оплеуху и, поникши, побрёл восвояси.

Санька Барсук сидел на скамейке возле подъезда. Арбуз лежал на коленях. Он аккуратно положил его рядом с собой. Вытряхнул из пачки последнюю сигарету и закурил. Пустую пачку смял и выбросил в урну.

Домой идти не хотелось. Там Барсука ждал душный разговор с матерью. Желания вступать с ней в дискуссию у него не было. Хотелось ещё немного оттянуть этот момент.

Барсук подумал о Козыре и Полторашке. Что с ними стало? Козыря, скорее всего, отправят в СИЗО, а может, и нет. Не такое уж значимое преступление они совершили. Много будет зависеть от того, что он говорил на допросе. Хотя могут и отправить. Барсук считал чудом, что сам избежал ареста. Нужно бы доехать до родичей Козыря, сообщить. Но Барсук не знал, где конкретно живёт Козырь. Помнил, что где-то на Гвоздилке. А Полторашка? О ней у Барсука вообще сведений не было. Да и видел-то он её всего минут пятнадцать. Кто такая? Чем живёт? Может, её тоже отпустили под подписку.

Дверь подъезда распахнулась, и на улицу, немного пошатываясь, вышел дядя Валера с седьмого этажа. Кем он был по жизни, Барсук не знал. Мать говорила, что сейчас он на пенсии, работает ночным сторожем в детской поликлинике.

Дядя Валера любил выпить. На его багровых щеках тонкой паутиной расходились синеватые прожилки. В карманах брюк он всегда носил гранёный лафитник на всякий случай. Однажды Барсук увидел его вусмерть пьяным, валяющимся на газоне, кое-как привёл в чувство, помог подняться на ноги и довёл до квартиры. С тех пор дядя Валера считал его своим корешем.

– О, Санёк, здорово! – дядя Валера плюхнулся на скамейку рядом с Барсуком. – Как жизнь молодая?

Барсук немного подвинулся в сторону, придерживая арбуз рукой.

– По-разному бывает, дядя Валер. Пока всё хорошо.

– Это хорошо, когда хорошо. Арбуз-то где скоммуниздил?

– Не скоммуниздил, а заработал, – Барсук бросил окурочку на землю и затоптал. – Фуру с утра разгрузил.

– Понятно. Дело хорошее.

Дядя Валера достал из нагрудного кармана мерзавчик, из брючного лафитник и отмерил себе половину рюмки.

– Будешь?

Барсук помотал головой.

– Нет, я пас. Мать не хочу задорить. И так дома не ночевал.

– Понятно. Твоё здоровье, Санёк! – дядя Валера поднёс лафитник ко рту, шумно выдохнул и выпил. – Ах! Хорошо!

Дядя Валера подмигнул Барсуку, тот невольно улыбнулся.

– Я вот всё думаю о вашем поколении, Санёк, – сказал дядя Валера, убирая лафитник в карман. – И мне становится больно за вас, понимаешь?

– Не очень.

– Представим, что человек, когда рождается, – белый лист, – дядя Валера начал свою речь издалека. – И в течение жизни каждый встречный оставляет на нём свою загогулину, понимаешь. Наполняет его содержанием, так сказать. Кто-то рисует светлые образы, кто-то ставит кляксы, кто-то просто расписывает свою ручку до дыр. И все эти каракули остаются с человеко-листом навсегда. Хорошо, если ещё разрисуют



карандашом. Возможно, найдётся ластик, и удастся стереть написанное. Хотя и от этого действия останутся шероховатости на бумаге.

Дядя Валера достал из кармана брюк мятый платок и звучно высморкался. Барсук подумал, что для философских размышлений дядя Валера слишком простоват, но ничего не сказал.

– Так вот. Всё это делает человека индивидуальным, понимаешь. Единственным таким листом во всём мире.

Это Барсук понимал. В колонии наковки были у многих, от надписей и перстней до куполов и мадонн с младенцем. И не было арестантов, исколотых одинаково. Все были индивидуальными.

– Самое неприятное, когда пишут на этом листе под копирку. Тогда все человеко-листы становятся похожи один на другой, как цыплята в инкубаторе. Этим занимаются в детском саду, в школе и других институтах социального общества. Плохо, если это делается в семье. Понимаешь, родители начинают говорить, что нужно быть таким, как все. Всё должно быть как у людей. И далее по списку... А человек должен быть собой, должен выплеснуть в этот мир то, что в нём заложено. Должен реализовать своё творческое начало и, в конечном итоге, сделать этот мир лучше. Человек – творец, понимаешь? А двух одинаковых творцов не бывает.

Дядя Валера замолчал. В чём-то он был прав. Мысль про институты Барсук понял по-своему – горько усмехнулся, зная, что ему туда никогда не поступить.

– Вот ты сейчас – продукт эпохи, понимаешь, – дядя Валера покопился на Барсука. – В стране неразбериха, война в Чечне, запад насаждает свои ценности, в кабинетах сидят зарубежные консультанты, повсюду разгул преступности.

Дядя Валера потянулся к нагрудному карману и достал мерзавчик. Откинувшись корпусом немного назад вытащил из кармана брюк лафитник, наполнил до краёв рюмку и продолжил.

– И в этом болоте находятся жабы, пытающиеся квакать по-своему, – уголовники. Последнее время они насаждают свою культуру, свои порядки, и на тебе, как и на миллионах других молодых пацанов, пишут под копирку свою повесть. Сбивают вас с панталыку. Но в конце концов подотрут вами жопу. А может, и уже подтерли.

Рюмка дрожала в его руке. Прозрачные капли медленно стекали по стенкам лафитника.

– Ну ты загнул, дядя Валер.

Фраза про жопу Барсуку не понравилось.

– А чего загнул? Чего загнул? – щёки дяди Валеры задрожали. – Обидно мне за вас, понимаешь. Пропадаете вы. За страну нашу обидно!

Дядя Валера осушил лафитник одним глотком.

– Вот что сейчас для вас делают, а? Ничего! Всё развалили, секции позакрывали – некуда вам податься. Вот и болтаетесь по улицам без толку, думая, чем заняться, – Дядя Валера поднялся со скамейки. – Потом ограбите кого и мыкаетесь всю жизнь по лагерям.

Барсука бросило в жар. Вмазать бы ему по его красной роже, чтобы не выпендривался. Папаша нашёлся. Про лагерь заговорил. Но где-то внутри себя Барсук знал – дядя Валера прав.

– Ладно, Санёк, пойду я. Бывай!

– Удачи! – раздражённо бросил Барсук.

Дядя Валера сделал вид, что ничего не заметил, и медленно пошёл за угол дома.

Барсук остался один. После разговора с дядей Валерой в душе у него остался осадок. После колонии жизнь Барсука разделилась на две половинки. И теперь нужно было склеивать их в единое целое, встать на ноги, найти приличное занятие, со временем устроиться на работу. Но куда его возьмут с таким прошлым. Многие двери для него уже были закрыты. Вчерашняя история тоже не сулила ничего хорошего. Попахивало новым сроком. Печально было осознавать, что детство закончилось. Хотя закончилось оно ещё тогда, когда он бухой забрался в красную «девятку».

Тянуло курить, но сигарет больше не было. Можно дойти до ларька, но тащиться с арбузом ему не хотелось.

Барсук посидел ещё немного в одиночестве. Нужно собираться домой. Мать там, наверное, совсем извелась.

Плюнув себе под ноги, Барсук резко поднялся. Оставленный без поддержки, арбуз покатился и плюхнулся со скамейки. От удара об асфальт он раскололся напополам.

Барсук опустился на скамейку и долго смотрел на красную мякоть арбуза.

## Елена БЕРМУС

Родилась и живёт в Петрозаводске. Окончила Карельский государственный педагогический университет. Кандидат филологических наук. С 2007 года работает в редакции журнала «Север». Литературовед, текстолог, методист, редактор.

Автор двух книг документальной прозы. Пишет рассказы. Публиковалась в научных изданиях, а также в журналах «Север», «Роман-газета».

## ЧАДО МАРИИНО

*...Не как Я хочу, но как Ты.*  
Мф. 26:39

Рассказывают, давным-давно один грек нарисовал на доске Марию – ту, что потеряла сына. Тогда-то вся она и обратилась в слух. Весть о том, что Мария слышит каждого и дарует утешение, полетела по миру. Страждущие устремлялись к ней, лики её рассеялись по всему свету. И к ним потянулись люди, они несли свои печали и просили милости. Тысячи языков, миллионы голосов, но не было тех, кого она не слышала, – ни одно слово не ускользнуло от её ушей. Воззавший выговаривал то, что камнем тянет душу, а Мария слышала сокровенное – о чём умолчал.

К Марии – той, чей лик давно на стене одной церквушки посреди заброшенного кладбища, – по воскресеньям два года приходила женщина и несла ей свою печаль. Звали её Маргарита. Она стояла перед Марией – так нищие стоят с протянутой рукой – и просила утешения, а та внимала стонущему сердцу.

О чем Ты думала, Мария? О чем молчала?

Та женщина, Маргарита, говорила, что был у неё сын, прощенный и единственный. А потом – двадцати лет – умер. Женщина смотрела на печальную Марию – краски на лице потемнели от времени – и плакала, изливая своё горе. Между мысленной жалобой и молитвой срывался с губ срывался вопрос: «Почему Господь его не спас?»

Мария слушала и молчала – в Маргаритиной печали она узнала свою. Но знала и другое...

\* \* \*

В тот год весна непривычно рано ворвалась в маленький северный город. Солнце оплавляло наледь на крышах, тёплый ветер свистал вдоль узких улиц с покосившимися, довоенными еще домами. По деревянным настилам, поглядывая в небо с высившимися поодаль подъёмными кранами, шёл парень. В одной руке – обшарпанный чемоданчик, в другой – скинутое с плеч полупальто. Любопытные со всех сторон липли взглядами к чужаку: стремительный, залётный, в стройотрядовской

куртке с нашивками, шевронами, значками. На такого только слепой не попятится. И откуда взялся в этих краях? Разве тем мартовским ветром и занесло.

В гостинице, потерявшейся в одном из обветшалых переулков, умылся, причепурился, надел достанный из чемодана новый кримпленовый костюм. Со стороны поглядеть – то ли жених, то ли артист. Да и на свадьбу не каждому в этих краях такой костюм находился. Одно слово – чужак. Удивив буфетчицу невиданным здесь шиком, посетитель выпил в гостиничном кафе чаю и отправился в отдел кадров.

Прибыл он на строительное предприятие по распределению – новый мастер. Совсем зелёный – только-только институт окончил, но, как рекомендовала выпускная комиссия, перспективный, толковый. Оформили его быстро, ключи от комнаты в общежитии выдали и в первый же день направили на участок – знакомиться.

Работяги сначала косились настороженно – что за хлыщ прибыл? Но день за днём потихоньку наладилось. Оказалось, дело своё новый мастер знает, к мужикам – по-свойски уважительно – на «ты» и по отчеству. А с начальниками держался на равных. Материалы на стройку выбивать ездил лично, своих в обиду не давал. К тому же язык подвешен, но не пустослов: было о чём рассказать – студентом помотался по Союзу, каждое лето на большие стройки выезжал. Так за пару месяцев стал здесь Коля – Николай Иванович своим. А костюм тот пижонистый прибрал до лучших времён.

Парень был яркий, улыбчивый, чувствовались в нём уверенность и столичный лоск. Конечно, женщинам такой нравился. А он одной подмигнёт, другую при случае за талию приобнимет, третьей пальто поможет надеть или дверь придержит. Вроде и со всеми, а ничей. По крайней мере, о шашнях его не шептались – всерьёз повода не давал. Манкий, обходительный – весенний ветер: подразнит теплом, а не обогреет. Не планировал он в этих краях задерживаться – ждал место поближе к столицам.

На женские притязания отшучивался: с друзьями, мол, договорились до тридцати лет не жениться, а предаваться искусству любви. Звучит витиевато, но понять можно по-разному. У мужчин «искусство любви» – одно, а у женщин – другое. И это ещё вопрос: чьё перешибёт. Так что девчонки надежды не теряли...

Маргарита из бухгалтерии тоже на него запала. Хотя куда ей? На восемь лет его старше. Коренастая, темноликая – как гриб из земли и всполох жгучих глаз под тяжелым надбровьем. Правда, на ногах стояла крепко. Незамужняя, а к тридцати годам, подсуетившись где надо, квартиру себе выхлопотала, обставила – заработки в бухгалтерии были хорошие. Однушка, но и на том спасибо, больше ей бы не дали.

Впервые увидела она Николая в столовой – полыхнула тёмным взглядом и пропала. Лицо его стояло перед глазами, будто раньше мужчин не видала.

На самом деле так, да не совсем. В техникуме на первом курсе вроде приглянулась она одному... Обнимал, всем телом прижимался, а целовал на прощание – в щечку. Чувствовала Ритка: и рядом он, а не с нею. Решилась: уступила – на ночь у себя в комнате оставила, когда соседки на каникулы разъехались. Так недели две он у неё ночевал, а потом пропал. Разыскала она его, следом ходила – за рукав хватала. Терпел он сначала, довольный, отшучивался, но время тянется, а она не отстаёт – надоело. Сгоряча нагрубил, обозвал. Почернела Ритка, сгорбилась,

будто камень на спину положили – ещё глубже в землю ушла. Так и жила потом тише воды, ниже травы, – одна.

Про Колю она никому не открывалась, да и некому: подруг не заводила. Глядела Ритка на него смущенно исподлобья, встретит по работе – поздоровается, больше ничего. Липла к нему мыслями – не отодрать, как наваждение нашло. В столовой улучила момент: тайком схватила скомканную салфетку с его подноса. Гладила кончиками пальцев клочок тонкой бумаги, Колиными губами припечатанный, при себе носила в кошельке – поглупела Ритка от любви.

Узнала, что по субботам бывает он на танцах, – тоже стала в Дом культуры наведываться. Стоит в полумраке за колонной – едва дышит. А он – ветер – то мимо пролетит, то голос его донесётся. Ловит Ритка каждый миг: не крепко ли прижимается, не слишком ли громко заливаётся довольная партнерша. Мысли ревнивые – тугими кольцами вокруг шеи, дышать тяжело.

А однажды повезло ей. Праздник был в августе – День строителя. Ребята сначала в общежитии отметили, потом – на танцы. Там крепко портвейном добавили, и Коля с ними. Ритка набралась смелости, поближе держалась. К ночи компания редеть стала: разбредался народ кто куда. Коля с ребятами – к общаге, Ритка – следом. Остальные вперёд ушли, а Коля в сквере по нужде за куст отлучился. Вернулся на дорожку, ширинку застёгивает. И Ритка тут, бормочет что-то, улыбается. Смотрит на неё Коля мутным взглядом, шагнул поближе, руку на талию ей положил. Дыхнул на Ритку сладковатым ароматом спелых плодов. Рядом – нездешний: кожа южным солнцем целованная, и волосы тёмные, обласканные тёплыми ветрами. Заволновалась Ритка, грудь вздымается, дыхание горячее – щекочет ножичком по Колькиной шее. Свесил голову, в щеку ей неловко ткнулся носом – сокровище залётное.

Сообразила Ритка, что до дома её всего ничего. Ерунду всякую несла, убалтывала, так и завела к себе домой. Провернула ключ изнутри, в неосвещенной прихожей прижалась она к нему всем телом, жадно впилась губами в хмельной рот. Он и не против, придержал её за грудь. Провела его Ритка в комнату, подтолкнула на разложенный диван.

Проснулся Коля с рассветом. Голова тяжелая. Огляделся – куда попал, узнал тёмную бухгалтершу, стало в памяти проясняться. Стыдно ему, неловко. Уловив движение под боком, и Ритка глаза открыла. Жмётся к нему голой грудью и руки по-хозяйски ползут по жилистому бедру. Отстраняется он, а она прильнула, и как током – твёрдые горошины сосков по горячему мужскому телу. Тяжело дышать, будто давит кто. Не утерпел Колька – оглушённый, привалился на крепко сбитую Ритку.

Отныли своё пружины дивана. Отодвинулся он от неё, сел и, подхватив с пола брошенные у дивана брюки, сунул ноги в штанины. Тут же вскочила и хозяйка, засуетилась, к холодильнику метнулась: стакан рассола ему, чайник на плиту – ластится, с ног сбилась.

Отвяжись ты, ничего не надо! Обронит Колька слово, головой мотнёт, а сам взгляд отводит. Ушёл без оглядки, торопливо отстучав по лестнице каблуками; уличной дверью гроыхнул на весь подъезд.

Ждёт Ритка, что появится, – день, два, неделя к концу идёт. Как назло, и по работе нигде не пересекались. Подловила Колю в субботу в сквере. Стоит он, прячет взгляд – глаза б на неё не смотрели, не мила, вина навалилась. Сели на лавочку. Всё Ритка без слов поняла – со второго раза

легче доходит. Плачет она, говорит ерунду всякую, волнуется. Улучила момент, когда прохожих поблизости не было – схватила его за запястье, Колину ладонь на бедро себе кладёт и грудь под тонкой тканью платья вздымается. И не хотел бы Коля, а руки всё помнят. Не видит он уже лица её, будто глаза застило, а изнутри распирает – сам себе не хозяин. Но вырвался от неё, ушёл по аллее – стыдливо, не оглядываясь.

Маялся до вечера: знать бы Ритку не знал, но хлебнул бабьей плоти – оглушило ему разум. Не устоял, пришёл под самую ночь... Так и стал захаживать – «из любви к искусству», а днём делал вид, что едва знакомы.

Ритка и рада, а потом и не рада. Вот он рядом лежит: тело смуглое, южное, глаза синие – получила. Любуется на свой девичий секретик, а показать никому нельзя. Могла бы, так носила бы такое сокровище за пазухой, ближе к сердцу, а иногда хвалилась – вот у меня что есть, но только вам о таком и не мечтать. Ей бы с таким под ручку пройтись вечером, выгулять, как новые туфельки – каблучками звонко простучать и чтоб все посмотрели. Вот, мол, какого отхватила! Но нет. Колька и утра не ждёт, встанет посреди ночи и уходит – никакой силой не удержать, ни уговорами, – и не слышит он её. По-Риткиному выходит, хорошо Коля устроился – пользуется. По-Колькиному – сама хотела.

Мается Ритка. Мысли давят. Хуже других, что ли? Хотелось как у всех: сытый окатистый муженёк, карапуз румяный. Изливалась Маргаритина тоска за долгие годы одинокие: дочь Евина, а жизни не дала. Могла бы – повязала б ему руки-ноги солёными слезами, да хоть своими волосами б опутала, напустила б на него тоску, печаль, страдание.

А ему хоть бы что. Мыслимое ли дело – пленить ветер?

В ту пору снился Ритке сон. Видела младенца – маленький Коля, смуглый, синеглазый. И так хотелось ей схватить его, сокровище такое, прижать к груди и уберечь ото всех земных мытарств. Упрятать бы, как куколку, в кокон замотать, ближе к сердцу, окутать его своим теплом, как покровом.

Тайком, чтоб не видел никто, захаживала Ритка в церковь. Поблескивали в полумраке глаза её, губы торопливо, горячо перебирали слова: как умела, просила чадо. Из темноты, склонив голову, смотрела на неё печальная Мария. Не видела Ритка Её глаз – только младенца на руках, и каждая думала о своём.

Да мыслимое ли дело – просить душу, чтобы удержать тело?

Время шло – месяц, второй. Вымоталась Ритка. Днём ходит мрачнее тучи, вечером после работы бьётся она в слезах, душа как сосуд пустой, а под ночь как ни в чём не бывало опять ждёт заветного звонка в дверь: хоть на час, а властительница.

По осени поехала на выходные к родне в деревню. Видит бабка: Ритка её совсем чёрная, сохнет девка, взгляд неживой. Всё выпросила, вывела на чистую воду. И была перед ней Ритка белугой, утробно по-бабьи, всем нутром тягость изрыгала. Взялась бабка Ритку править на солёной слезе. Шепчет, шамкает, шуршат слова змеиным шорохом. К вечеру докрасна натопила баню, увела Ритку. Купала она её, парила, воду на камень лила. И снова слово за слово выговаривала.

Успокоилась Ритка, вроде как и взгляд прояснился. Вернулась домой в город. По-прежнему всё с Колей пошло. Вскоре поняла, что затяжелела. Радовалась Ритка, но ото всех таила. Месяца три скрывала, а потом



ывалила Коле. На-ка, выкуси! Сжалился, выходит, Господь, послал душу! Заперла Кольку в своей утробе – на всю жизнь теперь в связке.

Почернел Колька, похудел. Смуглый был южной тёплой бронзой, а стал совсем как грач. Бежал бы куда глаза глядят – по свету ветром. Зато Ритка спину распрямила, важная ходила, выкатив едва округлившийся живот. Косились на неё с подозрением знакомые, шептались. А она знала: Колька в утробе сидит. Её он теперь навеки и никуда не денется – до гробовой доски.

Выпивать стал Николай, издёргался – не знал, как поступить. Бросил, выходит, семя в северную землю – корни пустило. От себя не убежишь. Тянуть дальше некуда, пузо у Ритки на нос лезет. Расписались, а родню на свадьбу Коля не позвал – да никого не позвал.

В срок сын родился – Николай Николаевич – синеглазый, золотистый, далёким южным солнцем поцелованный, правда, хиленький.

И наследник отцу не в радость. К спиртному теперь старший Колька часто прикладывался, напивался крепко.

Злилась Ритка, бушевала, скандалила – не за выпивоху она замуж выходила. Кричала: «Вот ты где у меня!» – суёт кулак в лицо. Стоит Коля виноватый с опущенной головой, глаз на неё не поднимет. Слышит ли, не слышит?... А Ритка ещё больше заводится, остервенелая. Вроде её Колька. Её! А управы на него нет.

Так и жил он отстранённо – не здесь, не с ними. До ночи на работе пропадал, с мужиками болтался, в выходные мог и дома не ночевать. Чужал Колька: деваться некуда и томился – душа в клетке, клетка в теле, а тело при тёмной Ритке.

Бабка её из деревни приезжала, слонялась по квартире, опять шептала, плевала по углам, что-то подделывала. А кукиш – Колька ещё крепче выпивать стал. Сам себе не хозяин, и никто ему не хозяин.

Сыну два года исполнилось. В июле Коля в отпуск вышел и запил по-чёрному, две недели без просыху, с кем-то болтался – неизвестно где ночевал. Вернулся домой – выоралась Ритка, психанула, с сыном уехала на выходные к бабке в деревню.

А Коля-старший в городе остался. Сердцем слабел – рюмкой здоровье поправлял. В первых числах августа улучил момент – выскользнула душа вон. Не стояла на пороге, не медлила – выпорхнула вольной птицей из клетки. Вот тебе, Ритка, тело – властвуй. А самого нет его здесь – не ищи. Помнят половицы поступь, помнит постель его запах, а нет здесь как не было.

Вернулась Ритка через день, нашла его на диване. Трясла за плечо, била по щекам. Когда дошло до неё, что умер, взвыла она, выскочила на лестничную клетку – к соседям. Те скорую вызвали, милицию. Коленьку-младшего из квартиры увели, чтоб лишнего не видел.

На другой день разлетелась по городу весть о том, что Коля – Николай Иваныч – скоропостижно скончался.

Приходили к Ритке с работы, соболезнования говорили, хвалили Колю, добрым словом поминали. Слушала она, зареванная. Да, мол, он у меня такой, и кивала. Потом похоронная суeta – чтобы не хуже, чем у других. Уже на кладбище стояла, скорбно поджав губы – с важным своим горем, степенная, чинная. Зато вдова – Николая Иваныча вдова она! А беглец лежал в гробу с ухмылкой на губах в том самом костюме пижонистом – ничей!

Только остался ей трофеей – сын – Колька-младший.

Овдовев, сына растила одна. Мальчик рос слабенький. Хотя вроде ничем серьёзным и не болел, а всё равно задохлик. Тянется тонким ростком к солнцу, а без толку – корнями не укрепился. Коля рос у мамы под крылом, а сам к жизни мало приспособлен, опорой не стал.

Смотрел он нездешним взглядом – будто спрашивал: «Где я?» И время будто не его и место: распахнулись когда-то глаза эти миру, а пути ему не открылись. Да куда ему? Странненький такой, малахольный...

Школу худо-бедно окончил – восемь классов, пристроила мать его дворником к себе в строительное управление. Толку с такого работника мало, зато под присмотром. В свободные дни тащился вдоль железной дороги к мелководной речушке на окраине города. Там до ночи пропадал. Рыбалка никакая, но если высидит ерша или окушка – счастью, как у дурачка, нет предела. Часто пропадал там.

А как-то летом – двадцать лет ему было – засобирался опять на рыбалку, полез зачем-то на антресоли и грохнулся с табуретки, сильно ударился головой об угол. Сумел до тахты своей доползти, завалился, сознание потерял. К вечеру уже и ноги Колины остыли: ушиб вызвал обширное кровоизлияние в мозг.

Пришла мать с работы, смотрела на тело сына слепым взглядом и звала его, как маленького: «Колюшка! Колюшка!» Открыла окно, со двора выкрикала. Заметили соседи: Ритка как с ума сошла – видно, случилось что. Сами пришли к ней. И скорую, и труповозку вызывали.

На кладбище Ритка в могилу к сыну кидалась – закопайте, мол, вместе с Колюшкой. Вытащили. Отпаивали ее водкой.

– За что, Господи! – была Ритка и тянула руки к гробу. Ополумела от горя: нет теперь у неё ни Коли, ни Николая.

Бабка Риткина из деревни правнука хоронить приезжала, совсем уже дряхлая. Ходила-бродила опять по дому, шептала, отчитывала. До сорокового дня у Ритки жила, а после поминов к себе уехала.

Получила Ритка душу, получила и тело. Как принять чужую судьбу?

\* \* \*

Два года – третий пошёл – вновь Маргарита направлялась в старую церквушку посреди заброшенного кладбища – несла Марии камнем навалившееся безмерное горе. Лицом к лицу, – и каждая видела в обречённом взгляде свою печаль.

Губы Маргариты чуть слышно выговаривали слова. Внимая каждому, Мария молчала, была в том безмолвии неизбежность.

Маргарита призывала Господа к ответу: «Почему Ты его не спас?» Мысленно она повторяла снова и снова, а порой забывалась, и слова в голос слетали с губ. «...Спас...» – стены возвращали ей.

Излив боль, Маргарита шла домой. «Почему Ты его не спас?.. Почему Ты его не спас?! – вопрошала, поднимая глаза к бесконечному небу. – Почему Ты его не спас?» – и сглатывала спазм в горле, пряча искалеченное утратами лицо от прохожих.

И всё ведающая Мария во мраке церковных стен плакала, потому что знала то, о чём Маргарита молчала. Маслянистые капли проступали на пресветлом лице.

А наутро к Марии пришли люди, говорили, что чудо...

## Галина ЩЕКИНА

Родилась в Воронеже. Окончила экономический факультет Воронежского университета. С 1979 году живет в Вологде. Работала экономистом, библиотекарем, журналистом. Редактировала местную газету, альманах.

Автор многих книг прозы и поэзии. Публиковалась в журналах «Север», «Подъём», «Дружба народов», газетах «Литературная Россия», «Книжное обозрение» и других изданиях.

## ОЖИДАНИЕ КОЗ

Идти далеко! До неба должны мы дойти за женщиной, худенькой, ореховой, скорой на ногу. Она споро бежит по дороге, уходящей вдаль и ввысь – как бы поднимаясь к небу, бежит, не замечая свистящих мимо расстояний. Но куда мы бежим вздых, глотая горячий воздух? Мы бежим, чтобы не опоздать. Дайте же, дайте мокрую панамку, лицо горит как в кислоте...

Машинальной рысью, совсем без сознания, с екающей и колющей от бега селезенкой, нас выносит на пустынный луг. Можно упасть, продышаться и ждать.

В кривящемся от зноя воздухе заметны на зеленых травах цветные горошины женских платков. То десятки, чуть не сотни женщин сидят, сбившись, на досках, просто на взгорках – и ждут. Мы слышим их говор, обрывистый и грустный, будто проглатывают что. Они ждут и терпеливо волнуются.

– Где носит окаянную, где носит?

– Тамарка, неугомона. Она всегда так. Не то чтоб до срока довести, еще и сверх срока прихватит.

– Все тепётся.

– Говорили ей. Столько лет – ведь шестьдесят уж было, сын в городах пристроен, на кого и ломить? Нет, ломит, тепётся, грешная. Говорили!

– А не слышит.

Все подавленно молчат. Потом, взглядевшись в закат, одна опять не выдерживает и роняет:

– Загоняет бедняжек.

Над бесконечным полем начинает густеть, наливаясь тревога. В беззвучном солнце, в терпком небе ничего, ни отзвука, ни окрика.

– Моя-то прошлый раз прибилась к чужим. Домой не пришла. Полночи я бегала, обыскалась ее.

– Хлеба надо давать, давала? Не то стоишь, кричишь. Может, боится она так.

– А то нет! Всегда даю.

Опять замирают.

– Нет, бабы, я так последний год. То не дожدهшься, то не выкормишь. Хватит уж, я не Тамарка. Сил нет.

– У меня тоже нет. А что делать? Дал бы президент на двести целковых поболее, так и не надо бы водиться. А то вожусь. Уж будто все для симпатии нянчат.

– А у меня, девки, какая страсть с козлятами. Наелись чего-то, все водой ходят.

– Калганом пои, а то не гоняй, дома держи.

– Так и мать надо держать, куда она без них. А чего надоит непасенная?

– Это да.

Горестно трут платками лица, вздыхают надрывно, как перед больницей. Разговор переводится подальше от греха.

– У тебя-то малая на руках сидела – нынче с тобой уж гоняет?

– Ножками внучка пошла, легче теперь. Дочь привезет простудную, всю с кашлями, а у меня она напоена, нагрета, через три дни как новенька.

– Она у тебя дельная, другие пойдут гонить что зря да орать, а эта вичку возьмет и так ладно, солидно – «иди, иди». Понимает уже.

– Она понимает. Зимой я пошла коз доить, она от меня и заперлась в дому... Все играла с козленком, он выбегал. Я крикнула: дверь запри – она и заперла, крючочек накинула. Я стучать, она молчать. Внученька, давай скорей, стыну! Ведь в халате, в сапогах выбежала, а мороз! Молчок. Туда, сюда, кругом дома, кричать, соседи подбежали – чего ты? Выставили окно в кухне: спит моя голубка. И козленок по дивану ходит. Думала, умру...

Слова про стужу звучат по сонной жаре дико, ни на что не похоже.

– А моя спрашивает: бабушк, тарелки на это поле прилетали или куда? Я ей – на это, на это. Она опять – а женщина в красном жива после них? А как же. Я узнала потом, кто такая. Ничего, жива, только болела. У складов живет.

– Ой, хватит вам опять. Прилетали, не прилетали. Не наше дело. Себе ума не дадим, тарелки разбираем...

Возникший крик:

– Бабы! Ведут наших !

В огромном поле горошины как рукой сгребают, потом смешавшись, пятно горошин вытягиваются полосой. Идет неясный гул. Из крайнего бурьяна и кустов показывается стадо – коз страшно, невозможно много, бегут быстро – блеющий пестрый поток, громкая, тревожно-пестрая масса!

Навстречу им – другой поток! Бабы с оханьем, причитанием, зовут протяжно, ищут своих, будто даже голосят! В адской мешанине бросаются друг другу навстречу, кричат, чуть не плачут – двести баб, двести коз – столпотворение!

– Биля, Малышка, Роза, где вы? Идите скорей!

– Груша, Груша, ко мне, пропажа.

– Розка, Розка!

– Машка, Пальма, домой.

– Лада!

– Звездочка!

– Биля, Малышка!

– Марта!

Найденные Биля, Малышка и Розка с разбегу утыкаются в хозяйкины колени и спешно хватают приготовленные черные горбушки. Но не успокаиваются, а продолжают отчаянно блеять, толочься и сбивать с ног других. Вокруг них сразу водоворот! Грушу долго не могут найти.

– Груша, Груша, иди, пропажа, иди милая! Гру-у-уша!

Козьих величаний еще много, и они часто смешные, комичные, а хозяйкам это не видно, они выкрикивают на полном серьезе, до горьких слез:

- Маля, Кукла! Маля-Маля-Маля!
- Чита, Чита!
- Монетка!

И те им отвечают, кричат как ненормальные свое «бе-е» невесть от какой беды и усталости.

- Боже мой, Груши нет опять, девочки, не видали?
- Да она в первых рядах пробежала, что ты!
- Кукла, Марта, Монета!
- Нет Груши! Ох, смотри.
- Как нет, если первой бежала. Сама смотри, коль пригнали.
- Звездочка, Звездочка, вот и ты, худышка моя.

Так не коз, так детей встречают из лагеря или откуда еще похуже.

– Ну, Тамарка, истомила нас. Сколь тебя ждать надо! Смотри, они не пимши, не емши столько бежали!

– Если им перекур давать, вообще бы к утру пришли. Всех не дождешь, – тихо бросает пресловутая Тамарка, обходя козье шествие. Это крохотная старушка в больших! литых! сапогах! в жару! Она идет еще быстрее, чем наша, хозяйка Били, Малышки, Розки, и на спине несет охапку травы больше своего роста...

– Биля, Малышка, Роза, ну, вот еще хлебушек, ну, попейте в канавке. И к дому, к дому. Чего встали?

Приходится толкать растопырившуюся Розку, но она уперлась всеми четырьмя, ни с места, как ослик.

– Ну, как-нибудь. Ну, давайте, родные.

Постепенно толпа женщин и коз вытекает с поля, как каша из кастрюли. Говор становится ровней, легче, точно с души свалился ужас. Отходя от пережитого стресса, бабы громко смеются всяким пустякам, радуются жизни и вспоминают, что надо спешить. Надо дойти, загнать, обрядиться, а там еще три сериала на вечер... Даже хозяйка Груши идет, грустно качая головой, к дому. Потом вечером обойдет соседей, ища беглянку, приставшую к чужой избе.

С обочин и окраин поток распадается на узкие ручейки и расходится по улочкам. А пока он похож на исход из Египта, и поскольку голова беды замолкли, драматизм происходящего угас, все движение стало мирным, даже величественным, как народный праздник.

Женщины и козы, нашедшие друг друга родные существа, пошли рядом под высоким небом, с которого однажды слетали неведомые страшные тарелки. Это шествие космическое, библейское, необратимое. Оно не похоже на ту музыку, которая несется изо всех распахнутых окошек. Это не позывные «Санта-Барбары», которые повторяются с точностью до секунды и заменяют будильник. Это похоже на Баха, «Страсти по Матфею», на грозную ораторию, в которой проникновенно звучит тема страдания и нравственной стойкости человека. Начинаешь понимать, почему они будут ходить так годы и годы – дело не только в малых недостатках. И почему хвори надо перемогать, и сенокосить через силу, невзирая на возраст и новые порядки. Есть заведенный издавна нерушимый строй жизни. Он чувствуется без слов.

Надо побольше сена забить в сарайки, впереди лютые холода, и это правильно, весь год пекла не вынести. А пока козы в уютной темени жадно тянут теплую воду, через стенку хозяйка льет в кружки густое молоко. Это тоже и верно, и вечно.

## Поэзия

### Геннадий ИВАНОВ

Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство началось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Канда拉克шу на Кольский полуостров – там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи.

Окончил Литературный институт имени А.М. Горького. Автор пятнадцати книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии имени Федора Тютчева «Русский путь», премии имени Валентина Распутина. Живёт в Москве.

### ПОМОРСКИЕ СТРОКИ

#### В Арктике

Душа познала, что это такое,  
Когда, тоску восторгом утоля,  
Глядишь вперёд, на поле ледяное,  
На белый мир с надстройки корабля!

Порой тут есть такое ощущение,  
Что век далёк, что в вечной тишине  
Ещё не начиналось исчисление.  
О, как душа возвысилась во мне!

Ещё часы не пущены как будто,  
Ещё творенье мира предстоит.  
Ещё душа не знает о минутах –  
От бренности гнетущей не болит.

Ещё тут всё свежо и незнакомо,  
Ещё не искупались мы в крови –  
Ещё как будто можно по-другому  
Устроить мир – по правде и любви.

#### Северянка

Эти гладкие волосы белые  
Рождены беломорской волной.



Эти плечи, слегка загорелые,  
Пахнут чистой лесной тишиной.

Ты как будто совсем и не женщина –  
Молодая сосна и волна.  
Ты прохлада прозрачного вечера  
И покой безмятежного сна.

Северянка с поморского берега.  
Позови меня в лодку с собой –  
Мы с тобой не откроем Америку,  
Мы друг друга откроем с тобой.

\* \* \*

«Или в ноздри песок, или деньги в карман» –  
Так помор говорил, выходя на путину.  
Уплывал в неизвестность, во мрак и туман,  
И смотрела жена ему в спину.

Беломорский песок под ногами скрипит.  
Нынче время настало другое –  
Пароходов огромных один только вид  
В сердце чувство внушает покоя.

Но покуда есть море и есть небеса,  
Реет, реет меж ними тревога,  
Отражаясь тоской у матросов в глазах,  
Возникая в домах, у порога...

\* \* \*

Серые обветренные тони,  
Мокрый бело-пепельный песок.  
Солнце в тучах беломорских тонет,  
Бурю предвещает ветерок.

На волнах поигрывает пена,  
Всё черней и ближе небосклон.  
Тяжелее вековые стены,  
И тоскливей чайек стон.

Всё кругом готовится к отпору  
Шторма, подошедшего уже.  
И стоит маяк, как непокорный  
Воин на последнем рубеже.

## На маяке

Уютно спать на маяке.  
Но мне не спится.  
Представляю,

Как с парохода вдалеке  
Сюда глядит душа живая.

Она устала в шуме вод,  
Ей так же нужен берег встречный,  
Как мне – тот дальний пароход,  
И чтобы плыл он бесконечно.

\* \* \*

Костёр горит, и варится уха  
Из выловленной нам на ужин сёмги  
В ведре эмалированном. Дымок  
Над берегом летит от моря к лесу.  
Там крикнет ворон, чайка пролетит  
Над головами – зло и дико пискнет,  
Ей что-то бросят в волны, и она  
Безумно рада – бросится, ныряет...  
Другие подлетят, начнётся драка.

Старик помор нам за вино дал рыбу,  
К столу нас пригласил – и всё молчит:  
Туристов ушлых здесь бывает много,  
Он их не любит, хоть вино берёт.

Мы уходили утром. На лесинах,  
Давно на берег выброшенных бурей,  
Роса лежала. Холодил туман.  
Стояло солнце, но ещё не грело,  
И к лодке шёл с помощником помор.  
Мы попрощались: он кивнул – и только,  
И вышел в море сети выбирать.

## Дмитрий ЛАРИОНОВ

Родился в 1991 году в городе Кулебаки Нижегородской области. Окончил филологический факультет Нижегородского госуниверситета им. Лобачевского, занимался журналистикой и литературоведением.

Стихотворения публиковались в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Нижний Новгород», «Плавучий мост», «Урал», «Юность», а также в альманахе «Летопись» (Сербия) и в ряде антологий.

Лауреат премии Нижегородской области имени А.М. Горького. Финалист премии «Лицей», Всероссийского фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест» и национальной литературной премии «Слово».

Живет в Санкт-Петербурге.

## ХРОНОМЕТРАЖ ПУСТОЙ СЛЕЗЫ

### Амулет

На сломе ветреного дня  
*/его едва пережимая/*  
 он был за сеточкой дождя,  
 в неясных числах мая.  
 Назад к оптической петле,  
 какой простор в сетчатке глаза!

А одуванчик – амулет –  
 был ниткой солнца назван.  
 Найду кассету VHS,  
 поставлю видео вторично,  
 где дед, курмыш, весенний лес.  
 Но в кадре герметичном

иное видится кино:  
 все звезды кажутся глазами,  
 и запах яблони земной  
 едва ли осязаем.  
 Прости, пожалуйста, меня  
 за горстку слов, неровный почерк,

за то, что жизни не обнять,  
 а время – станет почвой,  
 когда закончится сезон  
*/а в общем нитку эту – на-ка/*.  
 Дорогу вымостим слезой  
 иного океана.

\* \* \*

Там вечер начинался с рокота грозы,  
и мальчик уходил в косую воду –  
через репей – за вспышкой стрекозы.  
Она не проявлялась с ходу,

а он достраивал ансамблем в голове  
такие перекрестные детали,  
что из одной сходились сразу две,  
но на глаза не попадали.

Росли пунктирами у ясного пруда,  
где небо фиолетовым бродило,  
кустарники. Но память так тверда,  
что стало яблоком кадило:

на вкус оно пожар /и ни к чему теперь/.  
За гаражом ослеп пустырь в миноре,  
и стрекоза – горит сухой репей –  
вмерзает в зрение глазное.

## Свечение

### I

<...> минувшее лето – не кадр из ч/б  
*/пластинка играет/*, а свет по тебе.  
Нам отблески множил хрусталик речной –  
оплыл на Фонтанке холодной пчелой.  
Вином и клубникой минута текла  
*/фонетику счастья снимает игла/*,  
где август негромок и в срок не угас.  
Двойная пыльца нарастала у глаз.

### II

Капрон тротуаров и льдинку на лбу  
хранит моя память. За то и люблю  
вплетение звука – недолгий мотив,  
снижение чаек, что выше молитв.  
Пусть встречу венчает живая свеча  
на каждое лето /и дождь замолчал/,  
чтоб тьма грозовая задеть не смогла  
над Финским заливом сухого крыла.

\* \* \*

Пока не спит шустровский ангел  
и осень смыслам вопреки  
*/снежок сгорает на Фонтанке/*  
ему бинтует плавники,

отправь в засвеченную память,  
что годы выбили насквозь.  
Так листья складывают пламя,  
где невозвратное сбылось.

И, стало быть, в петле от семпла  
остался кто-то вроде нас:  
но ткань распада не окрепла,  
едва ли видима для глаз.

Вобрав мгновение до фильтра  
*/все расстояния/*, скажи,  
что первый снег годится к титрам.  
И к месту прочерка нажим,

в котором свет не пустит корни.  
Сухое солнце вдалеке  
лает вслух последний дворник  
на ленинградском языке.

\* \* \*

Пока есть память */времени муляж/*  
и сигарета у вокзала –  
пустой слезы смахну хронометраж  
*/чтоб на меня не указала/*.

<...> давай летать по линиям В. О.  
без проводов; а станет мало –  
потянет в стопку вылить вещество  
и небо, полное фиалок.

Пусть сумерки ползут издалека,  
в наддомном мареве излишне  
*/смотри/* мигают звезды коньяка  
под ДДТ и Joy Division.

А если неба... нет в моих глазах  
*/одни цветы в глубокой саже/*,  
сбежит – и образуется – слеза.  
Перемигнув, тебя укажет.

## Наташа КИНУГАВА

Наташа Кинугава (Наталья Баева) родилась в Краснодарском крае. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и Литературный институт имени А. М. Горького. Редактор отдела прозы и поэзии журнала «Москва».

Автор поэтических сборников «Чувство пути» и «Нетвердый переплет». Публиковалась в журналах «Москва», «Наш современник», «Латгальский поэтический вестник» (Латвия), в альманахах «Русский смех», «Артбухта», «Русское эхо», в антологии «День поэзии – XXI век».

Член Союза писателей России. Живет в Москве.

## ВЕТОЧКА

\* \* \*

Что делать с памятью?  
Как следует помять.  
С корнями вырвать то,  
Чего нельзя понять.  
А корни просушить, и про-  
толочь, и растереть,  
глаза закрыть на то,  
на что, увы, нельзя смотреть.  
И придавить забвенья валуном...  
Но стучает тихонько метроном  
И отражается в росинках поутру  
Всё то, что было нам не по нутру.

\* \* \*

Не настолько душа опустела,  
чтоб настойками смазывать тело,  
не такая уж синяя грусть,  
чтоб на всё говорить «ну и пусть».  
И не так уж любовь далеко,  
Чтобы было на сердце легко,  
Чтобы было прохладно губам,  
Чтобы ток не бежал по столбам,  
Чтобы птичка на ветке не пела,  
Чтоб на поезд я свой не успела....

\* \* \*

Заворожённые, уходят  
Стога за дальние поля,  
И месяц рожками поводит,  
Лучами звёзды шевеля.



Блестит соломинка на пашне,  
И свет мерцает неземной.  
Уходит поезд – день вчерашний,  
Свой возглашая позывной:

Ту-ту-у-у – и снова затихает  
Седая ночь в седой земле,  
И на соломинке играет  
Царь-месяц в золотом седле.

### Маленькое и большое

Замахала веточка – встречает рассвет,  
(Что-то получается, а что-то нет)  
У неё на солнышке листики растут  
Листик в отдалении, листик тут.  
Треснули все почечки, брызнул свет,  
Стало видно, сколько их, этих вет-  
Веточек с кленовою малышнёй.  
Машет ветка весело всей клешнёй.  
Что-то получается, но не всё.  
Сколько там букашечек у Басё?  
Вот у нас поэзия – о большом.  
В нашей травке зябко нам голышом.  
Величаво вместе мы встречаем рассвет.  
У кого-то мелко всё. А у нас вот нет.

\* \* \*

Если из моря  
                                вытащить душу,  
Что она будет  
                                делать на суше?  
Чем ей питаться?  
                                Кого ей кормить?  
Только – морскую удерживать нить!

\* \* \*

Устала мама. Унесла её волна.  
И целый мир ушёл. И целая война.  
И лилии плетутся в волосах.  
И вертится воронка в небесах.

## Из будущих книг

### Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Родился в 1947 году в Москве, детство и юность прожил в посёлке Мотовилиха в Перми. В 1970 году окончил филологический факультет Пермского университета, служил в армии в Забайкалье, работал учителем истории в разных школах. Защитил кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–XVII веков.

Автор романов, а также историко-документальных книг. Лауреат премий «Национальный бестселлер» (2001, 2016) и «Большая книга» (2009, 2016, 2021). Произведения переведены на немецкий, итальянский, французский, польский, болгарский, сербский, испанский языки.

Живет в Москве и Санкт-Петербурге.

### ПЕВЧАЯ ПТАШКА И ТРИ ЕЕ МУЖА

Главы из книги

*Не могу сказать, что моя книга, несколько глав из которой я предлагаю читателям «Нижнего Новгорода», готовится к печати – я только что ее закончил и пока еще никому не показывал, кроме жены, дочери и сына. Это документальная, без вымысла и сочиненных диалогов, но с некоторыми оговоренными допущениями, повесть о моей двоюродной бабушке, младшей сестре моего деда, довольно известной в свое время петербургской эстрадной певице и танцовщице 1910-х гг. Бэле Георгиевне Казарозе-Шениевой. Она играла в театре «Дом интермедий» у Мейерхольда, пела песни на стихи Михаила Кузмина и Надежды Тэффи. Первым ее мужем был инженер Виктор Шнырев, один из строителей единственной в дореволюционной России электрифицированной железной дороги, вторым – замечательный художник Александр Яковлев, в 1917 году уехавший в Китай и умерший в Париже, третьим – Николай Волков, театровед и автор либретто к популярным советским балетам «Бахчисарайский фонтан», «Спартак» и др. Моя героиня вскрыла себе вены в 1929 году, в возрасте 35 лет. Четверть века назад я сделал ее прототипом героини моего романа «Казароза», но подлинная, яркая и не очень счастливая жизнь этой женщины интереснее любых ее литературных преломлений.*

Л. Ю.

### 1

Яковлев ехал в Пекин вагоном II класса. На Транссибирской магистрали и КВЖД они были не такие, как в европейской России, более комфортные, с просторными купе на два спальных места, с тремя уборными на вагон и столиками в коридоре для чтения и игры в шахматы. В Чите поезд свернул на юг, пересек китайскую границу возле станции Маньчжурия и меньше чем через двое суток прибыл в Пекин. Здесь Яковлева с его верительными грамотами от Академии художеств

поселили в «посольском доме» на территории посольства. Оно располагалось на респектабельной Лигейшн-стрит и представляло собой роскошную усадьбу с гравийными дорожками среди газонов и клумб, изящными скамейками, беседками в форме пагод под сенью пальм, туй и кипарисов, теннисным кортом и находившимися в главном здании рабочими кабинетами с прохладной даже в летнюю жару кожаной мебелью.

Скоро Яковлев познакомился со всеми видными членами русской колонии. Во взятом напрокат фраке или смокинге он посещал официальные обеды и приемы в других дипломатических миссиях, но чаще бывал в посольствах той всемирной империи, чье подданство они с Шухаевым и Казарозой приняли на Галерной. Самое сильное его увлечение этих месяцев – Пекинская опера, и тут доктор Дапертутто понял бы своего Арлекина лучше многих. В то время, как заметил Зноско-Боровский, он тоже обратил взгляд на Восток:

Мейерхольд приходил к сознательной условности и символизму восточного театра, китайского и японского. Там, чтобы изобразить гору, ставят два стула, один на другой, лодку – четыре стула рядом, спинками к публике, и «бутафор» все время присутствует на сцене, но публика не замечает его, поглощенная сущностью разыгрываемого представления. Есть поэтическая и глубокая символика в том, как умирающий философ ложится на землю и накрывается простыней и, умерев, подымается по лестнице, возглашая: «Теперь я выше холода земли», – или в том, что опускается красный флаг в тот момент, когда меч рубит голову.

Яковлев, по его признанию, понимал, что экзотика «дает слишком большую, слишком богатую пищу с точки зрения материала для картины, настолько богатую, что теряешь серьезность глубокого анализа, начинаешь невольно делаться иллюстратором». Тем не менее как портретист и физиогномист он сумел многое сказать о китайском театре, не впадая в этнографизм и не изменяя своей музе: на лучших его полотнах этого периода – «Мужская ложа Пекинской оперы» и «Женская ложа Пекинской оперы» – изображены не актеры на сцене, чья мимика отчасти скрыта под маской из грима, а зрители с написанными на их лицах переживаниями.

Китаист Василий Алексеев высоко ценил китайские работы Яковлева, но отмечал, что нередко он дорисовывает такие вещи, каких в действительности не было и быть не могло в изображаемом им месте. В этом суть его мастерства: он отступал от действительности не во имя идеи, как Рерих, а ради более гармоничной композиции, соразмерности частей.

Летом 1918 года по первой железной дороге, построенной китайцами без помощи европейских инженеров, он прибыл в Калган, торговый город на границе Внутренней и Внешней Монголии, в двухстах верст от Пекина. С забайкальским казаком из бурят, ставшим его гидом и переводчиком, Яковлев добрался до ближайшего к Калгану крупного буддийского монастыря на озере Долон-Нор, а затем два месяца ездил по степи, ночевал в юртах. До него ни один европейский художник не пытался запечатлеть кочевников-буддистов в их родных местах, понять их психологию, их отношение к миру. «В Монголии – ряд акварельных набросков, впечатлений, взятых с седла лошади», – писал он Кардовскому, но рисунки лам и «вождей монгольского народа», как назван один из его графических листов, свидетельствуют, что «с седла» – это образное выражение.

Николай Рерих, проезжая по тому же культурному ареалу, рисовал космически-пустынные пейзажи Центральной Азии, апокалиптические закаты, ступы, одинокие храмы среди скал, мифологических, как Гэсэр,

или условно-поэтических, как «мать Чингисхана», эпических героев, а Яковлев – современников. Никакой архитектуры, минимум природы. Главное – лица. Монголы для него, как и китайцы, и японцы, не представители азиатских наций, но такие же люди, как русские и французы, интересные своей человеческой сущностью, а не набором случайно доставшихся им национальных признаков. Тит Лукреций Кар в поэме «О природе вещей» впервые, наверное, в мировой литературе сказал, что различия между народами преувеличены, главное желание у всех одно – растить детей и «кормить их лучшей пищей». Эти слова Яковлев мог бы взять эпиграфом к своей ориентальной живописи.

Между тем деньги кончились, а обещанная стипендия так и не поступила: в апреле 1918 года Академия художеств была упразднена декретом правительства РСФСР вместе с Министерством двора, которому она подчинялась. Яковлеву пришлось влезть в долги. «Очень трудный первый год в Пекине без денег и заработка, – вспоминал он потом в письме Кардовскому. – Работал много, жизнь часто очень одинокая. Особенно морально. Отношение ко мне русской колонии, говорить нечего, было исключительно хорошее, но трудно рассчитывать встретить на Дальнем Востоке тонких по художественному развитию людей».

Обо всем этом Яковлев мог писать Казарозе, а еще – о том, что скучает по ней. Так бывает с мужчинами, когда они оказываются в тюрьме, в казарме, на чужбине, и остывшая вроде бы любовь к жене вспыхивает с новой силой. Письма мужа до нее доходили, Софья Петровна рассказывала о них Бенуа. После революции выяснилось, что самый прочный бастион Российской империи – почта: она продолжала работать, когда обрушились другие государственные институты. Даже в годы Гражданской войны, через линии фронтов, письма каким-то чудом доставлялись адресатам, а в начале 1918 года масштабные боевые действия в Сибири еще не велись. Две-три недели – достаточный срок, чтобы письмо из Китая по железной дороге добралось до Петрограда. Посольские знакомые Яковлева могли ему в этом помочь.

В письмах он давал себе больше свободы, чем в устной речи. Его дневники, если и были, не сохранились, но у него, как потом обнаружится, была потребность остановить свои пекинские мгновения не только в красках. Может быть, он тогда писал жене что-то из того, о чем напишет в предисловии к изданному двумя годами позже, в Париже, альбому его восточных работ:

Я поднялся на стену возле башни Ченг Мен и оттуда созерцаю город. На севере простирается городище Манчу, там, в таинственном холоде, растушеванной краской проступают пурпурные стены и золотые крыши дворцов. Над китайским городом сплетенье бесчисленных легких дымов, рассеченных и поделенных на куски лучами света... Это дыхание города, пробужденного утром. Солнце рождает в нем звуки, которые трепещущими движениями стремятся заполнить пространство, прорваться в толщу теней. Шумы, поначалу едва слышные, вырастают, наливаются силой. Теперь я различаю звон медных тарелок бродячего брадобрея, пронзающие недвижный воздух взвизги точильного камня на ободу остроум лезвия ножа; крик носильщика долетает в ритме жалобного заклинания. И все эти звуки в набирающих яркость желтых и синих лучах рассвета сплетаются меж собой, сливаются в многоголосые хоры\*.

За окнами нетопленной квартиры на Васильевском острове открывались картины куда менее волшебные.

\* Перевод Бориса Носика.

## 2

В начале марта 1918 года Казароза очутилась в Екатеринодаре, но сомнительно, что это была конечная цель ее путешествия. Несколько суток она ехала в грязной теплушке или в поезде, в котором и зеленые, и желтые, и синие вагоны были одинаково набиты беженцами, мешочниками, возвращающимися с фронта солдатами. Одна, с младенцем на руках. Куда?

Первое, что приходит на ум – Крым, Судак. Она рвалась в те места, где полтора года назад они с Яковлевым были счастливы: к близкому весеннему теплу, морю, татарской баранине, ранней черешне. Фон этих упований – еще одна из «Александрийских песен» Кузмина с их постоянным упоминанием «запаха вербены» как приметы соблазна:

Вечерний сумрак над теплым морем,  
огни маяков на потемневшем небе,  
запах вербены при конце пира,  
свежее утро после долгих бдений,  
прогулка в аллеях весеннего сада,  
крики и смех купающихся женщин,  
священные павлины у храма Юноны,  
продавцы фиалок, гранат и лимонов,  
воркуют голуби, светит солнце...

Одно смущает в этой версии – путь в Крым проходил через Курск – Харьков, а не через Екатеринодар. Зато всего в сотне с небольшим верст от столицы Кубани находился Новороссийск. На Балтике продолжалась война, и после того, как в декабре 1916 года было заключено русско-германо-турецкое перемирие на Черном море, морское сообщение с Дальним Востоком велось через Суэцкий канал и черноморские порты. Пароход «Шилка», который через год увезет Тэффи из Новороссийска в Стамбул, пришел сюда из Владивостока и ушел обратно по тому же маршруту.

Напрашивается мысль, что Казароза планировала плыть во Владивосток, чтобы оттуда поездом добираться в Пекин или в ближайший к Пекину портовый Тяньцзин. Яковлев мог позвать ее с сыном к себе и указал пусть долгий, но наиболее безопасный путь в Китай. Особенно если при ней была крупная сумма денег или драгоценности Софьи Петровны. В Новороссийске тогда начинали селиться беженцы из Петрограда, среди них были жена и дочери Мейерхольда. С кем-то из них Казароза могла списаться заранее, они обещали приютить ее до прибытия парохода или помочь найти квартиру, но проехать дальше Екатеринодара ей не удалось: 22 февраля 1918 года Добровольческая армия Корнилова выступила из Ростова на Кубань. Начался знаменитый «Ледяной поход», и первые недели Гражданской войны задали уровень ее жестокости на годы вперед: Корнилов приказал не брать пленных, объявив, что «ответственность за этот приказ перед Богом и русским народом» он берет на себя, а через месяц его вырытое из могилы и растерзанное толпой тело сожгут, по одним известиям, на костре из железнодорожных шпал, по другим – на городской скотобойне, обложив соломой.

Екатеринодар, к которому двигались добровольцы, оказался на осадном положении. В окрестностях шли бои, поезда не ходили. Казароза прочно застряла в городе. Она предполагала, что какое-то время

придется прожить в Екатеринодаре, и перед отъездом предупредила Софью Петровну, родителей, Яковлева, еще кого-то, чтобы писали ей сюда «до востребования». Подыскав жилье, пришла на почту, попросила выдать адресованную ей корреспонденцию и назвала сразу все три своих фамилии – театральную, девичью и по мужу.

Это была ее ошибка. В охваченном шпиономанией осажденном городе человек с тремя фамилиями казался фигурой подозрительной, к тому же одно письмо, как она сама говорила, было «с китайской маркой». Почтовые служащие донесли в ЧК, ее арестовали, а то, как она повела себя на допросе, и «путаница с документами» вызвали еще большие подозрения. В результате ее посадили в тюрьму вместе с сыном. Оставить его ей было не на кого.

Обращались с ней хорошо. Для порядка угрожали расстрелом, тем не менее предложили вызвать из Петрограда родственников, могущих удостоверить ее личность. Имя своего спасителя она не называла, но скорее всего им стал двоюродный брат Владимир Шеншев, служивший в Наркомате иностранных дел. Должно быть, чекисты связались с ним по телеграфу, однако поезда не ходили, приехать он смог лишь в начале апреля, когда после неудачного штурма Екатеринодара и гибели Корнилова добровольцы ушли на Дон.

Казароза ненадолго вернулась в Петроград, а затем с сыном уехала в Москву. Здесь тогда жил недавно вернувшийся с фронта Сергей Ауслендер, ему она и поведала свою одиссею – его очерк «Розовый домик. Страницы из дневника» появился в московской газете «Жизнь»\*.

Через десять лет, редактируя его для сборника воспоминаний о Казарозе, он благоразумно заменил арестовавших ее красных на белых, вычеркнул упоминание о Екатеринодаре, где весной 1918 года никаких белых не было, и уклончиво обозначил место действия как «где-то на юге».

Казароза сама разыскала Ауслендера в Москве, хотя они никогда не были особенно дружны. Писать в газете о причине ее внезапного к нему интереса он не захотел, хотя и упомянул, что она советовалась с ним относительно поездки в Китай, к мужу. Почему с ним?

Скоро Ауслендер окажется в Омске, у Колчака, но уже тогда от общих знакомых Казароза могла узнать, что новая власть ему не нравится, он собирается в Сибирь, где ожидаются большие перемены. Похоже, она думала наприсотиться к нему в попутчицы и проехать с ним часть пути до Владивостока.

Телефон Ауслендера ей дала будущий комиссар Волжской флотилии Лариса Рейснер. Люди их круга, будучи политическими врагами, до последнего старались не рвать личных отношений. Казароза позвонила старому знакомому, напомнила, как они встретились в Москве, когда она с Тэффи приезжала в театр Незлобина на премьеру «Короля Дагобера», и как он в кафе угощал ее сладкими пирожками, сказала, что вышла замуж, у нее сын, который «еще ничего не говорит, такой игрушечный», и позвала в гости. Ауслендер спросил адрес, она засмеялась: «Адреса не знаю, в Москве такие смешные улицы. Кажется, Ситцевый Овражек. Посмотрите по телефонной книге адрес Перепеловых».

Он посмотрел и на другой день в назначенный час явился на Сивцев Вражек. Казарозы дома не оказалось. Нянька сказала, что ему велено подождать, хозяйка скоро вернется.

---

\* № 6 от 28 (15) апреля 1918 г.



Дальше – так:

Вхожу в комнату, по случаю уплотнения принявшую неопределенный вид – не то гостиная, не то столовая, а впрочем, стоит детская кроватка (позже Ауслендер уточнит, что это была поставленная на два стула большая корзина. – Л. Ю.). Заглядываю в нее – спит толстячок. Видимо, это и есть игрушечный сын Казарозы. Сажу тихо, чтобы не разбудить его. Осматриваюсь. Комната чужая, случайная, но есть несколько вещичек: книжка стихов в цветном матерчатом переплете, картинка – коричневое лицо на яростно-желтом фоне (неизвестно, кого здесь нарисовал Яковлев, но узнается его любимая сангина. – Л. Ю.), забытая на столе камешка с черной фигуркой говорят о жизни той, прошлой, а рядом уже признаки настоящего – резиновая куколка, две книги какого-то профессора о воспитании детей дошкольного возраста. Казароза учится воспитывать своего Чико – нянька сказала, что зовут его Шурик, прозвище Чико.

Наконец он просыпается. После сна мое присутствие встречает с неудовольствием, пробует даже зареветь, но сменяет гнев на милость и, когда нянька уходит за молоком, благосклонно доверяет свою особу моему попечению. Мы развлекаемся как можем – разыгрываем какую-то эфиопскую гамму на пианино, смотримся в ручное, с извилистой ручкой, зеркало, оказываем внимание телефону. Чико уже смеется, горделиво показывая свои шесть зубов.

И вот будто вихрь пронесется – хлопают двери, появляется временная хозяйка этой комнаты, все такая же невероятно маленькая, быстрая в словах и движениях, в каком-то желтеньком колпачке, не то негретенка с островов Таити, не то лукавый гамэн с парижских бульваров. Из льющихся безудержным потоком слов, прерываемых то вопросом, как достать продовольственные карточки, то восклицанием об изумительных платках, выставленных на Кузнецком, то поцелуями Чико, вырисовывается постепенно ход событий...

После рассказа о ее екатеринодарских приключениях Ауслендер переходит к собственным чувствам:

Смотрю на эту маленькую, на вид такую хрупкую женщину времен великой русской революции и думаю: откуда у нее такая беззаботность, выносливость ко всем грубостям жестокой нашей жизни, откуда такая цепкость к жизни в этих смуглых пальчиках? Не знаю, улыбаться или плакать, так улыбочиво-радостна вся эта милая чепуха, так трогательна.

Как во время великого потопа поплыли наши дома, пуховые подушки, тяжелые книжные шкафы. А многое пошло ко дну, погибло, и сами мы на утлых челноках уже не пытаемся бороться со стихией, карающей нас за далекие грехи наших прадедов, и только удивляемся, когда в этом водовороте случайно встречаем друга или просто знакомого: «А, вы еще тоже живы!»

Среди обломков нашего благополучия всплыл розовый домик наших романтических мечтаний и стремлений к экзотике. Розовый домик – легкий, воздушный, его потопить труднее, чем тяжелую баржу со съестными припасами, и если когда-нибудь историку наших дней попадутся безыскусственные страницы моего дневника, он еще раз отметит, какая необычайно-странная была жизнь в эти беспримерно яростные, грозные дни.

Казароза уложила сына спать и, баюкая его, вместо колыбельной спела ему одну из «Александрийских песен» Кузмина, тоже очень подходящую к очередному моменту ее жизни:

Адониса Киприда ищет –  
по берегу моря рыщет,  
как львица.

Киприда богиня утомилась –  
у моря спать она ложилась...

Через десять лет, уже после ее смерти, Ауслендер припомнит другой свой визит на Сивцев Вражек:

Побледневшая, тихая, Бэлочка сказала «болен» и повела меня к кровати. Ребенок лежал с завязанными глазами, у побелевших губ пызырьки пены. При мне же пришел доктор. Он, покашливая, долго писал рецепт, потом давал, отводя глаза в сторону, наставления растеряной Бэлочке. Она не плакала, не умоляла, не задавала лишних вопросов. Деловито отсчитывала на пальцах: «Припарки, через час капли, вечером микстуру, вызвать сиделку, если будет совсем плохо» – на секунду поперхнулась, но тут же оправилась – «впрыскивать, да, я умею, только вот шприц достать». Доктор взглянул на нее удивленно, но не сказал ни слова бесполезных утешений, только с какой-то особой теплотой пожал ей руку. Она неслышно ходила по комнате, давала распоряжения заплаканной няньке, разжигала примус. Тогда она выходила мальчика...

Чико поправился, но момент был упущен – в мае 1918 года восстал Чехословацкий корпус, на Урале и в Сибири тоже начиналась Гражданская война. Попробовать проехать в Китай, да еще со слабым после болезни годовалым ребенком, Казароза не рискнула.

Той же осенью Тэффи из Петрограда приехала в Москву. Здесь она встретила Казарозу, еще не успевшую вернуться домой, и через десять лет, в Париже, написала о своей «таитянке» в «Воспоминаниях»:

В эти памятные дни в ней неожиданно проявилась странная способность: она знала, что у кого есть и кому что нужно. Приходила, смотрела черными вдохновенными глазами куда-то в пространство и говорила:

– В Кривоарбатском переулке, на углу, в суровской лавке, осталось еще полтора аршина батиста. Вам непременно нужно его купить.

– Да мне не нужно.

– Нет, нужно. Через месяц, когда вы вернетесь, уж нигде ничего не останется. В другой раз прибежала запыхавшаяся:

– Вам нужно сейчас же сшить бархатное платье!

– ?

– Вы сами знаете, что это вам необходимо. На углу, в москательной, хозяйка продает кусок занавески. Только что содрала, совсем свежая, прямо с гвоздями. Выйдет чудесное вечернее платье. Вам необходимо. А такой случай уж никогда не представится.

Лицо серьезное, почти трагическое.

Ужасно не люблю слово «никогда». Если бы мне сказали, что у меня, например, никогда не будет болеть голова, я б и то, наверное, испугалась.

Покорила Казарозе, купила роскошный лоскут с семью гвоздями.

### 3

В июле 1918 года большевики закрыли все буржуазные газеты. Закончила свое недолгое существование и «Жизнь», в редакции которой служил Ауслендер. В августе он перешел линию фронта под Казанью и очутился на территории, подконтрольной эсеро-меньшевистскому правительству КОМУЧа (Комитет членов Учредительного собрания), с Волги заехал в Семипалатинск, где жила его мать, сестра Кузмина, затем обосновался в Омске – заведовал литературным и театральным отделом в кадетской «Сибирской речи». Здесь из-под его пера вышла и была

издана 100-тысячным тиражом самая известная на Востоке России пропагандистская брошюра «Верховный правитель адмирал А.В. Колчак».

Не только журналист, но писатель, автор шести книг прозы, Ауслендер знал силу остановленного мгновения. Лирический репортаж о встрече с Казарозой он представил как «страницы из дневника», хотя вряд ли такой дневник существовал, и биографию Колчака тоже начал со своей якобы дневниковой записи о первой с ним встрече:

Когда легкой, но какой-то особой, точной, походкой он прошел по унылому коридору Ставки Верховного Главнокомандующего, слегка наклонившись к листку телеграммы, которую читал, кто-то сказал: «Вот Адмирал». И в ту же секунду, когда я увидел этот острый, четкий, тонко вырезанный профиль, у меня явилась мысль: почему так знакомо это лицо, где я видел этот гордый, с горбинкой, нос, этот твердый овал бритого подбородка, эти тонкие губы, эти глаза, то вспыхивающие, то потухающие под тяжелыми веками. Да, на римских камнях (у Казарозы на столе Ауслендер тоже заметил «камею». – Л. Ю.) искусный художник запечатлевал образ воина и героя, черты человека, выдавшего смерть совсем близко, познавшего радость победы и горечь поражений, выдавшего и далекие страны, и пышные триумфы, и ужасные картины беспощадной битвы, умудренного суровой мудростью, неустанного мечтателя и закаленного бойца.

В 1990-х на букинистическом аукционе «Независимой газеты» всплыл Тит Лукреций Кар, «О природе вещей», с экслибрисом Колчака. Наверняка это была не единственная в его библиотеке книга античного автора. Обращение к образам Древнего Рима в связи с ним самим ему, должно быть, импонировало, но под пером Ауслендера адмирал с его опытом противостояния морской стихии, применяемым теперь в борьбе со стихией революции, делается похож не столько на римского полководца или проконсула, сколько на романтических капитанов Гумилева, с которым автор вместе работал в редакции «Аполлона»:

Пусть безумствует море и хлещет,  
Гребни волн поднялись в небеса,  
Ни один пред грозой не трепещет,  
Ни один не свернет паруса.

В той и другой ипостаси герой брошюры мало напоминал себя настоящего. Нервный, подверженный депрессии, сильно зависимый от окружения, бросающийся из крайности в крайность, по характеру он совершенно не подходил на роль диктатора, Колчак был в Сибири таким же чужаком, как его петербургский апологет, ценитель Мейерхольда и песенок Кузмина в исполнении Казарозы.

Ауслендер сопровождал Колчака в поездках на фронт и в турне по сибирским и уральским городам. Говорили, будто он писал ему речи для публичных выступлений, но скорее всего адмирал просто использовал в своих речах некоторые формулировки из его газетных статей. Самые яркие из них две – о диктатуре как учреждении сугубо республиканском и о том, что он принял власть не из честолюбия, а «как Крест».

Один из тех, кто ездил с Ауслендером в адмиральском поезде, описал его как «изможденного, чуть горбившегося, державшего папиросу в длинных пальцах, похожих на пальцы наркомана, с болезненной и ласковой улыбкой, с тихой поступью и тихим голосом человека, проходившего сквозь строй страшной эпохи бледной тенью»\*. При всем

---

\* Лев Арнольдов (1894–1946), товарищ министра в правительстве Колчака, китаист, редактор эмигрантской газеты «Шанхайская заря».

том он не побоялся в колчаковской столице 1919 года прочесть на литературном вечере «Двенадцать» Блока.

Ауслендер входил во фронтовую группу журналистов и покинул Омск, когда в него уже входили части 5-й армии. Вместе с публицистом Всеволодом Н. Ивановым они на пролетке успели проскочить по мосту через Иртыш в последние минуты перед тем, как мост был взорван. До Томска он добрался с обмороженными ногами, ходить не мог, поэтому не уехал в Забайкалье, к атаману Семенову, и далее в Китай, где имел бы шанс встретиться с Яковлевым, а затаился на нелегальной квартире.

Скрывавшийся в Омске редактор «Сибирской речи» Валентин Жардецкий в конце концов был схвачен и убит, но Ауслендер сумел избежать его участи. Вылечив ноги, он сам изготовил себе фальшивый документ на имя некоего Гришина и под этой фамилией устроился воспитателем в школу-коммуну, как тогда назывались многочисленные в эпоху беспризорничества детские дома, в отдаленном селе Томской губернии. Ни мать и сестры, ни Кузмин, ни тем более Казароза ничего о нем не знали и считали его погибшим.

Мейерхольд в это время тоже прошел на волосок от смерти.

Он без колебаний поддержал большевиков, в 1918 году вступил в РКП(б), возглавил театральный отдел Наркомпроса и, в частности, нашел критерий, по которому следует оценивать работу режиссера: если спектакль действительно революционный, он должен расколоть зрительный зал на две враждебные части и вызвать между ними ту же классовую борьбу, какая идет сейчас по всей стране. Этот экстравагантный тезис – вариант его давнишней идеи о необходимости стереть границу между жизнью и сценой, заставить зрителей участвовать в спектакле наравне с актерами, но, будучи перенесена в политику, она позволяла считать пролитую кровь клюквенным соком и кормить голодных хлебами из папье-маше. Не говоря уж о том, что выдвинутый им тезис можно рассматривать как провокацию с целью выявить в публике скрытых контрреволюционеров. По ходу этих игрищ оффенбаховский доктор Дапертутто, похититель отражений, превратился в своего куда более зловещего гофмановского прародителя, способного взглядом отворить вену на чужой руке. Подобные заявления не прошли ему даром.

Недолгий триумф советской власти в Крыму в мае 1919 года подавался в советских газетах как окончательный и бесповоротный, и Мейерхольд со спокойной душой поехал в Ялту лечить открывшийся у него ревматизм плечевого сустава. Никто из его соратников не предвидел, что в ближайшие месяцы Вооруженные силы Юга России (ВСЮР) под командованием Деникина займут Северный Кавказ, почти всю Украину и начнут наступление на Москву.

Пока он грел на пляже большое плечо, деникинцы в считанные дни захватили Крым. На рыбацкой фелюге ему удалось переправиться в Новороссийск, где давно жила с мужем его старшая дочь, а жена с двумя младшими у нее гостили, но белые пришли и туда. Мейерхольд старался не привлекать к себе внимания, но постоянно сидеть дома не мог, и однажды его узнал на улице бежавший из Петрограда адвокат и драматург Бобрищев-Пушкин, чью патриотическую композицию «Торжество держав» он в 1914 году поставил в Мариинском театре. Возмущенный Бобрищев-Пушкин через городскую газету задал военному коменданту риторический вопрос: «Что думают власти об охране населения от большевистской заразы, когда по нашим улицам свободно

разгуливает большевистский эмиссар, небезызвестный левый режиссер Всеволод Мейерхольд?»

Советские мейерхольдоведы называли Бобрищева-Пушкина «махровым реакционером» и «монархистом», хотя его отец защищал на судебных процессах революционеров-народников, а сам он – типичный либерал, расследовал обстоятельства керченского погрома 1907 года, активно поддерживал Бейлиса как жертву государственного антисемитизма.

Мейерхольда посадили в тюрьму, мягкость режима которой он сможет оценить через двадцать лет, когда окажется на Лубянке. В камере он ставил с товарищами по несчастью сцены из «Бориса Годунова», начальник тюрьмы получил от него список книг, нужных ему для работы над задуманной статьей по теории театра, а через полтора месяца, стараниями городской интеллигенции, его и вовсе выпустили на поруки под денежный залог, правда, с предписанием ежедневно отмечаться в городской комендатуре. Местные власти не знали, что с ним делать, следственное дело отослали в Ростов, в штаб ВСЮР, и там Деникин собственноручно наложил на него резолюцию: «Судить». Фактически это предрешало смертный приговор, но и теперь Мейерхольда не арестовали, позволив ему жить в доме у дочери и зятя. По совету добрых людей он подал на имя Деникина прошение о том, чтобы его дело рассматривалось не новороссийским военно-полевым судом, о котором известно было, что он «свиrepствует», а ростовским, более мягким. Похлопотать об этом Мейерхольд просил жившего тогда в Ростове композитора Михаила Гнесина, но если были другие ходатаи, среди них мог оказаться Зноско-Боровский, тоже временный ростовчанин. Автор «Обращенного принца» вступил в Добровольческую армию еще в то время, когда Казароза сидела в екатеринодарской тюрьме, но в боях не участвовал, служил в ОСВАГе\*, писал статьи для влиятельного донского еженедельника «Радуга».

Ответа на прошение не последовало. Красная Армия приближалась к Ростову, деникинским следователям стало не до Мейерхольда. На всякий случай он жил не с семьей, а у друзей, потом – в каком-то, по свидетельству его племянника, «красно-зеленом» партизанском отряде и вернулся в город уже после «новороссийской катастрофы». У белых не хватило пароходов, чтобы эвакуировать армию в Крым, сотни людей погибли в давке у причалов, десятки покончили с собой. Тысячи казаков и солдат вынуждены были сдать красным.

Двумя годами раньше Наркомпрос в лице Мейерхольда выпустил воззвание к театральным деятелям Советской России. «Форма массового театра, – провозглашалось в нем, – не придуманная форма, а органическая потребность, лежащая глубоко в сознании масс. Об этом свидетельствуют библейские празднества, западноевропейские карнавалы, народные хороводы и игры, праздники Великой Французской революции, многочисленные шествия ликующей толпы. Только благодаря гнету правящих каст, эта потребность не могла проявиться в тех грандиозных формах, которые возможны в условиях освобожденной рабочим классом жизни».

В реальности эти «грандиозные формы» театра масс быстро превратились в тяготеющие к военному параду постановочные акции. Мейер-

---

\* Осведомительное агентство – информационно-пропагандистский орган ВСЮР.



хольд отлично понимал, что от него требуется, когда в Новороссийске ему поручили организовать «художественную часть» праздника 1 Мая и выделили для этого девять автомобилей. Он превратил их в сценические площадки, на которых артисты-любители изображали важнейшие, с точки зрения победителей в Гражданской войне, события мировой истории, но число узловых точек исторического процесса было ограничено количеством имеющихся в его распоряжении грузовиков. После митинга, декорированные кумачом, под гром духового оркестра, они вереницей выехали из ворот городского сада и медленно покатали по центральной улице Советов, бывшей Серебряковской.

Сохранился краткий сценарий этого действия:

*Автомобиль № 1.* Французская революция 1789 года. Артисты показывают сцены выборов в постоянный комитет городского самоуправления Парижа.

*Автомобиль № 2.* Французская революция 1848 года. Артисты представляют буржуазных революционеров-демократов и рабочий класс – участников буржуазно-демократической революции во Франции.

*Автомобиль № 3.* Парижская коммуна 1871 года. Артисты представляют правительство рабочего класса Парижа.

*Автомобиль № 4.* Русская революция 1905 года. Артисты показывают первые Советы рабочих депутатов и участников Новороссийской республики.

*Автомобиль № 5.* Мартовская революция 1917 года. Артисты представляют массы трудового народа, свергшие самодержавие. На плакатах надписи: «Долой царя!», «Долой войну!»

*Автомобиль № 6.* Октябрьская революция 1917 года. Артисты представляют рабочий класс, беднейшее крестьянство, под руководством большевиков пришедших к победе Великой Октябрьской социалистической революции.

*Автомобиль № 7.* Зеленая армия. Артисты представляют красных партизан.

*Автомобиль № 8.* Красная Армия и пролетарии России за работой. Артисты представляют красноармейцев, военачальников, рабочих, крестьян.

*Автомобиль № 9.* III Коммунистический Интернационал. Артисты изображают представителей коммунистических партий разных стран, объединенных под руководством В.И. Ленина в III Коммунистический Интернационал.

Если, как можно допустить, в столицы доходили противоречивые известия о поведении Мейерхольда в тылу у белых, то своей агитационно-просветительской деятельностью в Новороссийске он себя реабилитировал. В конце лета Луначарский вызвал его в Москву.

#### 4

В ноябре или декабре 1918 года полуторагодовалый Чико умер от той же болезни, которой он весной болел в Москве. Что это была за болезнь, Ауслендер не пишет, но в другое время, при другом питании, в квартире с дровами или теплыми радиаторами и наличии необходимых лекарств она могла бы и не оказаться смертельной. Казароза и мать Яковлева, помогавшая ей ухаживать за мальчиком, не сумели выходить сына и внука.

Похоронили его, видимо, на ближайшем к дому Смоленском кладбище. Кто-то из друзей Яковлева сделал для Казарозы слепок с ручки мертвого мальчика. Эта крошечная гипсовая ручка всегда будет лежать у нее на письменном столе, и всю оставшуюся жизнь, даже после того, как переедет в Москву, в апреле, в день рождения сына, она будет приходить к нему на могилу.



Как заметил Ауслендер, в ее комнате на Сивцевом Вражке «даже некоторая беспорядочность носила приятный, грациозный отпечаток». А когда поэтесса Анна Радлова пришла к ней вскоре после похорон, квартира на Васильевском острове показалась ей «холодной и неубранной», а хозяйка – «совсем потухшей, окоченевшей от боли».

Тогда же Радлова посвятила ей стихи:

Глаза устали в даль смотреть  
И смотрят только в вышину,  
Уста забыли песни петь  
И любят только тишину.  
Смертелен воздух снежных гор,  
А небо – голубой шатер.  
Там стынет медленная кровь,  
Нема печаль, тиха любовь.

И еще в одном стихотворении Радловой, помеченном тем же январем 1919 года, присутствуют заглушаемый ветром «ясный голос» и «мертвое сердце» ее подруги:

Средь горящих, летящих зданий  
Черный воздух, как черная сталь,  
Сумасшедшее сердце восстаний  
Старинную гонит печаль.  
И летит разорванной тучей  
В пьяную ветром ночь  
Голос, ясный, простой и певучий –  
Ветер, ветер, тебя ль превозмочь?  
Когда схлынет, сгинет погоня  
И зарей расцветет благодать,  
На твоей горячей ладони  
Будет мертвое сердце лежать.

Девичья фамилия Радловой – Дармалатова, семья была дворянской, но не то со старообрядческими, не то с сектантскими корнями. Радлова увлекалась мистическими кружками при Александре I, написала повесть об основателе скопчества Кондратии Селиванове и в гуле разбуженной большевиками народной стихии хотела слышать вырвавшиеся «из плена шарманки, слезливых глаз и блудливых сердец» голоса воскресших врагов земного Рима – Гракха и Ганнибала:

Старая земля, новый колос.  
Старые слова, новый голос...

Увлечясь такими идеями Казароза не могла, но ей тогда важно было любое дружеское участие. Радловой покровительствовал Кузмин, в пику Ахматовой объявивший ее «королевой русской поэзии», в разгоревшейся войне Казароза предала свой поэтический вкус и держала сторону друзей, а не литературной справедливости. Ничего, кроме дружбы, у нее не осталось. Со смертью сына завершилась ее карьера певицы, а выступать на эстраде с испано-цыганским танцем она перестала еще раньше.

Гражданская война, прежде гремевшая где-то далеко на юге и на востоке, внезапно приблизилась к Петрограду: весной 1919 года Юденич начал первое наступление на обезлюдевший город. В тылу красных восстал гарнизон форта Красная Горка, верные большевикам эсминцы открыли по нему артиллерийский огонь, при этом под обстрел угодило

соседнее Лебяжье, где позапрошлым летом Казароза с сыном жила на даче.

В ночь на 11 июня взорвался или, скорее, был взорван диверсантами склад морских мин на форте «Павел» – самом мощном из кронштадтских фортов. Блок записал в дневнике: «Из Кронштадта утром шел бурый дым, следствие взрыва сегодняшней ночи: в 2 часа дом наш потрясся; на улице был ветер, в море, вероятно, шторм. И, однако, черное рогатое облако, поднявшееся в стороне Кронштадта, долго не расходилось – так тяжел этот черный дым, что ли?»

Чтобы обезопасить Северо-Западную армию Юденича от десантов с моря, английские аэропланы стали бомбить корабли красного Балтфлота на кронштадтском рейде. Летчики нередко ошибались, бомбы падали во дворах и на улицах. Во многих домах были выбиты оконные стекла.

С продовольствием в Кронштадте обстояло еще хуже, чем в Петрограде, а соседство многотысячной массы не отличавшихся дисциплинированностью революционных матросов было чревато неприятностями даже для тех, кто не помышлял о борьбе с новой властью. По городу прокатывались сменявшие одна другую волны арестов. Первыми стали уезжать финны, латыши, эстонцы, которые тут всегда составляли значительную часть населения, за ними – русские семьи. Приезжие из Петрограда поражались тишине и безлюдью даже на центральных улицах.

Магазин Шеншевых закрылся, товар реквизировали для советских учреждений. Изменений к лучшему не предвиделось, и в конце лета 1919 года Георгий Лазаревич, Софья Яковлевна и их старшая дочь Ирина с мужем и двумя дочерьми перебрались на жительство в Либаву, которая со времен Александра III была второй по значению после Кронштадта базой Балтийского флота, а через год станет латвийской Лиепайей. Назад они уже не вернутся.

## Олег ДЕМИДОВ

Родился в 1989 году в Москве. Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института. Поэт, публицист, литературовед, исследователь жизни и творчества имажинистов.

Составитель книги «Циники: роман и стихи» (М.: Книжный клуб «Книговек», 2016), а также собраний сочинений Анатолия Мариенгофа (М.: Книжный клуб «Книговек», 2013), Ивана Грузинова (М.: Водолей, 2016), Эдуарда Лимонова (СПб.: Питер, 2022) – «КПД», Ивана Приблудного (М.: Русский Гулливер, 2022) – «КПД», антологии русской военной поэзии 2014–2022 годов «Воскресшие на Третьей мировой» (СПб.: Питер, 2022) – «КПД». Автор биографии «Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов» (М.: Редакция Елены Шубиной, 2019), трех стихотворных сборников и других книг. Публиковался в журналах «Нижний Новгород», «Сура», «Сибирские огни», «Октябрь», Homo Legens, на сетевых ресурсах. Лауреат и дипломант ряда литературных премий.

Живёт в Химках.

## «ДЕД»: ЕВГЕНИЙ КРОПИВНИЦКИЙ

*Дорогие читатели, перед вами – глава из будущей книги под кодовым названием «Бронза», которую мы делаем вместе с литературным критиком Алексеем Колобродовым и философом Владиславом Крыловым. Мы хотим показать особенный период в истории русской литературы – вторую половину XX века. Известный культуртреггер и поэт Слава Лён обозначил это время как «Бронзовый век русской литературы». Мы гипотетически предложили рамки: 1953–1991 годы (объяснения датировки излишни). И ставим себе задачу – показать тех удивительных литераторов и философов, которые сформировали это время и на плечи которых – метафорически – мы сейчас встаём и делаем новое искусство. В предложенной главе речь пойдёт об Евгении Кропивницком, который собрал вокруг себя Лианозовскую школу.*

О. Д.

Есть несколько людей, которые, отрываясь от Серебряного века и пронося себя через 1930-е годы и Великую Отечественную войну, выходят к новому культурному порогу, на котором им в свою очередь предстоит построить шалашик, сарайчик, ну в крайнем случае – барак Бронзового века. И мы не берём в расчёт мастодонтов типа Бориса Пастернака и Анны Ахматовой, Анатолия Мариенгофа и Алексея Кручёных, Рюрика Ивнева и Михаила Зенкевича и т. п. Мы говорим о молодых и относительно молодых, толком не успевших состояться в те годы и давших новому послевоенному времени тайные ключи, знание и дерзновение.

Из этих людей надо выделить в первую очередь Николая Глазкова (1919–1979) и Евгения Кропивницкого (1893–1979).

Глазков – это юродство, помноженное на лингвистическое безумие и тягу к стихосложению (графоманию высшего порядка). Он ещё

в тридцатые годы успел войти в круг Лили и Осипа Бриков, у них познакомился с Семёном Кирсановым, Николаем Асеевым, Алексеем Кручёных, Анатолием Мариенгофом и т. д. Будучи студентом московского педагогического института им. Ленина, он игрался в неофутуризм, выпускал с друзьями-однокурсниками альманах, за что и был выгнан из вуза; а после начал писать без всяких приставок «нео». Например, такое стихотворение 1939 года:

Мне нужен мир второй,  
Огромный, как нелепость,  
А первый мир маячит, не маня.

Долой его, долой:  
В нём люди ждут троллейбус,  
А во втором – меня.

Первый мир – мир больших строек, политической борьбы, сталинских репрессий, официальной литературы, толстых журналов, подготовки к новой большой войне, учёбы в вузе и прочего социокультурного и социополитического счастья. То есть реальная жизнь со всеми её плюсами и минусами. А второй мир – это какая-то альтернативная реальность, которая существует наряду с первым миром, но остаётся в тени: это «салоны Анны Павловны Шерер», то есть отдельные квартиры именитых людей от мира культуры, готовых принять богему со всеми её заморочками; это читатели нестандартной литературы и ценители (скажем, может быть, неточно и грубо) авангарда; это небольшое сообщество, готовое не только и не столько принимать навязанные законы искусства (а вместе с ним – этики и морали), сколько испытывать всё на себе и производить что-то принципиально новое.

И вот в этом втором мире ожидается приход нового мессии. Или даже нескольких мессий, несущих свои откровения.

Николай Глазков положил начало альтернативной реальности, начав всерьёз заниматься «самсебиздатом»: брал школьные тетради, от руки записывал «короткостишья»; позже, когда появилась печатная машинка, набивал стихи и сбросжуровывал их в маленькие книжки. Получалось удивительно:

Писатель рукопись посеял,  
Но не сумел её издать.  
Она валялась средь Расеи  
И начала произрастать.

Поднялся рукописи колос  
Над сорняковой пустотой.  
Людей громада раскололась  
В признание рукописи той.

Одни кричали: «Это хлеб,  
И надо им засеять степи!»  
Другие – что поэт нелеп  
И ничего не смыслит в хлебе.

«Сорняковая пустота» начала скукоживаться, так как «свободы сеять пустынный» начал свой разбег. Вслед за ним подтянулись другие. Параллельно с ним работали в том же направлении коллеги постарше, всё тот же Евгений Кропивницкий, которого в силу возраста молодые коллеги просто называли Дед .

И пусть разница в возрасте вас не пугает, они – дети Серебряного века: Глазков – в прямом смысле, Кропивницкий – представьте себе на минуточку! – родился в один год с Владимиром Маяковским (футурист), Вадимом Шершеневичем (имажинист с левым уклоном), Алексеем Ганиным (поэт «новокрестьянской купницы») и Иваном Грузиновым (имажинист с правым уклоном). Это уже ко многому обязывает – хотя бы поколенчески, не говоря уж об одной литературной стихии, об одном воздухе эпохи.

Все они начинали с подражания символистам, но дальше уходили в эксперименты. В случае Кропивницкого – это удивительный стык традиции и авангарда, одновременно похожий на всё, что происходило в те годы, и довольно редкий подход, в рамках которого синтезируются противоположные начала – деревня и город, футуризм и неокрестьянство, сектантство и воцерковлённость и т. п.

Например, есть такое стихотворение «Я парикмахер: стригу и брею...» (1919) – в нём помимо всего вышеописанного уже проглядывает нарочитый примитивизм, который Кропивницкий позже разовьёт до предела:

Я парикмахер: стригу и брею,  
И так проходит мой целый день.  
Я отлучиться на час не смею,  
Хозяин ходит за мной, как тень.

Замучил город тоской железной:  
Автомобили, трамваев звон.  
В тоске напрасной и бесполезной  
Я вижу детство – желанный сон.

Вот я в деревне, вот я мальчишка,  
Играю в бабки, бегу к реке.  
Со мной ребята – Серёжка, Гришка –  
Катаюсь с ними я в челноке.

Всё промелькнуло, ушло куда-то,  
К былому счастью дороги нет.  
Теперь мне скучно, душа помята,  
Хотя ещё мне немного лет.

Соблазнительно увидеть в Серёжке – Сергея Александровича Есенина, но тогда возникает вопрос: а кто тогда Гришка? Думается, это простые и распространённые в крестьянской среде имена – и не более того. А вот «тоска железная», автомобили, трамваев звон и прочее «адище города» заставляют лирического героя спасаться ностальгией – не столько даже по деревне, сколько по детству (инфантилизм во многом сродни примитивизму). Отсюда возникает звонкая элегическая нота, которую хочешь не хочешь, а точно услышишь.

Есть ещё один характерный пример – «Сумерки дней» (1917):

Пусть шумна улица московская,  
Пусть жизнь течёт в избытке бед –  
Я богородица хлыстовская,  
На мне печать – небесный свет.

Когда в квартире, где радение,  
Я раздеваюсь донага –

Я слышу херувимов пение,  
Поющих славу мне века.

Молящиеся приобщаются  
Моей несказанной красы,  
И, корчась, в судорогах касаются  
Моей распущенной косы.

И вот уж в плясе упоительном  
Молящиеся. В теле жуть.  
Мне сладострастно соблазнительно  
Хлыстом по девушке хлестнуть.

Экстаз растёт – все в исступлении,  
Томит горячий запах тел...  
Вдруг замираю я в томлении –  
И взгляд мой мутен, тускло-бел...

Эрос на грани Танатоса, «пляс упоительного моления», духовная экзальтация – всё это мы читали не раз. Легко можно представить себе этот текст за подписью Николая Клюева, Рюрика Ивнева, Пимена Карпова или, на худой конец, Дмитрия Мережковского. Ан нет – это их пока неприметный сверстник – Евгений Кропивницкий.

Хотя как – неприметный? Это неправда.

Евгений Леонидович помимо того, что писал стихи, ещё занимался музыкой и живописью. Учился в Императорском Строгановском центральном художественно-промышленном училище и окончил его со званием «учёный рисовальщик» (помимо этого – с 1915 по 1918 год учился в народном университете Шанявского на факультете истории; чуть-чуть разминувшись с Сергеем Есениным, который учился там в 1913–1915 годах). Писал музыку: оперные сцены «Кирибеевич» (по лермонтовской «Песне о купце Калашникове») и простые романсы (сохранился как минимум один – «Снова весна»); был знаком с Александром Гречаниновым и Михаилом Ипполитовым-Ивановым (из современников больше всего ценил Дмитрия Шостаковича).

После 1920 года Кропивницкий много колесил по стране. В одном из первых пристанищ, в Вологде, встретил Ольгу Ананьевну Потапову (1892–1971), которая вскоре стала его женой, а вместе с тем столь же скоро стала серьёзно заниматься живописью. После всех странствий они, обзаведясь сыном Львом (родился в 1922 году в Тюмени), вернулись в столицу, где у них родилась ещё и дочь Валентина (1924). В те же годы Потапова пошла на учёбу к художникам из легендарной группы «Бубновый валет» – к Илье Машкову и Василию Рождественскому. Через них семейство познакомилось и с остальными участниками группы, а Кропивницкий даже принимал участие в их выставках. С 1939 года он стал членом Союза художников СССР.

Но вернёмся к поэзии. Течение творческого пути Кропивницкого с двух сторон подпирали два очень непохожих друг на друга поэта – Филарет Чернов (1878–1940) и Арсений Альвинг (1895–1942). Первый – друг семьи Кропивницких, экзальтированный и даже немного сумасшедший (несколько раз после чрезмерного питья оказывался в доме умалишённых), автор эмигрантского романса «Замело тебя снегом, Россия...» (хотя сам не мог и помыслить об эмиграции). Второй – абсолютный эстет, традиционалист, ценитель поэзии Иннокентия Анненского, после Великой Октябрьской Социалистической революции преподавал в домах творчества основы стихосложения и историю литературы.



И вот пересечение русского юродства и серебряновековской эстетики породило поэзию Кропивницкого, как, например, в стихотворении «Месть» (1939):

Смята белая перина,  
В душной комнате тепло.  
После сцены балерина,  
Коновалова Ирина,  
Парамоновой назло  
Пригласила Иванова –  
И теперь он пьян и спит...  
Ночь в окно глядит сурово,  
Острый серп как нож торчит.

Именно с литературной учёбы у Альвинга начинал юный Генрих Сапгир (тогда – Сабгир). После смерти мэтра в 1942 году он перешёл к его близкому другу – Евгению Кропивницкому.

В эссе «Лианозово и другие» подробно описывается этот период:

Я, можно сказать, самый ранний его ученик. Я знал Евгения Леонидовича <...> со своих пятнадцати лет. Нередко я оставался у него ночевать, и тогда мне стелили на полу, на который клали фанеру и кое-какую одежку, – комнатка была мала, в ней жили ещё его жена – художница Ольга Ананьевна и дочь Валентина. Сын Лев был на войне. Со временем появились и другие ученики как в поэзии (с 1949 года появился Игорь Холин. – О. Д.), так и в живописи. Мы гуляли по окрестным паркам и лесам, читали и без конца беседовали об искусстве. Это был истинный учитель и магнетическая личность. Как я понимаю, он каждому неوفиту давал проявить себя и поддерживал его в этом стремлении. Почему его в свое время не арестовали, не знаю.

Самого Евгения Леонидовича репрессии не коснулись, но задели его сына Льва. В 1946 году, пройдя Великую Отечественную (была информация, что погиб в Сталинграде; получил орден Отечественной войны II степени), тот был осужден на десять лет лагерей. До конца срока не досидел: освобождён с началом «оттепели» в декабре 1954 года. После освобождения жил в Казахстане, только в 1956 году был реабилитирован и вернулся в Москву.

Кропивницкий вообще жил, как будто не замечая исторических завихрений: 1917–1918-й, Гражданская война, голод, пятилетки, репрессии, Финская война, Великая Отечественная и т. д. – всё было фоном, к тому же – необязательным фоном. На первом плане были поэзия, живопись, педагогическая работа и быт. Когда педагогическая работа и худо-бедно налаженный быт наличествовали...

Во время Великой Отечественной было невыносимо. Генрих Сапгир вспоминал («Учитель»): «Да, ещё во время войны мы зачастую шли обедать в бывший ресторан “Спорт” – Учитель и Ученик по его талонам на усиленное дополнительное питание – УДП. “Умрёшь днём позже”, – говорили мы. Ему они полагались как преподавателю изостудии Дома пионеров Ленинградского района».

Дочка Валентина дополняла картину: «В первые военные годы Евгений Леонидович много болел, жить было трудно. Дом пионеров, где он работал, закрылся, так как детей в Москве уже не было. От одолевавших его болезней, от голода он очень ослаб и однажды на улице потерял сознание и попал под машину. После выздоровления осталась небольшая хромота».

Но и это стоически было преодолено.

Вообще отстранённость, остранённость и упрямство способствовали формированию уже чисто кропивницкой поэтики – как, например, в стихотворении «Ночь» (1945):

Кривилась витрина.  
Мигал светофор.  
В нарядной гостинной  
Китайский фарфор.

На чёрном заводе  
И скрежет, и визг.  
Горел в небосводе  
Крутящийся диск.

За серой тоннелью  
Журчала вода.  
По рельсам гремели  
Во тьме поезда.

Сидели. Курили.  
Лупили. Ушли.  
Убили. Зарыли.  
Таскали кули.

Пьянели у стойки  
И жрали салат.  
Чесался на койке  
Спросонья солдат.

Назывные предложения здесь похожи на мазки художника: раз провёл кистью – мигающий светофор, второй раз – чёрный завод, третий – крутящийся диск на небосводе. Всё элементарно. Но в какой же момент возникает поэзия, а с нею и чувство прекрасного?

Думается, в самой последней строфе: всё, что было до этого, построено на сгущении красок, а самое главное – лишено человеческого присутствия. Даже когда появляется синтаксическая конструкция «сидели, курили, лупили, ушли» и т. д., включается обезличенность: мало ли кто или что «сидели, курили» – это могли быть не люди, а ночные кошмары в любом их воплощении. Или что-то ещё антропоморфное. А вот когда на койке спросонья начинается чесаться солдат, появляется человеческое присутствие (пусть очень бытовое, нелитературное, грязное!) – и с ним появляется чувство прекрасного.

Милитрисе Давыдовой, своей ученице, Кропивницкий писал в 1948 году:

Жизнь, реальная жизнь мне кажется романтичнее романтизма, волшебнее волшебства. Мне кажется, что жизнь – стоящая вещь, чтобы отдать ей свою поэзию... Я работал над грубой глиной жизни. В повседневности я искал вечное через натуру. Из грубого сделал изящное и изысканное. Из банального оригинальное. Разве это не волшебство?

Волшебство – согласимся мы.

Но дадим Деду развить мысль:

...Эта правда жизни смущает, особенно тех, кто привык считать себя знатком поэзии. Они смущены, и в головах их родится протест. Это не поэзия – говорят они – здесь нет ничего поэтического. И одни из этих «ценителей» поэзии говорят: поэзия не должна быть грубой. В ней уместны розы, грёзы и слёзы, а не то, что вы пишете. А другие так говорят: поэзия должна быть патриотичной

и поэтичной – надо изображать белые берёзы, ширину страны, в которой живёшь, любовь к Родине и борьбу за лучшее будущее. И хором говорят так: что вы нам в нос суёте бандитизм, воровство, жульничество, самоубийство, женский разврат, мужской мат; показываете санитарок со вшами, пьяниц с водкой и селёдкой и прочее и прочее. Нет, нет! Поэзия должна быть возвышенная, героическая, зовущая и пропагандирующая светлое будущее. Но автор не хочет возражать на всё это. Просто ему чужда поза, выдумка и фальшь. Плоть и кровь бытия интересуют автора стихов. Вас он показывает вам, миряне, по мере сил и способностей.

Поэзия вообще никому ничего не должна. Автору – публикаций, гонораров, славы и признания. Издателю – прибыли и перспективы. Читателю – простоты понимания и удовлетворения его эстетических пристрастий. Современникам – попадания в нерв времени. Потомкам – языковой доступности.

Возьмём ещё одно стихотворения Кропивницкого – «На этюдах» (1952):

Природа – чудо-юдо,  
Как синий бархат тень.  
Художник на этюды  
Уехал в летний день.  
  
Этюдник и палитра.  
Этюд зацвёл красой.  
Под кустиком пол-литра  
И булка с колбасой.

Разве это поэзия? Художник выехал на пленэр с выпивкой и закуской. И всё. И, казалось бы, всё.

Но есть настроение – летнее, подшофе, при этом с минимумом затрат: всего-то пол-литра, булка и колбаса, которые обеспечат вдохновение для этюдов. Добавьте к этому описание природы (чудо-юдо) и тени (как синий бархат), разглядите неожиданный глагол «зацвёл» в сочетании с «этюдом». И, наконец, заметьте, что перед вами, собственно, тоже этюд, только поэтический.

Ещё один важный момент: стихотворение посвящено Петру Ивановичу Петровичеву (1874–1947). Это художник, он учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1892–1903) у Исаака Левитана и Валентина Серова. Окончил училище с большой серебряной медалью и званием «классного художника». В 1911 году архитектурные пейзажи и интерьеры Петровичева были приобретены в галерею братьев Третьяковых, музей Александра III и музей Академии художеств. В 1924 году на выставку русского искусства в Нью-Йорке были представлены одиннадцать его работ. В 1927–1928 годах он участвовал в организации нового общества «Объединение художников-реалистов». В 1936 году принял участие в первой выставке художников-пейзажистов. В 1937–1943 годах преподавал живопись и рисунок в Московском областном художественном училище памяти 1905 года.

И на каком-то из этих путей Петровичев пересёкся с Кропивницким. Согласитесь, с обывательской точки зрения художник – человек, не озабоченный трудностями быта, потому что – либо у него всё есть, либо он настолько не от мира сего, что трудности быта в расчёт не берутся. Среднего не дано. А вот Кропивницкий выступал за это «среднее», неприметное, замыленное для глаза. И потому стихотворение

«На этюдах», работающее, извините за тавтологию, с рабочими моментами художника, – удивительно и прекрасно.

Раз зашла такая тема, коснёмся ещё раз быта художника Кропивницкого. Поэт Всеволод Некрасов, бывший не учеником Деда, а постоянным гостем барачников на станции Долгопрудная и в Лианозове, расписывал в деталях, что и как рисовалось:

Из-под руки Евгения Леонидовича, с утра усаживавшегося за рисование как некое рукоделие, в иные дни выходило разных набросков с десятков, а может, и больше. И много чего шло прямо в печку. По свидетельству Ольги Ананьевны – совершенно напрасно. Лучшее Евгений Леонидович откладывал, а остальное запросто мог подарить первому гостю. А мог и не подарить. Наброски, рисунки были самые разнообразные: абстрактные, фигуративные, натуральные, обобщённые, вариации по этюдам с натуры и портреты, и букеты, и особенно цветы. Разрабатывались мотивы и прогонялись по целой парадигме стилей и техники, к которым добавлялись вновь изобретённые и разработанные.

А помимо этого Кропивницкий любил разыгрывать, расспрашивать и испытывать собеседника. Иной раз мог эксперимента ради что-нибудь эдакое нарисовать в разных стилях и допытывать зрителей, требовать их мнения, и не просто «нравится – не нравится», а с выстраиванием аргументации.

Вообразите такую сцену: станция Долгопрудная, барак Кропивницкого, небольшая комната, повсюду развешаны картины двух авторов – как будто похожих друг на друга, но в то же время совсем не похожих, ибо у каждого свой почерк, свой стиль, свой, извините за выражение, мазок. Евгений Кропивницкий, принимающий гостей, начинает вечер:

– Сейчас я вам, товарищи, покажу самое бездарное произведение соцреалистической живописи. Вы ясно увидите, что этот прославленный пошляк ничего не понимал ни в красках, ни в фактуре. Особенно он слаб в композиции. Лёва, подай натюрморт. Вы видите, товарищи, как это слабо! Неужели это может вам нравиться?! Неужели у вас такой дурной вкус?

Аудитория смотрит на картину, а там... Ничего такого ужасного нет. Всё довольно просто. Лето, берег, речка, пацаны с удочками, поваленный в осоку велосипед. Картина как картина.

– Так вам это нравится? – невозмутимо спрашивает Кропивницкий. – Вы неискренни. В вас говорит традиция и привычка. Долой привычку! Долой традицию! Долой соцреализм и прочую мелюзгу!

В комнате оживление, потому что после такого подхода должно быть что-то необыкновенное. Кропивницкий, протерев усы, обращается к сыну:

– Лёва! Чтoб не портить вкус публике, которую я люблю и которая, вероятно, улучшит свой вкус, когда поучится и поумнеет, – убери эту бездарную картинку. А вот теперь, товарищи, вы увидите другое произведение искусства. Это портрет. В нем всё дышит талантом и свежестью. В этой картине вы чувствуете крик молодости и бодрости, новые искания. Это шедевр современной живописи. Это лучшая работа лучшего художника.

– Чья? – раздается из аудитории.

– Как чья? Моя, конечно! Лёва, покажи мой портрет так, чтобы его всем было видно!

Собравшиеся в комнате не выказывают никакой реакции – и это тоже реакция. Портрет как портрет: в запасниках Третьяковской галереи

и ленинградского Эрмитажа подобного хватает с избытком. Кропивницкого одолевает недоумение. Он осматривает гостей – все как на подбор, все свои, никого лишнего: почему такая реакция? Тогда он оборачивается к картине и впадает в неистовство:

– Одну минуту, товарищи! Я с вами совершенно согласен! Эта картина плохая! Дело в том, что произошла ошибка. Лёва напутал. Это не моя картина. Это – чистый соцреализм! А ну-ка, Лёва, что ты показывал до этого? Покажи ещё раз! Так, спасибо! Вы этому аплодировали? Замечательное чутьё! Это как раз моя работа!

Вообразили такую картину? Вот и хорошо. Не уверен, что именно такая ситуация могла произойти, но розыгрыш Давида Бурлюка в Политехническом музее начала 1910-х годов – вполне в духе Евгения Кропивницкого. Не именно таким, но подобным образом он любил проверять гостей. Особенно милых дам, разбирающихся в современном искусстве.

Важно напомнить дорогому читателю вот ещё какой момент: русская литература знает немало примеров, когда художники слова были ещё одновременно и мастерами красок (где-то более серьёзно – и были даровитыми художниками, где-то менее – и были отличными рисовальщиками): Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Тарас Шевченко, Василий Жуковский, Максимилиан Волошин... А дальше начинаются аномалии. Кубофутуристы – все без исключения – были и поэтами, и художниками (рисовальщиками): один Давид Бурлюк чего стоит! Никакая группа Серебряного века больше не могла себе такого позволить: мухи отдельно, котлеты отдельно – и никак иначе. В 1930-е и 1940-е – аналогично.

И вот после Великой Отечественной раскрывался по-настоящему гениальный поэт и отличный художник Евгений Кропивницкий. Из лианозовцев никто на должном уровне подобным не страдал. Разве что Эдуард Лимонов время от времени упражнялся в азах портретного рисунка. Но тут уже не только влияние Кропивницкого, но и, например, Вагрича Бахчаняна и Анатолия Зверева. В Лианозовской школе были либо поэты, либо художники.

Если брать современников, то и там – большая редкость, когда всё это совмещалось на должном уровне: Леонид Губанов, Владимир Алейников (оба – смогисты), Дмитрий Пригов (концептуалист), отчасти Иосиф Бродский (постакмеист) – и это, кстати, довольно любопытная картина, по которой видно, что человек, одновременно имеющий дело с поэзией и живописью, либо слишком «заземлён», либо, наоборот, слишком высоко парит в метафизических высях. Середины не дано.

Середины не дано, если не вспомнить о Евгении Кропивницком.

В 1963 году должна была состояться художественная выставка, посвящённая юбилею Евгения Леонидовича. Однако исторический шторм, поднявшийся 1 декабря 1962 года, когда Никита Хрущёв посетил выставку авангардистов в Манеже и разразился проклятиями в адрес художников, нагнал Кропивницкого: его исключили из МОСХа (где он состоял с 1939 года) – за формализм и организацию Лианозовской школы.

На допросе в КГБ Дед отвечал, что Лианозовская школа – это он, его супруга Ольга Ананьевна, сын Лев, дочь Валентина и зять Оскар Рабин. А всё остальное – выдумки.

Это так и не совсем так. В Лианозове и на станции Долгопрудная были постоянные сборища. Из известных имён можно припомнить

Генриха Сапгира, Игоря Холина, Яна Сатуновского, Всеволода Некрасова, Эдуарда Лимонова, Елену Шапову, Николая Вечтомова, Лидию Мастеркову и Владимира Немухина; заезжали в гости Борис Слуцкий, Леонид Мартынов, Илья Эренбург и многие другие зубры официальной советской литературы, но эти разово, нечасто.

Если говорить о прямых учениках Кропивницкого, то безусловным его продолжателем в поэзии является Игорь Холин:

Кто-то выбросил рогожу.  
Кто-то выплеснул помой.  
На заборе чья-то рожа,  
надпись мелом: «Это Зоя».

Двое спорят у сарая,  
а один уж лезет в драку.  
Выходной. Начало мая.  
Скучно жителям барака.

Игорь Холин рассказывал о посещении Деда:

Он жил в маленьком домике на станции Долгопрудная Савеловской ж.д., вместе с женой, художницей Ольгой Ананьевной Потаповой, а его дочь Валентина Кропивницкая и зять Оскар Рабин – в бараке, находящимся поблизости, на станции Лианозово. Пейзаж тех мест был весьма типичным для послевоенного Подмоскovie: закопченные бараки, покосившиеся крестьянские избышки, забор и вышка спецлагеря, опутанные колючей проволокой, сонные пруды, огороды, сортирные будки, куры, козы, очередь у керосинной лавки... <...> Мы собирались в комнатухе Оскара Рабина, показывали свои работы, обсуждали их, катались на лыжах, выпивали. Ходили в гости к «деду», гуляли с ним по парку, беседовали.

Эдуард Лимонов в очерке «Труп розовой собаки» из первой «Книги мёртвых» подробно рассказывает о своём учителе:

В Долгопрудную мы ездили на автобусе. Перейдя шоссе, шли по мосту через пруд, сзади на той стороне, на холме, оставалась церковь, слева был негустой домашний лесок, а держась правой стороны, через сараи мы попадали в барак, где и жил мудрец и наш учитель – Евгений Леонидович Кропивницкий. Мудрец жил, как и подобает мудрецу – в крошечной комнате с печью, в обществе художницы, жены и партнёра по отрешению от жизни и страданиям: старенькой Ольги. <...> У них всегда было чисто и пахло печью или жжёным керосином. <...> А Евгений Леонидович сидел в бараке, и его, и Ольгу Потапову пытались обидеть пьяные пролетарии. Сараи, жидкая зелень, куры, бродящие между сараями, бельё на веревках через двор, пошатывающиеся мужики в майках на крыльце, очерившиеся подростки курят в глубине двора – такой мне запомнился навсегда посёлок Долгопрудная.

Всё это в итоге выливается в стихотворение «Долгопрудная, 1968»:

Зной и полдень. Сгусток Рая  
В Долгопрудной, вдоль сарая.  
К Кропивницкому иду,  
Словно в райском я саду.

А вокруг бельё сушится,  
И под зноем чуть дымится,  
А Максимов молодой  
Позади идёт за мной...

Сашки и Наташки вот бегут во двор:  
«Нет ему поблажки! Он карманный вор!»



Мудрый Кропивницкий вышел на крыльцо.  
Примусом воняет там, в стране отцов.

Поэтика Евгения Кропивницкого восходит к обэриутам и в особенности к позднему Николаю Заболоцкому (вот только они шли параллельными путями, и Заболоцкий откровенно припозднился на пару десятилетий), схожа с Николаем Глазковым (с чего и начался разговор) и, наконец, вырастает напрямую из капитана Лебядкина. Вот только отличается от всех отсутствием пафоса. В ней имеется место для снисходительной иронии (редко, но иногда и для ядовитого сарказма), для гротескного абсурда, для игры на понижение – много для чего, только не для пафоса.

К тому же, как мы помним, Александр Пушкин в письме Петру Вяземскому писал: «Твои стихи <...> слишком умны. А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Вот это кредо взял на вооружение именно Николай Глазков; Кропивницкий же сказал бы... А впрочем, что гадать? В 1964 году он составил «100 советов самому себе» – мы все их цитировать не будем, лишь малую часть, и в них попробуем найти ответ:

1. Будь смиренен и не злись.
2. Всегда кайся, ибо ты грешен, как и все.
5. Не бойся, но и не храбрись.
6. Уклоняйся от спора.
7. Никогда не спорь, но и не соглашайся, если ты видишь, что это не так.
13. Избегай советовать.
14. Избегай настаивать на своём.
18. Если очень плохо – молчи и не охаивай.
19. Старайся похвалить то, что не очень плохо.
26. Не будь слишком откровенен, не все хотят твои откровенности слушать.
48. С детьми, слабоумными и шизофрениками говори совершенно серьёзно, чтобы они не обиделись.
49. Борись со своей вспыльчивостью.
52. Не гонись за известностью – всё равно умрёшь.
56. Люди правду не любят, а любят выдумку. Выдумывай, но старайся это делать не лживо и талантливо.
73. Предоставь каждому быть таким, каков он есть, но не лезь к нему, если он опасен.
83. Имей у себя только то, что тебе крайне необходимо, а всё прочее бросай или сжигай.
96. Жизнь, как говорят, всему научит, но помни – надо быть смышлёным учеником.
99. Ничего не жди.
100. Жди только смерть – она придёт.

Это, конечно, больше походит на правила жизни, но определённая часть показывает и художественный мир Кропивницкого, его поэтику и практику написания стихотворений.

А по поводу пункта № 83, есть отдельное стихотворение под названием «Земной уют» (1955):

Граждане, располагайтесь,  
Всем уютным запасайтесь,  
Заводите то да сё;  
Всем полезным занимайтесь –  
Всем, наверно, нужно всё.

Нужен дом. Эй, стройте дом!  
Комфортабельный притом.  
Нужны платья и костюмы,  
Нужен даже патефон,  
Нестерпимо нужен он!

В головах роятся думы:  
Телевизор бы купить,  
Без него нет силы жить.  
Нужны вещи для уюта,  
Для уюта и красоты:  
На руку надеть часы,  
Золотые вставить зубы,  
Краскою покрасить губы,  
На ноги надеть капрон  
И купить себе бостон.

Кропивницкий вообще стремился к скромности, если не сказать – к аскезе. Причиной тому и десятки лет голодной и полуголодной жизни, и барачные условия, и педагогическая работа, на которой необходимо быть примером для учеников, с одной стороны, а с другой – при всём желании на такую зарплату широко не погуляешь.

Главное же, что сформировало Кропивницкого, – выработанное почти монашеское смирение и, что более интересно, абсолютно природное лукавство. Последнее отмечали многие мемуаристы; да и на чудом уцелевших аудиозаписях с чтением стихов всё это чувствуется на уровне интонации. Невозможно было спокойно общаться с Дедом (тут иначе и не скажешь), потому что было непонятно: разыгрывает он тебя, испытывает ли, а может, просто интересуется твоим мнением?

Например, в письме к Игорю Холину от 18 октября 1967 года он писал:

Не знаю, как на западе, а у нас мало хороших поэтов было, а теперь их совсем нет. Одно самомнение. Самообман. Самообольщение. Поглядишь – пух – «забор», как сказал «гениальный» Хвостенко. Гениев и правда много и кроме Хвостенков есть. Сейчас гениев такая сила, что ими хоть пруд пруди – и все эти гении азартны, идут, лезут вперёд, хаот друг друга. А иначе и нельзя! Как же ещё?

Чего здесь больше – излишней скромности или явного лукавства? А может быть, простого стариковского ворчания? Не каждый старик получает прозвище Дед! Почти шутка.

Вот и Эдуард Лимонов припоминал такие рассуждения Кропивницкого:

Однажды он написал и прочёл мне своё произведение о гениях.

Художник Анатолий Брусиловский – гений!  
Художник Илья Кабаков – гений.  
Поэт Игорь Холин – гений...

Всего в стихотворении перечислялся 131 гений!

Это была насмешка старика над московскими культурными нравами андеграунда того времени, когда самовосхваление и взаимное обожание породило перепроизводство гениев. К тому же, вокруг гения немедленно оформлялась группа приживалок и собутыльников. В лучшем случае, они быстренько обглаживали его до косточек, в худшем – липли к нему до самого его последнего смертного часа. И даже после, как свидетельствует судьба наследия Бродского.

Правда, в этом описании хватает и лимоновского мирозерцания!

А теперь серьёзно: вроде бы совершенно нормально уходить от самооценки и от гиперболизированной оценки друзей, коллег и современников. Время всё расставит по своим местам. Но в то же время Кропивницкий прожил немалую жизнь и знает, как «лягались» поэты Серебряного века, как жутко хулигали молодые поэты 1930-х годов и как в 1960-е заявляют о себе «самые молодые гении» с их перформансами. То есть наблюдение за литературным процессом должно было показать, что сложившийся порядок вещей – так вышло! – норма. И никуда от этой нормы не деться.

Можно подумать: в наши дни поэты не именуют себя и друзей гениями, не выясняют отношений и не хаот друг друга?

Что, в конце концов, эта книга, как не попытка пересобрать литературно-философское пространство и обратить внимание простого читателя на неведомых ему гениев?

Кропивницкий прожил долгую и насыщенную жизнь. Большую часть – на станции Долгопрудная. Когда умерла жена Ольга Ананьевна Потапова в 1971 году, перебрался к сыну Льву – в Москву.

Как и многие его коллеги, он при жизни не был признан. Помимо самиздатовских сборничков (тиражами в десяток-другой экземпляров) он дождался книги «Печально улыбнуться...», выпущенной в 1977 году... в Париже, то есть обзавёлся ещё и тамиздатом. После его смерти вышел скромный сборник в издательстве «Прометей» (1989) и толстенная книга «Избранного» (736 стихотворений плюс другие материалы), которую подготовил и издал в 2004 году Иван Ахметьев (тоже важная фигура и того времени, и нашего).

Вокруг картин ситуация ещё печальнее. Пока Дед был жив, максимум, на что он мог рассчитывать, – это домашние да неофициальные выставки. Нелегально что-то вывозилось за рубеж и выставлялось там, но это совсем уж какие-то исключительные случаи. Западные коллекционеры если что и покупали, то не так активно, как у более молодых и нахрапистых коллег. Сегодня иные рисунки и картины, а также рукописи со стихами и отдельные самиздатовские сборнички можно встретить на аукционных торгах, но... даже там они не бьют ценовых рекордов.

Евгений Леонидович Кропивницкий – драгоценный камень, доступный не каждому. До него надо дочитать, досмотреть, дослушаться и, наконец, дорастить.

## Анатолий МОЖАРОВ

Родился в 1954 году в Горьком. По окончании биофака Горьковского госуниверситета получил распределение во ВНИИ прикладной микробиологии в подмосковном поселке Оболенск. Учился в аспирантуре Института биофизики АН СССР, кандидат биологических наук. Заведовал лабораторией диагностических препаратов во ВНИИ ПМ. С 1997 года работал журналистом, шеф-редактором журнала «Сафари», главным редактором журнала «Магия настоящего сафари», в настоящее время – главред «Вестника КГО» в «Русском охотничьем журнале».

Автор книг «Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы» и «Есть зло, которое видел я под солнцем». Член Союза писателей России. Живет в п. Оболенск, Московская область.

## МЕЖДУ БЕСОМ И АНГЕЛОМ

### Фрагменты

*Идти от Кадниц до остановки на трассе недалеко, но хорошо, если не слишком торопиться. Дорога прямая, как на картинах Нисского, и проложена по открытым местам. Смотришь по сторонам – далеко видно – идешь и рассуждаешь о своем.*

*Я шел, думая о том моменте, когда сяду в автобус и с приятным ощущением того, что можно неторопливо почитать в дороге, открою книжицу мемуаров. О войне. О Великой Отечественной. Небольшая брошюра с невыразительной темно-серой обложкой. Брат только вчера ее купил в городе и вечером привез в Кадницы. Имя автора ни о чем мне не говорило, но книга была о Сталинграде – о тех местах и том времени, когда там воевал отец. Собственно, только под Сталинградом он и успел повоевать до тяжелого ранения и демобилизации. Географические названия – Абганерово, Вертячий, Клетская, Трехостровская – увиденные при первом пролистывании этой брошюры с претенциозным и одновременно банальным названием «Жизнь прожить...» вызвали в памяти печальный прищур отца, хотя он нечасто рассказывал о войне. Вчера внезапность этого воспоминания заставила замереть на секунду дыхание.*

*Пассажиров в пазике, причалившем по мокрому асфальту к остановке, словно колесный пароход к пристани, оказалось негусто, и я устроился поближе к конючей и горячей печке. Достал брошюру, еще раз без особой надежды вспомнить пробежал взглядом по имени автора (нет, ни о чем не говорит) и открыл первую страницу.*

<...>

Эшелон шел на юг, как нетрудно догадаться, практически без остановок – нам повсюду давали зеленый свет.

Хотя остановки порой все-таки случались. На одной из них нас построили перед вагонами и зачитали последний приказ Наркома обороны за номером 227. Сейчас этот многословный приказ от 28 июля 1942 года показался бы, наверное, нудным – он подробно описывал то, что и так в наше время каждый знает по фильмам и из книг. А тогда я был потрясен откровенностью слов, прозвучавших угнетающе и одновременно очень по-человечески.

«Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них проклинают Красную Армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама утекает на восток...»

«У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину...»

«Чего же у нас не хватает? Не хватает порядка и дисциплины...»

«Паникеры и трусы должны истребляться на месте...»

Где-то в середине текста прозвучало «Ни шагу назад!» Эти слова резанули особенно.

«...Цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

«...До последней...»

<...>

Для меня и моих однополчан Сталинградская битва началась 14 августа, когда после двух дней выгрузки из полутора десятков эшелонов в бескрайней степи, неподалеку от полустанка Лог Сталинградской железной дороги, наши новые, начищенные ещё сапоги навсегда покрылись серой пылью нижеволжских степных дорог.

Никто тогда не знал, что для многих из нас Сталинградская битва, едва начавшись, кончится через двое суток.

Шли мы по выжженной солнцем степи, изрытой балками и оврагами, по которой ветер катал похожие на провололочные кустики перекачиполя. Тяжко было идти по песку, но куда хуже было топтать по твердой глинистой земле – пыль из-под ног идущих впереди рот поднималась такая, что впереди буквально в десяти шагах не было возможности хоть что-то увидеть.

Возле дороги оказалась лужа, и из нее некоторые зачерпывали воды, чтобы сполоснуть лицо. Когда наше отделение дошло до этой лужи, вода была похожа даже не на какао, а на кофейную гущу. Ополоснуть этой жидкостью лицо никто, конечно же, не рискнул, а вот зеркальце пробежало по рукам, и каждый, кто в него посмотрелся, не мог поверить, что это лицо его, а не негра из любимой киноленты юности «Красные дьяволята». Посмотревшись в зеркальце и удивившись своему «загару», подумал: откуда оно взялось? Кто-то ведь додумался, отправляясь на фронт, взять с собой эту бесполезную на войне (так мне казалось) вещь.

Сколько мы шли, сказать сложно. Может быть, двадцать километров, может быть, тридцать. Наступила ночь, и стрекот цикад в кустах или полевых сверчков начал перекрывать глухой и гулкий топот солдатских ног.

В какой-то момент по колоннам пронеслось «Привал!», и почти сразу прозвучал приказ нашего комроты: «Рота, привал!»

Когда кинул скатку на землю и улегся на нее головой, думал, засну сразу же, но сон не вдруг подкрался. Перед глазами маячили два стоящих близко друг к другу деревца среди голой степи и луна между их вершинками. Повернулся на другой бок, к низкорослому кустарничку на краю небольшой балки. А вот там, наверное, и водится тот самый серый волчок, что должен ухватывать лежащих на краю детей за бочок...

Помню, что приснилось, как пасу гусей в Заречье, и так славно это – жаркий полдень, я босиком, в длинной рубашке, с хворостиной стою

у пруда и думаю, что в другой раз возьму удочку и буду ловить карасей... Команда «Рота, подъем! Строиться!» прозвучала над самым ухом, и мир детских забот рухнул. Когда засыпал, было жарко – разогрелись на ходу, а теперь от холода зуб на зуб не попадал. Скорее подхватил скатку, накинул на себя через руку и голову. Стало немного теплее. Быстро растер руки ладонками от локтей к плечам. Правой – левую, левой – правую. И побежал строиться.

Метров пятьдесят мы прошагали, не больше, как вдруг сзади раздался возглас Ивана Клочкова – его отделение двигалось позади нас:

– Землячок!

Я обернулся.

– А где винтовка?

И тут я не просто проснулся окончательно. Показалось, что меня пробил удар молнии от макушки до крестца. Это трибунал!

– Беги назад скорее! Недалеко ушли. Найдешь – догонишь.

Легко сказать, найдешь! А как ее найдешь во тьме, да еще в степи, где и примет-то никаких не наблюдается?! Но и другого выхода нет!

Бросился, сломя голову, назад. В голове молотком стучит: «Где наше место? Как его найти? КАК ЕГО НАЙТИ?!»

И тут вдруг в воспаленном мозгу всплыло: кусты по краю балочки, где волчок...

А вот вроде та самая балочка! Бегаю вдоль края по кустикам, пытаюсь ногами наткнуться на винтовку. Но нет, ничего нет!

Паника заставляет снова и снова бегать там, где уже все проверил. Стоп! Думай! Смотри по сторонам!

А вон еще балочка. Может, там? Бегу туда, топчусь, а сердце стучит уже где-то в горле.

Два деревца! Там были два деревца! И луна между ними. Впрочем, луна, наверное, уже сместилась. Сколько мы спали? Все еще темно, но восток немного светлее. Что мне это дает? Ничего.

Бросаюсь у края балочки на землю, верчусь туда-сюда. Не видно деревьев!

Бегу к другой, ложусь, поворачиваюсь – вот они, те самые два деревца! Но не так немного. Вскидываю, перебегаю вдоль балочки, снова ложусь. Опять не то! Снова вскидываю, снова бегу и тут спотыкаюсь о... свою винтовку

<...>

Потом, после госпиталя я измерил на карте Сталинградской области расстояние между Логом и Новогригорьевской – 17 километров по прямой. По дороге на километр больше. С учетом пересеченной местности, то есть спусков-подъемов, длина пути составит пусть больше – около тридцати. Эти километры с одной ночевкой (вряд ли она продолжалась больше 15–20 минут) и двух попыток немцев отбомбиться по нам с двух самолетов мы прошли меньше чем за сутки.

Задача стояла такая: занять оборону по левому берегу Дона и любой ценой не дать противнику переправиться через реку.

Колкая сухая трава степи, медленный полет орла-могильника в голубом, под облаками. Кажется, здесь не может быть никакой войны, здесь и пуля-то полетит еле-еле, с задумчивостью, и грохот выстрела раскатится тихо и неторопливо, как бы с ленцой. Вздрыбленная взрывом почва, рыжий огонь по траве, шепчущий шорох осколков по ковылю и злой, осиный посвист пуль никак не вяжется с картиной этой истомленной, августовской степи, сладко пахнущей по ночам полынью.



Как читатель уже знает, мне мало где довелось до этого побывать, тем более никогда не был на юге, в степях. И, сказать правду, ничего привлекательного я тут не узрел. Особенную досаду вызывала земля. На берегу Дона начали рыть окопы. То есть командиры и мы поначалу считали, что у нас получится вырыть окопы. На самом деле скоро стало понятно, что было бы неплохо раскопать такие ямки, в которых удалось бы хоть как-то укрыться. За день копания высохшей напроочь земли, похожей твердостью своей на бетон, мы смогли настолько углубиться, что зад выпирал над поверхностью.

Стена огня – знакомый до оскомины образ. Стена пулевого огня невидима, но от этого она не становится менее пугающей. Она все равно стена. Куст, а вот уже и не куст, а дерево, целое дерево с черной листвой вдруг вырастает из черной земли с оглушительным взрывом и пламенной, пугающе неестественной для дерева сердцевинкой в самом основании, а потом бежит по сухой и колючей траве рыжий, становящийся быстро бесцветным на солнце огонь.

Как довелось прочесть через много лет в воспоминаниях полководцев, в той степи у малой излучины Дона нам противостояли больше двух стрелковых дивизий немцев, а также венгров или итальянцев. Они успели занять Кременскую, Новогригорьевскую, Яблонский, Шахинский... То есть подошли вплотную к Дону по всей его хитро петляющей малой излучине и грамотно расставили по высотам артиллерию. Обнаружив сопротивление на левому берегу, принялись нас бомбить – раз десять прилетали по 5–10 самолетов одновременно. Мы наводили переправы, они сбрасывали на них бомбы. Лес по берегу реки позволял скрываться от бомбежки, но как только их самолет-разведчик обнаруживал скопление нашей пехоты, с западного берега начинала работать артиллерия. Но к вечеру 16 августа переправа была установлена полностью, и той же ночью части дивизии начали движение на западный берег Дона, занимая плацдарм у Сиротинской.

Нашему батальону повезло – перешли реку не по понтонам, а по основательному деревянному мосту, выстроенному немцами. Когда бомбили переправы, свой мост фрицы почему-то не трогали, видимо, надеялись на реванш.

На правом берегу наш полк сразу бросили на Кременскую.

Когда пошли в атаку, все, чему учили на курсах, поначалу вылетело из головы. Подразделения быстро перепутались, и я никак не мог увидеть своего командира. Однако отработанные на ученьях тактические навыки не пропали даром. Мы хорошо рассредоточились – так вражеским пуле и mine труднее найти цель. В какой-то момент донеслось со стороны протяжное «А-а-а-а-а-а-а...», и в тот же миг справа от меня солдат подхватил: «Ура-а-а-а-а!» Следом подхватил и я, совершенно потеряв в этот момент страх быть убитым. Дальше все было как на карусели – если бы и хотел рассказать, что я делал, как стрелял, как кричал, не смог бы: все перепуталось в голове. Отчетливо помню только, когда стали под ноги попадаться мертвые немцы, я их перепрыгивал, казалось, что нехорошо на мертвого наступать. И еще навсегда запомнил одного молодого. Он лежал на боку. Пуля попала ему в затылок, глазные яблоки размером с куриное яйцо выскочили из глазниц и повисли на красных жилках.

Две роты немецких автоматчиков оказались неспособными удержать оборону, и для полутора сотен фрицев к рассвету 17-го числа война закончилась одновременно с жизнью. В плен попали только двое.

К двум часам пополудни немцы очухались и ударили по станице артиллерией. Как только прекратился артобстрел, начался налет бомбардировщиков. Показалось даже, что небо почернело от их количества. Уже после я все удивлялся: а где же наши самолеты? Чувствуя себя совершенно уверенно в жарком полуденном небе, люфтваффе четко, словно на параде, перестроились в цепочки и пошли в пике. Хорошо, что немцы успели нарыть тут каких-никаких окопов, так что была возможность попрятаться. Не от прямого попадания, конечно, от осколков, которые с глухим коротким шмяком впились в землю сразу после оглушительного грохота взрыва. В месте падения бомбы земля поднималась берложным медведем на дыбы и осыпалась на спины необстрелянных солдат, заставляя вздрагивать всем телом – а вдруг это осколок! Но куда страшнее грохота разрывов казался чудовищный свист падающих бомб, именно он заставлял вжиматься в землю поближе брустверу, закрыв голову руками.

Неожиданно в общем гвалте и громе выделился ритмичный стук малокалиберных зениток. Когда только и откуда они успели подойти?! Любопытство взяло верх над страхом, и я осмотрелся, чуть подняв голову над окопом. Управлялись с миниатюрными пушками женщины-зенитчицы, которым в отличие от пехоты невозможно было спрятаться в траншею. Стало неловко перед ними. Будто жертвы, отправленные на заклание, они были открыты со всех сторон, а ритмичная стрельба зениток казалась совершенно бесполезной – никакого вреда бомбардировщикам их выстрелы не наносили. Но вдруг отбомбившийся самолет, который только начал выходить из пике, вздрогнул, выпустил шлейф дыма и, как мне показалось, с воем тяжело раненного зверя пошел на посадку в степь. Через секунды, тянувшиеся долго-долго, к общему грохоту присоединился его предсмертный, оглушительный выдох, и черная гарь из бесовского нутра резво взмыла над степью, чтобы вскоре раствориться под беспощадными солнечными лучами. Попали все-таки!

Когда еще одна подбитая машина пыхнула жаром и, ломая хребет, шею и крылья, грохнулась о землю, стоя горгулий с обиженным воем метнулась на запад.

И сразу в атаку пошли не меньше десятка танков и батальон пехоты, прятавшийся, насколько это возможно, за броней машин. Правду сказать, позиция у них была аховая – мы окопались на высоте 222.2, и они были у нас как на ладони. Сначала как черные точки, потом все крупнее, все отчетливее. Наконец, командир приказал начать стрельбу из винтовок. Танки это, разумеется, не остановило, а вот пехоту мосинки немного проредили, и фрицы залегли. В этот самый момент приданная нашей дивизии рота танков рванула в контратаку, и как только загорелся первый из панцерваффе, немцы развернулись и стали быстро удирать! Скорее всего это были итальянцы или румыны, последних тут было больше всех прочих.

Стараясь прикрываться тридцатьчетверками, бросилась в атаку гвардия, и нам как-то с ходу удалось вышибить врага сразу с трех высот. Спустя годы я нашел их в альбоме схем «Великая победа на Волге». Три мало о чем говорящие цифры: 194.4; 136.8 и 141.9. Танки в буквальном смысле слова смяли две артиллерийские батареи врага на этих самых высотах – драпать вместе с орудиями сложно, а вооружение немцы жалели куда меньше, чем свои жизни. Очень экономные в быту они совсем не экономили на военном «железе». Несмотря на надежность

карабинов Маузера, в атаку фрицы шли со «шмайсерами», большая часть пуль из которых поражала «молоко». Всякий раз, говоря об этом, наш политрук надсмехался над неразумной тратой патронов немцами. То ли дело у нас: один выстрел из мосинки – минус один враг! Ну хорошо, если ты плохой стрелок – два-три выстрела израсходуешь на фрица, но не два же десятка! А патроны на дереве не растут, их сейчас наши жены, матери и дети делают, проводя у станков по 12 часов в день! К тому же выстрел из трехлинейки может запросто поразить врага за полкилометра, а пулька пистолетного патрона из «шмайсера» вряд ли будет обладать убойной силой дальше полутора сотен метров! Политрук, он такой, умел заражать бойцов задором.

По слухам, немцы в самом деле боялись выстрелов из мосинки – была она добротна, и то правда, – каждый выстрел мы старались ценить. Только ценить получалось, если ты отражал атаку. Когда же атаковал, то сделать прицельный выстрел из винтовки было, скажем так, очень непросто. И потому, как только появлялась возможность обзавестись автоматом ППШ (убитому солдату он уже не нужен, а делу еще послужит), мало кто ей не соблазнялся. Как ни крути, а пугающую противника плотность огня создает именно автоматическое оружие. Грешным делом, и я во время одной из атак стал обладателем пистолета-пулемета Шпагина с наполовину полным диском патронов. И с тех пор таскал «папашу» вместе с винтовкой. Многие так поступали, поскольку был приказ не принимать в госпиталь без личного оружия, то есть без винтовки, номер которой записан в книжке каждого красноармейца.

Несколько дней подряд враг непрерывно атаковал занятые нами позиции по всему переднему краю, но ничего не добился. Хотя бомбили они нас старательно и с самолетов, и из минометов.

Ну а мы плацдарм за Доном не только удерживали, но и по мере возможности расширяли. В атаку ходили рано утром, пока темно, а днем окапывались и отстреливались от немецких контратак. Как я потом прочел в мемуарах Москаленко, за период боев в малой излучине было уничтожено более 1400 солдат и офицеров противника, а также 8 их танков.

Понимания того, что с той стороны может работать снайпер, не было даже у командиров. То есть об этом говорили, предупреждали, но как о редкости – мол, снайпер не станет расходовать боеприпас на солдата, ему нужен какой-никакой командир. Но в один из самых первых дней пуля угодила Николаеву Кольке в живот. Он бегал за водой и, когда возвращался, не дошел до нашей балочки метров двадцать. Колька упал и взвыл – говорят, выстрел в живот самый болезненный. Я услышал, обернулся и увидел корчившегося в траве Кольку. То, что сразила его пуля шальная, я ни на секунду не усомнился. Выхватил из вещмешка бинты и бросился к нему, сгибаясь в три погибели. Это потом я узнал, что так снайпер ловит простаков «на живца». Склонился над затихающим Колькой, увидел, что вся нижняя половина гимнастерки спереди темная от крови. У Кольки булькало в горле, тело конвульсивно дергалось, и в глазах уже не было жизни. Может быть, он умирал, а может быть, нет, – я не мог понять. Расстегнул у него ремень и, разрывая пакет с бинтами, старался не думать о том, что Колька, с которым мы полчаса назад курили и вспоминали о том, как играли когда-то давно в пристенок во дворе нашего дома в Горьком, и я проиграл ему алтын и еще трижды по копейке, Колька, с которым мы нашли у керосинной лавки тонкую золотую цепочку и поменяли ее в Торгсине на шоколад-

ные конфеты (не знаю, как он, а я тогда впервые ел шоколад), Колька, который так же, как и я, сменил место у токарного станка на место в боевом строю... я старался не думать о том, что мой хороший друг Колька Николаев сейчас перестанет существовать. Нет!

И в этот момент сильным ударом в спину меня опрокинуло на него.

Когда смог открыть глаза, оказалось, что наши с ним лица совсем рядом. Да и не лицо у него уже было, а будто восковая маска желтого цвета с ввалившимися щеками. Колька уже не дышал. Глаза остекленели, из широко и очень некрасиво открытого рта медленно стекала струйкой темная кровь.

Только теперь я понял, что мы с ним стали жертвой снайпера. Я лежал на правом боку, и у меня сильно болела спина немного выше пояса. Из раны там струилась теплая кровь, от которой намокала гимнастерка. Живот почему-то не болел. Может, пуля застряла в позвоночнике? Попробовал пошевелиться – руки и ноги целы, да и спина туда-сюда ворочается. Больно, но ворочается. Медленно повернул голову и осмотрелся. Мы лежали на самом открытом месте, а совсем рядом протянулась неглубокая водоем, в которой можно было укрыться. Только чтобы в нее попасть, следовало сделать два или три пируэта лежа, а я понятия не имел, смогу ли вообще двинуться с места. Снова попробовал незаметно шевелиться. Пилотка сползла с головы – с ней явно придется распрощаться. Зато тело вроде бы слушается...

Будь что будет! Один, два, три оборота с дикой болью в спине, и я скатился в спасительную промоину, услышав над собой свист пули. И в тот же миг увидел, как стенка промоины взорвалась прямо над мной пыльным фонтанчиком, насыпав мне в глаза. Начав крутиться, я не подумал про ППШ, остававшийся все это время у меня за спиной. Но, честно сказать, когда вращался, даже не почувствовал его. Как теперь говорят, на адреналине, видимо.

Увы, мой болезненный трюк стал лишь началом «операции» по спасению собственной жизни. Теперь нужно было остановить кровь и подумать, как вернуться за помощью в балку, где окопались однополчане. Проморгался (три к носу!) и понял, что судьба ко мне благосклонна – промоина тянулась как раз в нашу балочку. Ползти по ней ужом, не показываясь снайперу, оказалось вполне возможно, и после передвижения по-пластунски с несколькими остановками, соскользнул головой вниз к нашим.

– Братцы, помогите! – сделавшийся хриплым голос удивил меня самого.

– Ба! Живой! – ко мне уже спешил всегда сильно окаящий Зайцев. – А мы решили, што вас с Колькой обоих тово!

– Меня в спину ранило.

– Сейчас перевяжу. Только вот в санбат тебя не доставить пока...

Я лег на живот, уткнувшись лицом в колкую августовскую траву с резким запахом полыни. Почему-то подумалось: если ночью на ветру он слаще девичьих духов, то когда вот так – вплотную к траве носом, запах резкий, едва ли не тошнотный.

– Вона как диск-от разворочало пулей! – Зайцев сдвинул, не снимая с меня, ППШ к лопаткам, завернул на него гимнастерку. – Повезло тебе! Пуля-то в диск попала! Спину только прицелом пробило. Вона как повезло! А рана глубокая, на всю жизнь останется...

Да, мне и впрямь тогда повезло. Хотя вмятина на спине величиной с наперсток в самом деле осталась на всю жизнь.

Кольку мы забрали ночью и в балочке схоронили.

А еще обязан здесь сказать: скорбь по погибшему другу не помешала мне найти свою пилотку – такова проза войны.

<...>

Проза войны – это голод атакующих. Все сухпайки, все запасы были съедены в первые несколько дней. Готовить было не на чем и негде – полевые кухни в атаку не ходили. Поневоле в послевоенные годы мне запали в душу такие строки из бессмертного «Василия Теркина»:

Есть войны закон не новый:  
В отступление – ешь ты вдоволь,  
В обороне – так и сяк,  
В наступление – натошак.

Нам, конечно, вбили в головы известную истину: при ранении в живот шанс выжить есть только у того, у кого желудок пустой. Но если он пустой по несколько дней кряду не только во время атаки, но и во время обороны занятого рубежа, становится совсем несладко. У меня темнело в глазах от сильной головной боли, возникавшей из-за голода. В балках рос терновник, и желудок приходилось набивать его сильно вяжущими маленькими сливами. Радовало, когда отбивали у немцев опорный пункт, а там – еда! Понимаю, что мой возможный читатель сейчас поежился от этих слов, может быть, даже подумал, что уж он-то ни за что не стал бы есть их фашистские буттер и брод. Ну уж извини, что не соответствовали мы твоим представлениям о чести и достоинстве, такая вот проза войны – ели трофейные консервы, никто не отказывался, только нахваливали.

Водой в степи тоже не особо разживешься, а пить хотелось постоянно, и, как только появлялась возможность, командир отправлял за ней несколько человек с касками и фляжками. Набирали в Дону, пока до него было недалеко, потом в редких ручьях, еще более редких речушках, в прудах, которые тут называли ставкáми.

При этом мы день за днем атаквали, отражали контратаки, немного отступали, больше наступали, иногда было не понять, по какой линии проходит фронт и где наши фланги – ушли вперед или наоборот. Однажды в сумерках мы с Зайцевым возвращались с полными котелками воды в свою балочку, но не дошли метров двести – на склоне очередного оврага нас обстреляли из пулемета. Отлежались с полчаса и попробовали двинуться дальше. Никак! Опять обстреляли. Совсем уже стемнело. Делать нечего, остались ночевать там, куда загнал немец. Утром проснулись от истошного свиста мин. Начался обстрел – снаряды с отвратительным ноющим звуком, от которого подгибаются ноги в коленях, летели над нашими головами с запада на восток и с востока на запад. А потом наши пошли в атаку. На нас! Оказалось, фронт проходил прямо по оврагу, где мы схоронились. То есть вчера в сумерках нас Бог уберег – совсем немного не дошли до немцев.

Начиная с 19 августа атаки противника стали ослабевать. Как я прочел в мемуарах послевоенных лет, немцы собирали кулак для удара по Сталинграду, и комфронтом решил нажать на фланги 6-й немецкой армии, чтобы этот самый кулак если не разжать, то хотя бы ослабить силу удара.

<...>

28 августа нас бросили на Сиротинскую, которая не далась 40-й гвардейской дивизии. Получилось так, что мы подходили к ней с юго-



запада, и через полчаса после марша, в 5.30 утра, началась атака. Вместо того, чтобы в сумерках подобраться поближе к противнику, нас повели с криками «Ура!» по открытой местности чуть ли не за километр. И почти сразу напор гвардейцев захлебнулся под дождем из трассирующих пуль. Пулеметы били с возвышенности, и теперь мы были перед немцами как на ладони. Кто-то падал, кто-то бежал вперед, засвистели и стали рваться вокруг с неистовым грохотом мины. Атака сломалась, бойцы залегли. Но тут вдруг заработали откуда-то взявшиеся «катюши», сразу две машины! Сплошным потоком и с диким воем летели через наши головы огненные стрелы, выжигая позиции врага. Все, кто лежал, поднялись и побежали уже без всяких криков – все равно рев «катюш» не перекричать – к высоте.

Взлетели на нее. Вокруг все горело, горели даже врытые в землю танки, словно деревянные. На хорошо укрепленных позициях живых не было. Только трупы. Много трупов и запах жареной человечины.

А Сиротинскую в тот раз взять мы так и не смогли.

<...>

Утром 3 сентября началось наступление гвардейцев на участке Кузмичи – высота 139.7. Несмотря на то, что артподготовка немцев была в разы сильнее нашей, несмотря на то, что небо усеяли их самолеты, нашим войскам вопреки всему удалось не только выстоять, но и подойти в конце дня к Кузмичам с севера.

А 4 сентября в бой вступила и наша 38-я гвардейская стрелковая дивизия. Всю ночь с 3-го на 4-е мы шли, а на рассвете слышали грохот канонады. Конечно же там, куда мы направлялись. Полтора часа немцы бомбили позиции стрелковых дивизий и танковой армии, которые заняли до нас русло Сухой Мечетки. Полчаса после ночного марша мы с ужасом смотрели, как сотни их самолетов бомбили позиции наших войск, и, едва бомбежка стихла, прозвучало: «Примкнуть штыки!».

Бесконечное поле, изрытое воронками, с горящей тут и там травой, с горящими танками, трупами солдат, непрерывным грохотом взрывов и фонтанами земли, вырываемой из тела планеты зло свистящими минами.

Я давно уже расстался с ППШ, таскать одну винтовку все-таки полегче, да и пуля снайпера наделала дел – разворотила диск, и ударно-спусковой стал пробуксовывать. Впереди меня бежал командир отделения, справа-слева однополчане. Но продолжалось это все недолго. То один падал, то сразу двое-трое. Я видел это боковым зрением, поскольку чаще смотрел под ноги – степь не гаревая дорожка, да и опять трупы фашистов стали вдруг попадаться на пути.

Свист «своей» мины слышал очень ясно и, когда грохнуло где-то справа, пролетел по воздуху метра два. Удар о землю, и что было дальше, не помню...

Очнулся в зарослях осоки у какой-то лужи. Дико болела голова – контузило. Солнце опять нещадно пекло, и, судя по его положению, полдень уже миновал. Вывало желчью. Страсть как хотелось пить. Лужица оказалась частью ручейка. Вода проточная – напился, обмыл лицо.

Атака, судя по всему, захлебнулась – никто никуда уже не бежал. Кругом лежали трупы. С отвращением увидел, что в ручье выше по течению валяется дохлый фашист. В другое время в подобной ситуации меня наверняка стошнило бы. Но не теперь. Как-то проще я стал относиться ко многому, терпимее.



Пролежал в траве до вечера, а потом где ползком, где короткими перебежками вернулся назад, к своим. И узнал, что из нашего отделения в живых я остался один. В других было не намного лучше.

Следующий день начинался, как повторение предыдущего. Но к 9-ти утра к 1-й гвардейской подоспели с левого фланга части 66-й армии. Во второй половине дня и с правого подошли части 24-й армии, вступили в бой танки 4-й танковой армии. Но об этом я услышал в медвзводе, куда попал с изуродованной осколками мины рукой.

<...>

Сколько раз я представлял себе, как подхватываю падающее из рук раненого знаменосца древко, бегу вперед с разрывающим грудь воплем «За Родину! За Сталина!» и первым достигаю той высоты, за одно только приближение к которой осыпают орденами и медалями. Я никогда не представлял себя убитым и даже раненым, с перекошенным болью ртом, лежащим в пышущей жаром степи, не в силах оторвать от земли голову или волокущим свои перебитые конечности по собственной блевотине, все чаще и чаще изрыгаемой от превосходящей всякую меру боли и потери крови.

Оказалось, что судьбе было угодно сотворить нечто среднее – я подхватил не зная, а всего лишь пулемет «максим», когда кативший его солдат схватился за грудь и плашмя рухнул в траву. Недолго думая, я закинул винтовку за спину и ухватился за ручку пулемета. Но и мне было отпущено совсем немного времени, чтобы повозиться с этим наследием Первой мировой. После близкого разрыва мины сразу два или три осколка ударили в меня справа, свалив с ног. Один, похоже, разорвал сухожилия повыше локтя, и рука повисла веткой плакучей ивы. Пока пытался прийти в себя, пулемет уже кто-то уволок. Было понятно, что прежде чем продолжить двигаться вперед, нужно перевязать руку, чтобы не болталась – если сама по себе боль была сильной, но терпимой, то любое движение вызывало вспышку в глазах до потери сознания. Придерживая правую руку левой, попытался идти назад, в тыл, но одна нога все время подводила. Падал, терял сознание. Приходил в себя. Поднимался и снова шел. Один раз не в ту сторону, но потом сориентировался.

В медвзводе руку перевязали, но отправить с другими ранеными в госпиталь не было возможности, и пришлось три дня оставаться на передовой. Руку санитар перевязывал дважды в сутки – кровоточила. На четвертый день пришла полуторка, на которую погрузили доживших до эвакуации лежачих. Еще несколько человек, среди которых был и я, ехали сидя. Шофер, спасибо ему, старался огибать рытвины аккуратно, но раненые и сами по себе едва сдерживались от боли, стонали, а некоторые кричали криком. Один в каком-то помешательстве все пытался срывать с себя бинты и постоянно частил непонятными словами то ли на мордовском, то ли на чувашском. В конце концов шофер решил, что лучше будет ехать быстрее, и грузовик с воплями из кузова, которые был не способен заглушить никакой мотор, помчался дальше подобием вырвавшейся из ада дьявольской колесницы. Двое самых тихих по дороге скончались.

Операцию сделали сразу, как спешили с грузовика. Завели в большую палатку, воздух в которой был пропитан запахом карболки, крови и смерти. Уложили на стол, дали выпить спирту и зачем-то сделали три разреза вдоль руки от плеча к локтю. И это все? Да, все. И снова – в дорогу. Повезли в полевой госпиталь.

Полевым он оказался в полном смысле этого слова – под открытым небом. Только перевязку делали в палатках. Врач с измученным взглядом ко всему привыкших глаз быстро осмотрел мою руку и вынес вердикт: «Водянка, пить не давать».

Господи, как же мне хотелось тогда пить! К тому же у меня начался жар. И, по словам соседей, проваливаясь в забытие, я начинал отчаянно бредить. Скоро потерял счет дням, перестал понимать, сколько времени нахожусь в госпитале. Только иногда сознание становилось предельно ясным, и тогда я чувствовал, что смерть притаилась где-то неподалеку. Ждет чего-то. И ждать ей осталось недолго.

– Что у тебя? – словно сквозь вату донесся до меня голос бодрого мужика с перебитой ногой, оказавшегося со мной рядом как раз в тот момент, когда смерть подбиралась потихоньку со стороны головы. Я ее чувствовал, но видеть не мог.

– Пятна какие-то на руке, – равнодушно и еле слышно ответил я.

Он поглядел на перебинтованную в районе локтя руку и вдруг зычно заорал:

– Сестра! Сестра!

Однако на его крик никто внимания не обратил. Тогда он стал непрерывно кричать, добавляя к слову «сестра» еще три-четыре матерных. С кучей грязных, окровавленных бинтов в руках подошла уставшая сверх всякой меры сестра и, посмотрев на него с печальным осуждением, чуть вскинула подбородок: мол, чего тебе?

– Ты видишь, что у него?

– Водянка. Врач сказал...

– Какая водянка, мать вашу! Врача зови!

Наверное, минут через двадцать я увидел идущую ко мне женщину-врача. Запомнились ее огромные карие глаза в круглых очках с темной роговой оправой. Она осмотрела руку и велела срочно идти в операционную. Я поднялся и поддерживаемый сестрой доплелся кое-как до деревенского дома. В комнате, куда она меня завела, не было ни лавок, ни табурета, и сестра сказала, чтобы я, если трудно стоять, ложился на пол, а сама пошла за занавеску, отделявшую «приемную» от «операционной».

Долго лежать не пришлось. Кто-то кому-то за занавеской сказал: «Ну что, готовы? Давайте молодого с газовой гангреной». Оглядываться по сторонам смысла не имело – я был тут один. Значит, это у меня гангрена! Слышать о том, что это такое, приходилось. Неужели останусь без руки? Без правой руки! А как же токарное дело?! Шестой разряд ведь!

Сестра велела вставать, идти за занавеску и ложиться на стол.

– Придется ампутировать, с гангреной шутки плохи, – это была та самая женщина-врач, которая осматривала меня минут пятнадцать назад. Только теперь она была еще и в марлевой повязке на лице, закрывавшей почему-то только рот.

– А можно ниже локтя? Чтобы хоть как-то...

– Нет. Поздно. Может пойти дальше, и тогда уже – конец. Соглашайтесь.

– Режьте, – я зажмурил глаза, и слезы покатались из глаз. Кажется, я никогда раньше не плакал так горько.

Операцию делали под местной анестезией. Когда начали хрустеть под ножом мышцы, я уткнулся врачихе в живот. То ли ассистент, то ли другой врач-мужчина стал кричать на меня. Но врачиха сказала: «Перестаньте! Мальчик нуждается в защите!»

«Какой мальчик? – подумал я. – Это она про меня?»

Мне повезло потерять сознание, когда лучковой пилой с обмотанными бинтом деревянными ручками и тетивой стали пилить кость.

В себя пришел уже на улице, на своей койке-носилках. Тот же бодрый мужичок без ноги, который определил у меня гангрену, сидел на какой-то чурке рядом и улыбался.

– Ну как? Полегче?

– Есть охота... И пить.

Я вдруг сообразил, что не помню уже, когда последний раз ел. Постоянно тошнило, когда приходил в сознание.

– Сестренка, – обратился бодрый мужичок к проходившей неподалеку молоденькой девушке в испачканном кровью белом халате, – нам бы обезболивающего граммов двести и поесть чего-нибудь. Оголодал, сердешный.

Улыбка скользнула по ее растрескавшимся губам, и она кивнула.

– С воскресеньем, крестник! – чуть слышно произнес вскоре мужичок, чокаясь своей алюминиевой кружкой с моей, и с жадностью выпил только что разведенный колодезной водой спирт.

Тем же днем меня перенесли в дом с «тяжелыми»: гангрена, столбняк, ранение в живот...

Первым скончался столбнячный. Он очень просил пить, и кто-то не выдержал его мольбы, дал ему воды. Кажется, он не успел допить, как началась агония.

Кто-то выл от боли, кричал, многие бредили, другие лежали тихо, и такие отходили раньше прочих. Однажды я увидел на досках пола темную лужицу возле носилок тихого соседа. Не сразу понял, что это кровь. Позвал сестру, но было уже поздно – кровь вытекла из человека под носилки, а видна была только небольшая лужица.

Меня же мучили фантомные боли – отсутствующая правая рука болела так, будто ее жгли огнем.

Из десяти тяжелых выжил один. Я.

На той же полуторке с красным крестом меня с другими калеками отвезли к Волге и посадили на колесный пароход «Парижская коммуна» все с тем же красным крестом на трубе. Набитый под завязку ранеными пароход направился вверх и на удивление благополучно миновал обстреливаемый немцами участок реки.

Камышин нас не принял. Видимо, все госпитали были переполнены. Пошли выше, миновали Саратов, Вольск, Хвалынский, приняла Сызрань. Пароход разгрузили и отсюда раненых стали переправлять поездами в глубокий тыл.

Есть такое стыдное слово «понос». На самом деле стыдное не слово, в слове-то нет ничего такого неприличного. Стыдно говорить о самом этом явлении, которое с тобой происходит. Как догадывается читатель (если таковой у моих воспоминаний найдется), это я к тому, что в дороге у меня началось это самое явление. Но скоро стало уже не до стыда. Понос вызвал обезвоживание, и я стал худеть с такой скоростью, о которой нынешние толстяки могут только мечтать, – килограммов на 3-5 за сутки. О причинах этой напасти ни я, ни сопровождавшие нас медики не имели понятия.

Стало тяжело передвигаться, а потом и подняться сил уже не было. Буквально за пару дней по всему телу будто бы стянуло кожу, выступили скулы, ключицы, ребра, глаза ввалились. Выглядел я настолько жалко, что медсестра Фаина плакала, глядя на то, как я убываю буквально

на глазах. Мне давали розовый раствор марганцовки, но толку от него было мало.

Почему сразу не вспомнил верное средство лечения такого недуга, которое знал со времени деревенского детства, понять не могу. Поезд часто останавливался у разных населенных пунктов, жители которых приносили еду на продажу. Когда выяснялось, что поезд везет раненых, кто-то отдавал картошку, овощи с огорода даром, кто-то тащил сумку с продуктами подальше вдоль состава – вдруг найдется покупатель. Как только я вспомнил, сразу попросил Фаину узнать у местных, не могут ли принести черемухи. Ягода уже сошла, но здесь ее собирали, сушили, как потом узнал, для выпекания знаменитого сибирского пирога с черемухой. Принесли в кулке из газетной бумаги примерно с полстакана черемуховой муки – перемолотых вместе с косточками сушеных ягод. Подействовало практически сразу, и уже через два дня я стал ходить. Помогал санитарам, как мог, на станциях выпрашивал у жителей еду, кормил лежачих.

В Новосибирске лежачих погрузили в крытые машины с задней дверкой. Выживших везли в госпиталь, скончавшихся по дороге – на кладбище. Ходячих, как я, со станции отправляли по госпиталям на автобусах.

Условия в госпитале, куда я попал, конечно же, отличались в лучшую сторону не только от полевых, но и от тех, что были в поезде. Имелся даже рентген-кабинет, в котором меня просветили насквозь и обнаружили еще по осколку в ягодице и в позвоночнике. Операцию делали под общим наркозом, после которой я больше месяца спал, лежа на животе.

Потом хотели делать реампутацию, поскольку из плеча торчала кость. Но торчала она совсем немного, и женщина-хирург с огненно-рыжей копной волос, непослушно высовывавшихся кольцами из-под медицинской шапочки, просто сделала надрез, натянула и зашила кожу.

В госпитале я пробыл семь месяцев. Читал книги, которые передавались из палаты в палату, учился писать левой рукой. Открытки домой отправлял каждый день. Теперь мой адрес был постоянным, и мама время от времени присылала письма мне. Я их очень ждал. Первым делом мама написала о том, как они с матерью Кольки Николаева страдали, получив письмо из Сталинграда. Дело в том, что Зайцев до призыва работал там же, где мы с Николаевым. И вот в одном из писем домой он между прочим упомянул, что из двух токарей, которые работали с ним, один убит, а другой ранен, но не написал, который из нас двоих убит. Его мать поняла, что речь обо мне и Кольке, и «порадовала» новостью наших матерей.

В госпитале я пролежал в семь раз дольше, чем воевал, но почти нечего вспомнить. Видимо, мозг блокирует память о тяжелом – о постоянной боли, о запахе страданий и смерти. Были, правда, и радостные моменты – это когда диктор Левитан объявил по радио 2 февраля о том, что войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Радость была такая, что от перевозбуждения, казалось, грудная клетка вот-вот лопнет. Даже у очень крепких мужиков глаза оказались на мокром месте.

## Стихи по кругу

**Григорий ГАЧКЕВИЧ**

*Кишинев*

### Одной строкой

Поле зреющего хлеба, исцеляющая тишь,  
Синевой сияет небо, оттолкнись – и полетишь,  
Поднимаешься над полем, всё ровнее сердца стук,  
Словно был ты чем-то болен и проходит твой недуг,  
Под тобой белеют нити пылью застланных дорог,  
Солнце яркое в зените заслоняет мир тревог,  
Может, нет отдельной доли – жизнь для каждого полна,  
Сверху небо, снизу поле, между ними тишина,  
И вобрав в себя всё это, ты почувствуешь покой.  
Небо, поле, солнце, лето – жизнь всего одной строкой.

### Предчувствие

Покатилось солнце сверху, покатилось  
За бескрайние зелёные поля,  
Будто с жизнью уходящею простилось –  
Прошептали у дороги тополя.  
Наступила тишина страшнее грома –  
Эти несколько часов перед войной,  
Через сутки у меня не будет дома,  
Только боль одна останется со мной.  
Разорвутся ежедневных звуков нити,  
Разольются слёз проклятые моря,  
Погодите вы, минуты, не спешите,  
Не спеши и ты, вечерняя заря.  
Как вставало солнце утром, так и встанет,  
Но не будет утро прежним и родным,  
Тишина висит и глубже душу ранит,  
Расстилаясь над полями, словно дым.

\* \* \*

Сто веков лежат меж нами,  
Даже если не лежат,  
Где-то здесь под небесами  
На Земле – и рай, и ад.  
Открываю мысли звёздам,  
Их холодной глубине,

Для чего же был я создан,  
Для чего есть жизнь во мне.  
Точки звёзд мерцают блекло,  
Ночь молчанием полна,  
Для кого-то ад – не пекло,  
Для кого-то жизнь – война.  
Уношу с собой тревогу,  
Рай – не место для теней,  
Открываю душу Богу  
И прошу сказать, что в ней.

## Николай МАЙОРОВ

*Нижний Новгород*

### Дороге

Шальная дорога,  
Как ты поведёшь?  
Домчишь до порога,  
В овраги увьёшь...

Дорога шальная,  
От края до края  
Тоску наваяв  
И грех поминая...

## Елена КОЛЕСНИКОВА

*Воронеж*

### Живы

Дышат на небо дома – еле слышно – дымками,  
Зеркало неба облекло, подумалось –живы...  
С жгучим упорством хрустят у меня под ногами  
Сочные отпрыски старой соседской крапивы,  
Взводишко лука свежо зеленит огородик,  
Вишня-неслушница вышла в коротеньком платье.  
Сеевом мелким, не чаясь, просыпался дождик,  
С горстку едва наберётся, но наперво –хватит...  
Нежится ветер, на солнце душой шелковей,  
Птицы пищат вперебой – на весенний подобен\*,  
Каждый суставец у веток суглобистых –веян,  
Каждый цветочек покоем настоящим –поён.  
Небо глубится – в просветах оконных распятий,  
Бьётся весна, надрывая последние жилы, –  
С холодом бьётся – за самое трудное счастье,  
Звон докатился пасхальный, подумалось –живы...

---

\* Пение на подобен –пение на основе мелодической модели (в византийском и русском православном богослужении).



**Павел КЛИМЕШОВ***Нижний Новгород***Благовещение**

Предутренние сумерки легки,  
И тишь легка – ни голоса, ни лая,  
Заречные застыли огоньки,  
Какое-то предвестье постигая.  
О том в полуразгадке фонари  
Среди снегов, осевших под дождями;  
Я, недоспавший пасмурными днями,  
Заглавной ожидающий Зари...  
Минутами яснеют небеса:  
Они уже лазурны, непорочны,  
По голубени снежной разлился  
Не свет, но полушепоток урочный.  
О чём он? Нам ли, жаждущим, не знать...

**Виктория БЕЛЯЕВА***Ростов-на-Дону*

\* \* \*

За листопадом я тебя найду  
на октябрём простуженном пруду  
в движенье камышей и желтоклювок.

Ты будешь пахнуть горькою водой  
и улыбнешься – вечно молодой.  
Остынет солнце красное, как клюква.

И я тебя за плечи обниму  
в сиреновом, искуренном дыму  
я стану в твоём небе отражаться.

Со мной побудешь поминальный день,  
потом уйдешь по плачущей воде,  
и медяки над прудом закружатся.

**Анфиса ТРЕТЬЯКОВА***Симферополь***Крымская весна**

Мне все еще снятся тревожные сны:  
Майдан, предвещающий горе войны,  
Погибших от пуль, чувство общей вины  
И тот президент, что сбежал из страны...

Отчетливо вижу смятение людей,  
Что места себе не находят нигде  
От множества мыслей, прогнозов, идей,  
Забиться стремящихся в тяжком труде.

Я вижу себя: как я гордо несу  
Родной триколор, с ним – российскую суть,  
Как лью в предвкушении чуда слезу  
И громко кричу: «Сердцем, Крым, голосуй!»

Мне все еще снятся прекрасные сны:  
Нарядность садов от цветков белизны,  
Всеобщее счастье от Крымской весны  
И чувство, что мы наконец спасены!

### Белая скала

Я бережно кистью в картину несу  
По капле всю реку Биюк-Карасу.  
И вижу: девчонка, такая как я,  
Спиной прислонилась к стене Ак-Кая.  
От горя прогоркла степная полынь –  
Любовь погибает у Белой скалы.

Знать, ветер укладывал феном ковыль  
И выдул всю дурь из ее головы.  
Но птицы признаний щебечут слова,  
Лучи продолжают лицо целовать,  
И жить призывает во веки веков  
Скала нуммулитовых известняков.

### Сергей ЖЕНИХОВ

*Шахунья, Нижегородская область*

\* \* \*

В окнах всюду погашен свет.  
Я – доступен.  
Весь – на виду.  
Заходи ко мне в интернет,  
я давно уже тебя жду.

Одиночеством сыт и пьян,  
я в эфир позывные шлю.  
Через море и океан  
я шепчу тебе, что люблю.

В интернете моем – зима.  
Иероглифы – на окне.  
Я сегодня сойду с ума,  
если ты не ответишь  
мне.

\* \* \*

*В огромном городе моем – ночь...*

Марина Цветаева

В моем городе ночь.  
И – снег.  
И фонарики-светлячки...  
За меня, двадцать первый век,  
подержи свои кулачки.

На удачу меня настрой,  
от бесчувствия огради,  
стань нуждою, а не игрой,  
в веру божью обряди.

Наряди меня в простоту  
гордых песен и мудрых слов,  
сниспошли на меня мечту:  
прокляни меня на любовь!

## Владимир ПОСТЫШЕВ

*Хабаровск*

\* \* \*

На асфальт роняя крошки,  
в сизокрылой воркующей  
лужице  
сидит бабуся,  
под нос себе бормоча:

– Гули-гули, мои хорошие,  
гули-гули, с небес упавшие,  
это всё, что осталось  
от тёртого  
калача...

## Галина ТАЛАНОВА

*Нижний Новгород*

\* \* \*

Ах, одуванчик,  
В шапочке седой...  
Он создан так,  
Чтоб пролетать сквозь ветки.  
И почему жизнь кажется игрой?  
И будто я воланчик для ракетки.  
Не улечу куда-то далеко,  
Как семечко на белом парашюте.

Но я парю –  
И на душе легко,  
И благодарна солнечной минуте.  
Удар так звонок, как ладош хлопок.  
Лечу, чтоб непременно возвратиться.  
Вновь получив под дых и с силой в бок,  
Пытаюсь в небо звёздное пробиться.  
Но если не ответят на удар,  
Спланирую на землю сбитой птицей.  
И берегу такой нелепый дар,  
Что не даёт так долго приземлиться.

## Илья БОРОВСКИЙ

*Уфа*

### Красная площадь

Над Василием Блаженным  
Пляшет бледная луна.  
Я уснул. Во сне смиренном  
Площадь древняя видна.

Карусель времён закружит,  
Снова чую за спиной –  
За плечо прихватит стужа,  
Приобнимет летний зной.

В дождь июльский, снег январский,  
Исполины-мужики  
Смотрят Минин да Пожарский  
На знамённые полки.

Гляну вдаль, над колокольной  
В честь великого царя,  
Разыгрался ветер вольный,  
Словно сабля бунтаря.

Русский бунт – костёр опасный,  
Разгоревшись у Кремля,  
Отпылал в стрелецкой казни,  
До последнего угля.

По ночам скорбят иконы,  
Стонут лики в образах,  
Помнят взор Наполеона  
И пожар в его глазах.

Мавзолей откроет Ленин,  
До утра искать пойдёт,  
Год семнадцатый потерян  
В глубине багровых вод.

Год трагический отмерил,  
Для народа век иной.  
Гимн победы, гром потери,  
Над великою страной.

Всей истории тропинки  
Исходив в календаре,  
У церквушки на Ильинке,  
Выйду к праздничной заре.

Пусть пройдут дожди косые  
Смоют боль минувших лет,  
И зажжёт звезду России  
Красной площади рассвет.

## Никита БРАГИН

*Москва*

\* \* \*

Как сладко спать в объятиях зимы,  
мерцающая искрой в ледяном покое,  
пока заря палитру Хохломы  
не расплеснёт невидимой рукою,

и дымные столбы из сельских труб  
до неба вознесутся вертикально,  
и заалееет, словно кровь из губ,  
краюшка солнца сквозь мороз хрустальный.

И встанет радость золотого дня,  
покрыв сугробы льдистой карамелью,  
а там придет и вечер у огня,  
и ночь, и ожидание метели,

когда затянется тончайшим льдом  
вода святая в проруби крестом.

## Публицистика

### Ярослав КАУРОВ

Родился в 1964 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт. Работал невропатологом, врачом линейной бригады скорой помощи, на кафедрах патологической анатомии, токсикологии. Доктор медицинских наук, автор 32 изобретений, 2 монографий и 1 открытия.

Автор 13 стихотворных сборников, печатался в газетах, журналах и альманахах «Наш современник», «Нижний Новгород», «Правда», «Москва», «Литературная газета», «Юность», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «День поэзии» и других. Шеф-редактор литературно-поэтического журнала «Холм поэтов».

Член Союза писателей России. Один из создателей «Театра поэтов». Живет в Нижнем Новгороде.

### ПОЗЫВНОЙ «ЗНАХАРЬ»

*Почти все герои и факты, описанные здесь, реальны. Вы можете встретить этих людей, поговорить с ними, а возможно, они рядом с вами, вы кого-то из них знаете, но не догадываетесь об их судьбе.*

*Для моих читателей подробности повествования будут откровением, а для кого-то – памятью о своих друзьях и спасителях. Смысл всего этого рассказа о медиках и их судьбах в том, чтобы объяснить, как реально обстоят дела на линии боевого соприкосновения (ЛБС) и в тылу, оценить грандиозность задач, стоящих перед Врачом.*

Я. К.

### Вступление

Валерий Иванович пошёл на СВО сам. Не потому, что не сложилось с карьерой, – он уже был полковником и заведовал кафедрой. Не потому, что были незадачи с семьёй, – у него прекрасная, любимая и любящая жена и две дочери. Не потому, что началась депрессия, – всегда с юмором, позитивный, и слова-то такого не употреблял применительно к себе никогда.

А пошёл туда «по совести»: «...Как я буду там дедам своим в глаза смотреть, что мы смогли такое допустить?»

У нас много старших офицеров, которые аккуратно перекладывают с места на место бумажки, «отрабатывают документы», следят за соблюдением полей, шрифтов и интервалов, а он – не смог. Несколько раз писал командованию рапорт, чтобы его направили в зону СВО. Не пустили: дело Валерий Иванович делал архиважное – подготавливал кадры, кадры настоящие, нужные, квалифицированные.



Как умоляли в семье остаться, не ввязываться, остепениться – разговор отдельный, долгий и тяжёлый. Но поняли, обещали молиться и ждать и – отпустили.

9 ноября 2022 года Валерий Иванович Логинов в последний раз затворил за собой двери КПП своей закрытой части: стал военным пенсионером и отправился в вольное плавание.

## Нелёгкий путь на СВО

Валерий Иванович – хирург, хирург оперирующий, не чистый теоретик. Он хотел быть там, где его помощь сейчас особенно необходима, – поближе к переднему краю, к «передку».

В конце января 2024 года с друзьями из Кстова с грузом гуманитарки проехали через Воронеж и Ростов и прибыли к контрольно-пропускному пункту на границе. За окошечком пропускного контроля сидела любезная женщина. Логинов отдал свой паспорт.

– Служили? Где служили?

– Служил. В пограничных войсках, – начал врать Логинов.

– Когда служили?

– В середине двухтысячных годов.

– В какой должности?

– Командир взвода.

– Я сообщу старшему, – окошечко закрылось занавеской, и женщина надолго пропала.

– Вы куда? Документы мои отдайте!

У Валерия все вещи были в машинах. Два баула, там всё: одежда, нижнее бельё, бронежилет, магазины.

Через некоторое время к Логинову вышел офицер.

– Что скажете, капитан? – уже с тревогой спросил Валерий Иванович.

– В каком звании уволились, Валерий Иванович?

– А в чём проблема?

– Товарищ полковник, у вас запрет на выезд с территории Российской Федерации до 2027 года.

Логинов посмотрел на солдат с автоматами.

– Я еду на территорию своей страны. А если мы сейчас рванём и уедем? Что прямо стрелять будете?

– А что нам остаётся делать?

Когда друзья уезжали дальше на Донбасс, спросили:

– Ну что? Все вещи свои заберёшь?

Валерий Иванович готовился к поездке основательно.

– Нет, везите их туда. Я туда всё равно скоро попаду, – невозмутимо проговорил Логинов.

Друзья уехали, он остался один в поле, с небольшим рюкзачком, в темноте. До Ровенок было километров семь. Ночь. Снег. Холод сильный. И ни души. Кое-как добрался до Ровенок, устроился в гостиницу. Через некоторое время друзья сообщили, что через Ровенки проехать не сумеют и подхватить его они смогут только в Воронеже. Пришлось добираться туда, а затем возвращаться назад в Нижний. Потом начались долгие поиски возможности получить разрешение на свой выезд на территорию тогда уже России, в Луганск.

23 февраля 2024 года сформировалась новая колонна с гуманитарной помощью, она двинулась к Новочеркаску, и в её составе в ночь на 28 февраля Валерий Иванович пересёк границу, и 1 марта он засе-

лился к инструкторам. Вечером этого дня он сидел за столом с Доком, такой позывной был у его друга, тоже медицинского работника, который уже полгода как находился за «ленточкой». Вошёл некий человек.

– Я тебя знаю, – обратился он к Валерию Ивановичу.

– Я тоже, – откликнулся Логинов, – ты Серёга!

– Ты Валера!

Серёга был очень известной, почти эпической личностью, ставшей Героем России в 2023 году. Более надёжной рекомендации, чем их личное знакомство, быть не могло.

На следующий день Логинова пригласили в добровольческую бригаду, сделали фотографии, заключили соглашение и назначили начальником медицинской службы бригады. Определили позывной – Знахарь. Врачом в составе медицинской службы он оказался один. Остальные хоть и опытные, но фельдшера или санинструкторы.

Стоит заметить, что в добробате служили как добровольцы, так и мобилизованные. Добровольцы – все рядовые, кем бы ты ни был в предыдущей жизни. Служило там несколько генералов. Тоже рядовыми. Должности разные, но не справляешься – назначат на должность пониже, справляешься – повысят. Вот так-то: от каждого по способностям, каждому по труду или... «по морде».

## Обустройство

Работу свою Знахарь начал с обустройства. Вся медицинская служба бригады нуждалась в чёткой организации.

Что отличает военного врача от гражданского коллеги? Что тяжёлых травм, что ли, нет в глубоком тылу? Есть! А вот массовых поступлений нет.

Военный врач отличается от гражданского медика умением наладить медицинскую сортировку раненых и пострадавших – организовать распределение на группы по очередности оказания однородных лечебно-эвакуационных и профилактических мероприятий в соответствии с медицинскими показаниями, возможностями и объемом оказываемой медицинской помощи, принятым порядком эвакуации. И это не игра в шахматы, это насущная необходимость.

Это очень сложная задача: выявить тех, кто после оказания помощи может либо в течение некоторого времени, либо сразу же вернуться на поле сражения, но главное – оказать помощь в оптимальные сроки как можно большему числу раненых, даже (при необходимости) ценой ограничения помощи раненым с крайне тяжелыми повреждениями. Такую сортировку всегда проводил наиболее квалифицированный хирург, имеющий опыт в вопросах военно-полевой хирургии и санитарной тактики. Принципы такой медицинской сортировки, применяющиеся до сих пор, заложил русский хирург Николай Иванович Пирогов еще во время Крымской войны 1853–1856 гг.

В гражданском здравоохранении главная задача медицинской сортировки – успеть охватить оказанием помощи как можно больше пострадавших и оптимально распределить по лечебным отделениям. Поэтому в случае военной ситуации гражданский врач с выпученными от сострадания и ужаса глазами будет метаться между поступающими стонущими, кричащими от боли, а то и агонирующими бойцами, напроочь забывая один незыблемый принцип. Прежде всего надо обращать внимание не на того, кто кричит, а на того, кто молчит. У кричащего ещё есть силы, а у умолкшего без сил раненого время

пребывания на этом свете может уже кончаться. Но это мы разберём чуть позже.

Военный врач чётко поделит всех поступающих в медицинское подразделение на легкораненых, среднетяжёлых и тяжелораненых пациентов. Военных врачей учат правильно выделять сортировочные группы. Именно у этих врачей есть необходимые глубокие знания боевой хирургической патологии, особенностей функционирования системы лечебно-эвакуационного обеспечения, оценки реальной ситуации и возможностей тактической и медицинской эвакуации.

В годы Великой Отечественной войны была «этапная система» оказания помощи: на поле боя само- и взаимопомощь либо санитаром; далее – эвакуация в медицинские пункты, располагающиеся вблизи линии фронта и укомплектованные врачами; затем – медико-санитарный батальон дивизии, где раненому могли оказать хирургическую помощь и проводить лечение в течение 72 часов. Дальнейший этап – мобильный армейский хирургический госпиталь, где оказывали квалифицированную хирургическую помощь и осуществляли эвакуационно-транспортную сортировку для «эвакуации по назначению» в военные госпитали тыла вне зоны боевых действий, где оказывалась специализированная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация. Правильная медицинская сортировка и система «этапного лечения» в Великую Отечественную войну позволила советской медицине вернуть в строй 72,3% раненых и 90% больных – так была выиграна война. И тут гуманистические принципы нашей медицины точно совпали с интересами государства.

Фашисты в период Великой Отечественной в первую очередь оказывали помощь легко раненым. Это делалось для того, чтобы вернуть их как можно скорее на фронт. Всё для Германии! А за это время среднетяжёлые больные тяжелели и превращались в невосполнимые потери.

Менялись войны и принципы их ведения – совершенствовались системы лечебно-эвакуационных мероприятий, но основные принципы их остались неизменными.

В условиях современных военных конфликтов медицинская сортировка полностью сохраняет и даже увеличивает свое значение в деятельности военно-полевых хирургов, хотя её реализация значительно изменилась по сравнению с первоначальными возможностями: она начинается уже в предбоевых порядках, где оказывается доврачебная помощь, где должны быстро распознаваться нуждающиеся в неотложной хирургической помощи, которым проводится предэвакуационная подготовка и организуется их приоритетная эвакуация. Но и для этого нужны помещения, площади. И если в предыдущих военных конфликтах можно было развернуть медицинский пункт, например, на полянке у реки, то в настоящую современную бойню место это тут же будет обнаружено дронами и с особым садизмом уничтожено. Украинские фашисты с потрясающей воображением звериной жестокостью бьют именно по слабым и немощным, пытаются стариков, женщин и детей, не щадят раненых. Значит, медслужба должна быть размещена в подвалах, пещерах, шахтах.

Знахарю был выделен подвал административного здания. Огляделся. Вокруг всё перевернуто, мебель смешана с обломками кирпича. И, главное, в подвале – ледяной холод, нет воды. В маленьком закутке подвала Логинов бросил на пол матрасы, на них пенку с блестящей отражающей плёнкой, на неё ещё матрасы, повесил на стены для тепла ковры из соседних развалин (уж очень в советское время любили ков-

ры, это было приметой благосостояния, а люди на Украине жили советские), поставил рядом автомат с привезённым увеличенным магазином – вот и готов «начальственный» бивак.

А дальше время распределил так: три дня на самом передке, чтобы видеть подъездные пути ко всем медпунктам, сами медпункты, их оборудование и заодно самому эвакуировать раненых. А как же, лишних людей нет. Он исходил из общего правила – уважение заслуживается только личным примером. Начальника, управляющего издалека, из глубокого тыла, опасаться будут, а любить – никогда. А другие три-четыре дня Валерий Иванович отвёл на организационные мероприятия по ремонту и оборудованию помещений и налаживанию снабжения медслужбы. Незаменимой помощницей во всех организационно-лечебных делах для Знахаря стала медсестра с позывным Заноза, имеющая боевой опыт с 2014 года. Но о ней разговор будет отдельный.

Документация велась на каждого больного и раненого, но это была не та удушающая, дублирующая все действия по десять раз, высасывающая всю кровь, созданная министерскими дебилами документация, от которой погибаются практически все лечебные организации. Достаточно было заполнить «форму 100», древнюю, но очень удобную – основной медицинский и юридический документ военного времени. Кроме того, на каждого заводилась медицинская карточка из половинки тетрадки и в неё вписывались данные, манипуляции и инъекции.

## Линия боевого соприкосновения

Расскажу об одном случае. Боец в 15.00 получил ранение левой нижней конечности, стопы. Днём выезд к раненому и его дальнейшая эвакуация были совершенно невозможными: дроны противника рыскали, как акулы. Ночью тоже вывезти не смогли.

Связались по рации:

– Что, жжёт рану?

– Нет, дёргает, болит, отёк дошёл до колена.

Что это? Газовая гангрена? Начало гнойно-резорбтивной лихорадки? Начало сепсиса?

Знахарь вызвал опытного водителя с позывным Мельник: не раз тот уходил от дронов. Забрали раненого к себе.

Только по приезде прошло несколько минут, как звонит по рации «зам по бою»:

– Кто разрешил? День! Ты подверг жизни людей опасности! Кто выезжал на вызов?

– Я сам, – ответил Знахарь.

Молчание.

– Ты должен руководить, а не ездить! – нашёлся «зам по бою» через некоторое время.

Пока дроны противника рыскали в небе над населённым пунктом, не выпуская из него никого, в условиях медслужбы бойцу ввели цефтриаксон и каждые полчаса промывали рану перекисью водорода. Несмотря на то что до отправки раненого в медсанбат прошло 32 часа, ногу бойцу спасли.

Но далеко не всегда риск оканчивается удачей. Такой трагический случай произошёл с одним из подчинённых Знахаря.

Называть бойцов в нашей повести мы будем по позывным. Санинструктору с позывным Аргус был двадцать один год. С ним служили его

брат Ливси и отец – Фриц. Аргус был очень храбр и сострадателен. Служебная необходимость оказания помощи тяжелораненому заставила его 14 мая 2024 года перебежать открытое место. Беспилотники выследили его. Его просто методично разорвали на части. Видео украинцы выложили в интернет, так что мы знаем подробности его ужасной смерти в мельчайших деталях. Первый кадр показывает, как Аргус бежит по полю. Его догоняет дрон. Первый сброс – кровавый взрыв: из головы алым облаком вылетают брызги, мелкие, как пар, брызги крови. Камера придвигается – у укропов прекрасная европейская видеоаппаратура: придвигается не сам дрон, а укрупняется изображение. Укропы смакуют кадры. Аргус падает, под головой растекается лужа, видно его агональное дыхание. Снова переход на общий план. Второй сброс – Аргусу разрывает ноги. Вновь крупный план. Третий сброс – остаётся кровавое месиво. Снова крупный план.

Невозможно предать эти жуткие истории забвению. Об этом должны знать. Знать все школьники, которые учатся в нашей стране, на своей Родине, в России. Знать для того, чтобы они не воспринимали историю как то, что ушло и не вернётся, что уже не стоит принимать в расчёт. Нет! Всё повторяется. И это – не компьютерные игры, это живые ребята, практически их ровесники.

Да будут навечно прокляты те, кто в своём лживом, сладеньком чванстве говорят: «Ну что вы! В наш просвещённый век повторение такого варварства невозможно! Будьте современными людьми! Нам надо боготворить европейские страны, тянуться к ним, подражать, преклоняться. Вот где истинная культура! Нам просто необходимо покаяться в своих грехах и пойти к ним на поклон!» Да будут прокляты эти тупые и злобные лицемеры! Это самые злые враги России, её народа, её истинной, самой высокой в мире одухотворённой культуры!

Школьники должны знать примеры героизма, храбрости, самопожертвования, подвига, которые были совершены ради них. Ради того, чтобы они учились, играли, просто жили. Придёт их срок, и они должны будут бороться, сражаться, жертвовать собой. Ради чего они будут это делать?

Об этих примерах мужества должны знать домохозяйки на своих кухнях – матери этих детей. Фермеры, рабочие, менеджеры – отцы этих детей должны знать, для чего они так тяжело работают. Должны знать предприниматели, копящие добро. Это добро защищают не они. Его защищали и защищают на СВО такие Аргусы. Тех воров, которые сбежали с награбленным в заграничье, уже обокрали просвещённые европейцы, а многих – убили, как собак.

Процветать и богатеть можно только в своей стране, а значит, ей нужно помогать!

Медицинская служба Знахаря обрастала площадями и имуществом, тем, что находили в развалинах. Подвалы начинали ремонтировать. Самым сложным было просушить помещения и, насколько возможно, побороть промозглый холод, застрявший в них. Для этого использовали тепловые пушки, буржуйки. Добывали куски линолеума из разрушенных домов, стены завесили маскировочными сетями, полученными по гуманитарной помощи, для тепла, интерьера и условного зонирования: перевязочная-процедурная, складские помещения, палаты. Поставили двухъярусные койки. Оборудовали санитарно-обмывочный пункт. Что-то вроде бани. Помещение для персонала. Всё делали сами.



## О прошлом

Медицинская служба оживала.

Знахарь вышел подышать свежим воздухом. Трава замаскировала раны, нанесённые земле людьми. Во дворе валялся на солнышке, подставляя ему пузо, крупный приبلудный пёс. Картина была такой мирной. Но выйти из полуразрушенного подъезда означало нарисоваться перед дронами. Их в воздухе тысячи. Без дела демаскировать вход было нельзя.

И всё же какая идиллия! Валерий Иванович невольно стал вспоминать свою жизнь. Всё, казалось бы, готовило его к этому дню, к этому делу, а может быть, и к месту. Он работал на интересной кафедре, защитил диссертацию. Занимался кроме военно-полевой хирургии как раз организацией здравоохранения, вопросами тактической медицины. В те времена кафедрой заведовал военный хирург, профессор Валентин Николаевич Анисимов, человек бескомпромиссный, сильный – и весёлый. Научная деятельность кипела. Защищалось во всех направлениях медицины множество кандидатских и докторских. Под его руководством выросла целая школа учёных. Праздновали все вместе, широко и громко. Работали на износ.

Я, автор этих строк, знал Валентина Николаевича – хирурга и профессора. Ему посвящено одно из моих стихотворений.

Слова с полузабытым смыслом  
Слетают с уст, тревожа душу,  
Над ними тишина нависла,  
Стремясь последнее разрушить.

Учитель – будничное слово,  
Но, если заглянуть в начало, –  
Как много главного, святого  
Оно когда-то означало.

И – Мудреца, и – Властелина,  
Творца, каких на свете мало,  
Что лепит, как из пластилина,  
И мастерство, и идеалы.

Он и Отец, и Друг на равных,  
Он учит строгостью и шуткой,  
И думать хочется о главном,  
И позабыть о предрассудках.

Философ, Ритор и Мыслитель,  
В руках и скальпель, и реторта.  
И счастье, если ваш Учитель  
Был из людей такого сорта!

Но постепенно ушли подобные люди. Постепенно отношения становились всё формальнее, подняла голову текучка и «отработка документов». Росли подразделения проверяльщиков. На науку оставалось всё меньше времени. Зато у Валерия Ивановича появились ученики во всей медслужбе необъятной страны. Он часто выезжал в командировки. Делался знаниями в горячих точках, там и получил позывной Знахарь.



Началась специальная военная операция. И Логинов просто не мог себе представить, что он ответит внукам, когда они спросят: «Где ты был?»

## Друзья и враги

А какие ребята окружали его на этой необъявленной войне, на этой специальной военной операции, где он был добровольцем! Они большей частью были подчинёнными, но они были и остались настоящими друзьями. Проверенными. Таких в гражданском зыбком существовании обрести нельзя.

Андрюшка (Клык) – мобилизованный. Был штурмовиком. Он приехал из Самары – мирный город, мирная профессия. На гражданке получил образование конструктора по авиационным двигателям. Занимался контролем работы электростанций. Сам не рвался в герои, но мобилизовали, оказался в боевых условиях, и героем – стал. Получил осколок в сердце. Осколок так и остался в сердечной мышце. Его должны были уволить, но он сам вернулся в добровольческую бригаду СВО. И не мог уже бросить своих ребят. Это показывает ещё, что силы России неустойчивы. Многие даже не знают, на какие подвиги они способны, если нужно будет защищать Родину. А придёт их черёд, и чести русского флага не посрамят.

Однажды с Клыком произошёл вот какой примечательный случай. Укропы обстреляли подразделение и пошли в атаку. Получилось так, что Клык остался раненый в окопе один. Вокруг были враги. Он приготовил две гранаты и стал ждать. Так бы и подорвал вместе с собой несколько фашистов, но к нему пробились наши и спасли.

Логинов щадил храброго солдата и не особо отпускал на боевые действия, работы и без того хватало. Кроме того, при сверхнагрузках неизвестно было, как поведёт себя его сердце, всё-таки инородное тело, возможны нарушения ритма. Клык надёжно исполнял любые задания.

Двадцатилетний парень с позывным Оратор как-то сам подошёл к Логинову:

– Товарищ Знахарь, я к вам!

Разговорились. Оказалось, парнишка, не имея медицинского образования, сам готовился к оказанию медицинской помощи по материалам отечественной школы тактической медицины. Обговорили тонкости. Мнения совпали, и Знахарь молодого человека забрал к себе.

Рядовой Оратор должен был оказывать медицинскую помощь в лесополках или полках, как их называли, – длинных, узких, искусственных рощах между огромными полями. Эти лесополосы когда-то насадили в степи для исключения эрозии почвы. Такое распоряжение сделал ещё Иосиф Виссарионович Сталин, за что местные жители были ему очень благодарны. Именно они теперь стали единственными естественными укрытиями, в которых возможно строительство укреплений, окопов и блиндажей. В блиндажах оборудовали пункты «стабилизации» для медицинской подготовки раненых к дальнейшей эвакуации.

Налёт укропов был 15 апреля. Они пошли в накат на наши позиции, с силой, напористо: накрыли окопы кассетными боеприпасами. После их обстреляли «польками» – польскими миномётами. Они стреляют бесшумно; подготовиться к удару нельзя – чрезвычайно коварное оружие. Оратор, получив два ранения в грудь, оказал помощь ещё четвер-

рым. Позже был представлен к медали «За отвагу». В июле снова получил ранение. Его представили к ордену Мужества.

Знахарь запомнил Оратора как «мальчонку с глазами старика».

Боец с позывным Мамон – уникальный водитель, не раз уворачивавшийся от дронов и спасавший раненых.

Современная война, это бой между людьми и машинами. Европа и Америка шлёт дроны роями.

Мамон рассказал Знахарю один случай, когда нескольким раненым бойцам пришлось 5 суток лежать недвижно на дне окопов, потому что фашисты были рядом, и всё вокруг кишело дронами – от большой «Бабы-яги» до дронов-камикадзе и мелких FPV-дронов, наблюдателей. В промозглом холоде, без еды, с минимумом воды, имея возможность только иногда отползти недалеко по нужде, они прятались от неба. Они дождались своих, но представляете, в каком состоянии их подобрали?

Знахарь прекрасно представлял, как сложно раненому спрятаться от беспилотника с камерами, изображение с которых при помощи беспроводной связи передаётся на очки виртуальной реальности или специальные видео-очки оператора, ведущего охоту за объектом наблюдения. Такие дроны называются FPV-дроны – First Person View: «вид от первого лица».

Рядовой Роса – девчонка-фельдшер из штурмового отряда. На гражданской работе она работала на скорой помощи в Санкт-Петербурге. Пришла на СВО добровольцем. Очень грамотная, позитивная, отчаянная, умница и красавица. В общем, ангел в камуфляже, которая боролась за жизнь ребят, невзирая на опасность.

Санинструктор с позывным Боткин. Встреча с ним просто поразила Знахаря. Не имея медицинского образования, боец показал в разговоре тонкие знания патогенеза заболеваний, разбирался в лекарственных средствах, вплоть до времени их полувыведения из организма человека.

Когда были короткие перерывы в нелёгкой работе, Знахарь любил пообщаться с Боткиным на медицинские темы. Это напоминало ему о его прежней профессии преподавателя.

– А как вы думаете, Боткин, почему минно-взрывные поражения – это ранения? – решил задать каверзный вопрос всезнающему бойцу Знахарь.

После небольшой паузы, как будто читая раскрытый перед ним учебник, словно ученик-отличник на экзамене, Боткин начинал свой ответ:

– Минно-взрывное ранение – это результат одномоментного воздействия на организм неоднородных по характеристике поражающих факторов взрывного устройства (ударная волна, газопламенная струя, осколки мины и так далее) с вовлечением в патологический процесс органов и систем в различных сочетаниях. Данная травма кардинально отличается от травм вследствие транспортных, производственных или бытовых повреждений и относится к категории огнестрельных ранений. Травма выделяется своей тяжестью, специфичностью повреждений и неблагоприятным течением.

Боткин перевел дыхание и продолжил:

– Существует даже классификация топографо-анатомических уровней минно-взрывной деструкции тканей по Нечаеву. Он выделяет несколько уровней такого поражения:

уровень взрывного распыления костей и полного анатомического дефекта, нередко – с частичным сохранением костей разрушенной зоны в виде фрагментов, фиксированных на концах отсепарированных сухожилий, фасций и апоневрозов;

уровень взрывного раздробления костей с большей или меньшей фрагментацией и тотальным скелетированием осколков и отломков;

уровень ударно-волнового ушиба кости с образованием трещин, редко – крупных осколков, с очаговым или сегментарным их скелетированием;

уровень ударно-волнового сотрясения кости и отдаленных переломов, топологически не связанных с очагом основных разрушений.

– А проще можешь пояснить, что это значит? – хитро улыбнулся Знахарь.

– Ну, я бы сказал, что это когда руку или ногу распылило вообще, уровень фарша с мелкими обломками костей, уровень на котором я видел махры кожи, мышц и оголённых крупно разломанных костей, – ответил Боткин, а в его глазах отразились боль и сострадание.

– Верно. Вот и представь, в каком хаосе должен разобраться хирург, чтобы грамотно удалить то, что вскоре некротизируется (сгниёт), и сохранить то, что можно сохранить, – подытожил Знахарь. – А как ты думаешь, какие ещё факторы утяжеляют этот тип травм?

И опять, как по написанному тексту, начал говорить санинструктор:

– Я, Валерий Иванович, читал, а многое уже видел своими глазами, что бывает при минно-взрывной травме. Я видел, как повреждаются уши, когда есть разрыв барабанных перепонок, снижается слух и возникают вестибулярные расстройства.

Воздушно-ударная волна при таких ранениях может вызывать повреждения внутренних органов: ушиб сердца и лёгких из-за ударного сдавливания между позвоночным столбом, движущейся внутрь грудной стенкой и поднимающейся вверх диафрагмой за счет сдавливаемых через брюшную стенку органов брюшной полости. Да и само повреждение органов, и вызванное им внутреннее кровотечение или перфорация участков желудочно-кишечного тракта. Понятно, что без своевременной медицинской помощи тут не выжить.

А еще есть вторичные эффекты воздействия воздушно-ударной волны: осколки, части взрывного устройства, специальные поражающие средства и вторичные ранящие снаряды, например, камни. Они тоже могут привести к повреждениям полостей, кровеносных сосудов и жизненно важных органов.

Не следует также забывать о метательном эффекте воздушно-ударной волны. Это когда под действием избыточного давления и ветрового потока тело человека может быть отброшено на несколько метров. Травмы возникают либо на стадии ускорения, либо приземления. Эффект метательного действия зависит не только от мощности заряда, но и от площади тела человека. Это еще называют третичным эффектом.

– Вы, Боткин, отвечаете лучше, чем многие мои слушатели, – с уважением заметил Знахарь. – Но и каковы особенности огнестрельных ранений?

– Все огнестрельные раны первично инфицированы, это означает, что уже на входе пули в тело она увлекает с собой фрагменты одежды, грязь, кусочки кожи и ещё бог знает чего. Всё это попадает внутрь организма, в кровь и лимфу, и бактерии начинают размножаться в идеальных для них условиях. Предотвратить развитие и генерализацию инфекции чрезвычайно сложно, – сокрушенно, со знанием дела отвечал Боткин. – Я полагаю, что всё это в ещё большей степени относится к минно-взрывной ране. Таким образом, минно-взрывная травма в какой-то степени становится ещё и «биологическим оружием». А если

представить, что при большом скоплении раненых, особенно в отделениях гнойной хирургии, тела больных могут стать инкубаторами для появления и размножения новых бактерий, которые часто нечувствительны к антибиотикам многих групп, то получается, что война рождает новое биологическое оружие.

— Как же лечить таких пациентов, с которыми усилиями высококолобых европейских учёных произошёл такой анатомический кошмар? — продолжал спрашивать всезнающего санинструктора Знахарь.

— Примерно одна треть смертей случается в течение нескольких часов, обычно в результате кровотечения, гипоксии или прогрессирующего повреждения головного мозга. Поздние смертельные случаи (в течение дней и недель после травмы) обычно наступают вследствие нарастающей множественной органной дисфункции или присоединения инфекции. Отсюда в рамках первого периода (острый период «травматической болезни») производится диагностика и оказывается экстренная помощь; он обычно завершается в течение первых 12–24 часов. Во втором периоде (относительной стабилизации жизненно важных функций) выполняются первичная обработка ран и экстренные хирургические вмешательства со стабилизацией переломов. Этот период часто совпадает с первым, но обычно завершается в течение 48–72 часов. В третий период (период максимального риска развития осложнений) завершают оперативное лечение пациентов с травмами. Продолжительность этого периода сильно зависит от характера повреждений и развивающихся осложнений, но обычно он завершается к десятым суткам. Четвертый период (период полной стабилизации функций) предусматривает процесс (иногда длительный) реконструктивного лечения, реабилитации и возвращения в общество.

— Bravo! Вам непременно нужно учиться дальше. Из вас, Боткин, получится прекрасный врач! — с удовлетворением, которое испытывает каждый учитель при прекрасном ответе своего ученика, сказал Знахарь.

По направлению Логинова санинструктор Боткин пошёл учиться сначала на фельдшера, а потом на врача.

Бомба — добродушный увалень. Его никак не хотели представлять к награде. Он был хозяйственником, каптёрщиком. Но когда поступило сразу 200 трупов в чёрных целлофановых мешках, именно он раскрывал мешки и искал в разлагающихся телах документы погибших. Представляете, что творилось в этих мешках? Какой там был запах? Что осталось от людей после взрывов? Какой фарш и набор конечностей и органов там лежал? Что там начинало копошиться? От этого запросто можно было сойти с ума. А Бомба, понимая, насколько важно знать сведения об убитом, не закончил этот осмотр и поиск документов, пока не просмотрел все до последнего мешка. И это тогда, когда вокруг полным-полно дронов.

Заноза — ей можно посвятить отдельную песню. Удивительно неприятная для начальства фигура. Ну, казалось бы, промолчи! Нет! Она обязательно скажет неприглядную правду! Начальничков просто выбеживала. Влезет в любую тонкость. Разоблачит любое жульничество и все об этом не скажет — *прокричит!*

— А что ты со Знахарем не ссоришься? — спрашивали её.

— Потому что он умный! — очень обидно отвечала интересующимся Заноза.

У Знахаря и Занозы было одно общее понимание дела: что бы ни было, что бы ни произошло, в каком бы положении они ни оказались,

раненым должна быть оказана идеальная медицинская помощь. Со Знахарем они уговорились сразу, взяли за правило: гуманитарка, которая поступает в бригаду, в тыл не уходит, она там растворяется.

Добробат живёт только на пожертвования, на гуманитарку. От обмундирования и обуви, касок и бронежилетов до лекарственных средств и медицинского оборудования и инструментов. Не раз противогоазы и средства индивидуальной химической защиты присылали по гуманитарке.

Автомобили в боевых условиях живут 2-3 недели, хотя их сейчас и стали обшивать толстой резиной и ставить «мангалы» – противодроновые железные сетки. Лишних автомобилей здесь нет.

Одна пожилая женщина, пережившая блокаду Ленинграда, подарила добробату автомобиль УАЗ-452 для эвакуации раненых. Другие автомобили просто не справляются. Некоторые – малопроходимы, некоторые – ненадёжны, некоторые слишком велики и представляют слишком явную габаритную мишень для БПЛА. Блокадница истратила все свои накопления за жизнь, но своим подарком спасла немало жизней.

Государство даёт только то, что нельзя купить – оружие и боеприпасы. Да и то объемистый магазин для «калаша» Знахарь привёз с собой.

Правда, гуманитарка тоже бывает разной...

Как-то Логинову прислали партию просроченных антибактериальных средств и витаминов.

– А что! – сказали. – Тут же всё равно уйдёт со свистом!

Знахаря аж переклинило:

– Это я моим ребятам буду колоть такую дрянь! Кто мне скажет, как ещё вся эта отрава хранилась! В каком сарае! В каком дерьме!

Он выгнал «предпринимателя» и больше не имел с ним дела.

Однажды по гуманитарке прислали белую короткую юбку и прозрачную кружевную чёрную кофточку, а ля «услуги на трассе». Заноза очень громко смеялась и исходила «непередаваемой игрой слов».

Заноза пришла на СВО в 2022 году, имеет две медали «За отвагу». Мать-одиночка. Пошла, чтобы обеспечить дочку. В отпуске навещает её. Но сердцем прикипела к раненым. Живёт ради них. Дышит ими. Заботится о них, как мать. Начальство её ненавидит. Но никто лучше не работает с кадрами: везде, где нужно, у неё есть «свои» люди, чтобы позаботиться о раненом, направить его по правильному пути эвакуации, максимально оказать необходимую помощь.

Только раз между Занозой и Знахарем вышла ссора, даже не ссора, а жаркий спор. Но Знахарь понял свою ошибку и извинился. Он не стеснялся извиняться, если был неправ. Главное – дело. Правым всегда быть нельзя.

А как Заноза владела русским языком! Однажды Знахарь услышал её разговор с начальством по рации:

– Ничего я вам пересылать не буду! Здесь эти медикаменты нужнее! Ишь ты, хозяин нашёлся! Родили посмеяться, а он выжил!

И уже к подчинённому:

– А ты что сразу дёргаешься? Не спеши, слепая, в баню, а то задницу обожжёшь.

Вот такой контингент подчинённых был у Знахаря. Это были его друзья. Это друзья навсегда.

А как они справляли день рождения Знахаря! С какими шутками и прибаутками. Абсолютно без выпивки, но весело. Весело оттого, что живы и не изувечены. Это очень сильный повод для веселья и воспо-



минаний. И это веселье было искренним как никогда. Угощение самое простое. В качестве праздничного действия его заставили задуть толстую окопную свечу.

Мы росли во дворе,  
Мы играли в войну.  
Я в дворовой игре  
Понял правду одну:  
Если песни поём,  
Если думаем в лад  
И смеёмся вдвоём,  
Значит, он мне как брат!

В трудном мире у нас  
Для всего есть цена,  
И спасает сейчас  
Только дружба одна!

И не наша вина,  
Изменилась страна.  
Незаметно для нас  
Наступила война!  
Он шагнул под фугас,  
Он поймал мой свинец.  
Если он меня спас,  
Значит, мне как отец!

Через горы его  
Я тащил на спине.  
Ничего! Ничего!  
Жизнь трудна на войне!  
Беспилотников пляс,  
Рокот вражьих машин.  
Если я его спас,  
Значит, он мне как сын!

В трудном мире у нас  
Для всего есть цена,  
И спасает сейчас  
Только дружба одна!  
Если сердце как клад  
Среди тысяч сердец,  
Он и друг мне, и брат,  
Он мой сын и отец!

Но не нужно недооценивать и врагов. Не нужно, вредно и подло принижать боеспособность нашего противника.

Логинов помнил пример, как окружённым, находящимся в безвыходном положении украинцам предложили сдаться. На это они ответили: «Русские не сдаются!». И они погибли в бою все. Около пятнадцати человек. Что творится в голове у этих людей?

В одном освобождённом укрепрайоне боевое российское подразделение наткнулось на блиндаж. Командир – опытный человек, он не разрешил своим минёрам заходить в дверь – они проникли внутрь, расширив амбразуру. Дверь действительно была заминирована, но это не всё.



Мины были связаны со всем укрепрайоном и с жилищами немногих оставшихся в своих разрушенных домах жителей. Один неверный шаг и взлетело бы на воздух всё сразу.

Противник минирует всё – от коробки конфет, плюшевых мишек, кукол до школьных качелей. Минируют мертвецов.

## Ордена и медали

Вообще, до прихода Знахаря документы на награждения принимали от медслужбы очень неохотно. Короче, почти совсем не принимали.

– Вы же медики! Вы же не воюете!

Знахарь эту «традицию» переломил.

Штурмы идут в атаку с полной выкладкой с автоматом, боекомплект. Тяжело.

А фельдшер или санинструктор тоже идёт с автоматом, но у него ещё полная тяжелая медицинская выкладка: лекарства, бинты, шины. Очень нелёгкий и габаритный груз. А возвращается, вытягивая на себе раненого. При этом мины, бомбы, беспилотники – всё поровну.

Вообще в бригаде должно было наличествовать 30–50 фельдшеров и санинструкторов. Но реальное их количество постоянно менялось.

С проведения боевых операций часто не возвращались по десять человек. Так что количество фельдшеров и санинструкторов, бывало, сокращалось до восемнадцати. Так что Знахарь представил к награде многих и добился их награждения. Однако в заслуженной награде Бомбы Знахарю отказали. Кстати, с ним самим поступили тоже не очень «корректно»: сказали, что представят к ордену Мужества, однако представление не ушло выше бригады. Сначала сказали – забыли. Потом – времени после ранения прошло много, и возможности для представления уже нет. Однако за это время два начальника, которые дислоцировались в глубоком тылу и никогда не были зафиксированы в журнале военных действий, получили по ордену Мужества. В любом деле есть свои скрытые тонкости, в наградном – тоже...

Мы не будем упоминать о том, с какими сложностями сталкивается демобилизованный при оформлении документов на льготы, деньги, признание его заслуг. О том, как военнослужащих поджидают «невесты», жаждущие полученные деньги разделить, мошенники, вовлекающие их в заранее обречённые предприятия. Но всё-таки главное – это бумажная, вполне законная унижительная возня, в которой каждый маленький начальник, секретарша, чувствуют себя вершителями судеб...

## Спасти жизнь

Ещё один случай нельзя обойти вниманием. Врачи не всесильны.

Боец получил ранение в области средней трети бедра, у него было массивное кровотечение. Осыпало, как это часто бывает, осколками всего, но наиболее тяжелым было ранение именно в правое бедро. Санинструктор, позывной Ангара, затампонировал рану (остановил кровотечение), наладил инфузионную терапию (восполнил, насколько возможно, кровопотерю), тащил раненого два с половиной километра от пункта стабилизации до машины, которая смогла его эвакуировать в госпиталь. Там жгут был снят. Нога холодная. Пульсации нет. Боец в бодром состоянии.

К сожалению, в госпитале пришлось ампутировать ногу в верхней трети бедра. Но главное, что раненому удалось спасти жизнь!

Начальство начало разбирательства, почему ампутация: передержали жгут, а нужно ли было его вообще накладывать?

После этого санинструктора стали бояться накладывать жгут.

Пришлось Знахарю разьяснять и начальству, и санинструкторам правильность и правомочность действий своего подчинённого.

У раненого был следующий диагноз: «Множественные слепые и касательные ранения верхних и нижних конечностей. Слепое осколочное ранение правого бедра с повреждением сосудисто-нервного пучка (разрыв правой бедренной артерии, правой бедренной вены, бедренного нерва) справа. Травматический шок I степени». Это означало, что кровоснабжения ноги совершенно не было и шансы на восстановление двигательной функции нулевые. Боец мог просто погибнуть от кровопотери. Ему спасли жизнь.

Валерию Ивановичу удалось убедить и начальство, и подчинённых в очевидном правильном хирургическом решении. Инцидент был исчерпан.

## Богдановка

В какой-то момент началась подготовка к взятию Богдановки.

Необходимо было наладить медицинское обеспечение наступления наших сил. Подготовить пункты стабилизации. Подобрать места, откуда можно было вывозить раненых. Определить пути эвакуации. Распределить людей. Назначить время дежурств.

Напротив стояли поляки. Их всегда сопровождало необыкновенно плотное облако дронов, подарков от НАТО. Европа всегда питала нежную природную ненависть к России. Тоска по своей земле называется ностальгией, а как называется тоска по чужой земле?

Чуть южнее Часова Яра расположено возвышенное плато, лесной массив. Постепенно противник накопил там, начав с 200 человек, до 4000 бойцов.

Знахарь должен был своими глазами увидеть местность, всё себе прекрасно представлять, рассчитать время, которое может уходить на эвакуацию раненых.

Он ездил и ездил на ЛБС (линию боевого соприкосновения). Его не раз обстреливали, за ним охотились небесные ядовитые тараканы – FPV-дроны.

Там, 29 марта, на следующий день после дня рождения, Знахарь получил первую контузию.

Перед нами не стоит задача обсуждать тактические и стратегические особенности проведения этой операции. Наши Богдановку взяли.

## Дьявол кроется в деталях

Величайшая подлость современной войны в том, что предпочтительно бойца не убить, а именно искалечить. Всё это для того, чтобы он стал обузой сначала для своего подразделения, а затем и для государства в целом. Ведь война, особенно теперь, сражение коммерческое. Это война нескольких десятков государств на истощение, на финансовую гибель. Сначала бойца на поле боя нужно нести, оказывать ему первую

помощь, эвакуировать. Потом долго лечить, реабилитировать, трудоустраивать или содержать всю оставшуюся жизнь.

Кстати, вы знаете, что свои условия нам диктуют даже протезы для раненых с ампутациями рук или ног? Дело в том, что бионические протезы выпускают уже рассчитанными на определённый уровень ампутации. Их устанавливают не сразу – оставшуюся конечность надо подравнять под протез.

А каково самому раненому чувствовать сначала дикую боль, а потом всю жизнь ощущать себя обузой? Этим вопросом никто не задаётся. Он повисает в воздухе. Только самые сильные духом тяжелораненые могут справиться с такой неподъёмной ношей.

В современной войне врага нужно не убить, а тяжело ранить и ждать, когда за ним придут товарищи, чтобы уничтожить и их. Сродни этому и подрыв на минном поле, где в смертельную ловушку попадает сначала один, а затем и другие.

Опишу некоторые особенности действия оружия, от которого и происходят все эти ранения, сотрясения, шок и повреждение конечностей и внутренних органов.

Я более тридцати лет занимался военно-полевой терапией, доктор медицинских наук, так что эта тема мне близка. Кстати, токсикология такая же часть военно-полевой терапии, как и радиология.

Несмотря на то, что противопехотные мины запрещены многими международными документами, например Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), именно они основной поражающий фактор в этом военном конфликте.

Изобретено множество мин. Одни реагируют на давление, другие – на сотрясение, третьи – на изменение положения в пространстве, четвёртые – на металл, пятые – на приближение, шестые взрываются согласно заданному им расписанию и, так сказать, самоликвидируются, седьмые – на звук, восьмые вообще неизвлекаемы – их можно ликвидировать, только подорвав.

Я не хотел бы повторять и цитировать учебники по инженерно-саперному делу. Но не могу не заметить, что какие только романтические цветочные названия не носят смертельные снаряды «колокольчики», «лепестки» – эта концентрация боли и горя, страданий!

Миллионами «колокольчиков» усеяны поля не только вблизи линии соприкосновения, но и на освобожденных территориях. Эти мины получили свое название из-за характерного внешнего вида: металлический цилиндр с матерчатой лентой, напоминающий колокольчик или цоколь от лампочки, к ней прицеплена лента. Чуть заденешь его или ленту – произойдёт взрыв, который может поразить на дистанции до 12 метров от эпицентра взрыва. Американцы хорошо постарались над его конструкцией. Мина «колокольчик» весит в зависимости от модели 208–213 грамм, относится к наиболее опасным касетным противопехотным минам натовского производства (3-й уровень опасности). Одна касета может содержать до 72 таких мин. Эти мины неизвлекаемы. У них нет механизма самоликвидации. Каждый «колокольчик» встаёт на боевой взвод за счёт раскрутки ленты из нейлона в процессе полёта. При ударе конусом нижней части вниз инициируется детонатор, и он взрывается. Падает боком – остаётся лежать на десятилетия. Эти смертоносные устройства распространяются с помощью касетных боеприпасов или дронов, превращая территорию в сплошное минное поле.

*Противопехотная мина «Лепесток»* – апофеоз европейской фашистской подлости, хотя и встречается сейчас реже, но его коварство выражено не менее ярко. Начать хотя бы с того, что дети принимают его за игрушку. Если человек наступит на «Лепесток», то в лучшем случае ему раздробит ступню, которую постараются собрать в госпитале, в худшем – ступню просто оторвет.

Первое, что происходит с таким раненым, это травматический шок – катастрофическое, угрожающее жизни больного состояние, причины которого складываются из нестерпимой боли, кровопотери, истощения гормонов, вырабатываемых, в частности, корой надпочечников и ещё некоторых причин.

У шока есть стадии эректильная и торпидная. И не подумайте плохого. В эректильную стадию на фоне выброса симпатoadреналовых гормонов раненый способен прыгнуть на небывалую высоту, сразиться с медведем, убежать быстро, как олень, он не чувствует боли (выделяются ещё и эндорфины, собственные гормоны, похожие на наркотики), его силы удесят�ряются. Но это ненадолго.

Потом начинается торпидная стадия. Гормоны выходят из депо и заканчиваются, давление падает, и без помощи врача наступает смерть.

Это всё как раз и есть одна из частей военно-полевой терапии, которой занимался ваш покорный слуга. За этим начинается хирургия. Но военно-полевая терапия продолжается, она сопровождает хирургию вплоть до окончательного выздоровления больного. Потому что больного подстерегает сначала гнойно-резорбтивная лихорадка, затем сепсис (по Ипполиту Васильевичу Давыдовскому «сепсис – это общее заболевание организма, вызванное инфекцией, потерявшей зависимость от очага»), а ещё гипостатическая пневмония, подстерегающая всех лежачих больных, и заболевания практически всех органов, вызванные как инфекцией, так и расстройствами кровообращения, местными и общими. Кроме этого могут начаться аутоиммунные заболевания, ведь в кровь всосались продукты распада собственных тканей организма, с которыми иммунной системе что-то надо делать.

Античеловеческие подходы к истреблению людей приобретают всё более явные черты бунта машин. Мы вынуждены закапываться под землю, но и там нас научатся находить созданные нами устройства.

В ход укропами пускается всё, что запрещено международным сообществом. И хохлам, а вернее, их западным хозяевам, всё равно, свои это или чужие. Над солдатами проводят эксперименты.

Но на СВО втихую укронацистами применялось и химическое оружие. Это были и соединения хлора, и фосфор. Знахарь столкнулся с тем, что со стороны противника были попытки применения и ипритоподобных соединений. Может быть, и самого иприта. Во всяком случае, у них было кожно-нарывное действие. В течение часа у поражённых было отмечено появление пузырей. Причем сам контакт с отравляющим веществом был ими не замечен: безболевого контакт характерен для иприта, в связи с тем, что он вызывает паралич периферических нервных окончаний.

О том, с чем пришлось столкнуться на СВО Знахарю, я рассказал потому, что у нас каждый второй считает себя умнее любого врача и готов давать поверхностные советы по лечению самых экзотических заболеваний. Но я бы хотел, чтобы вы вникли хотя бы в одну тысячную доли тех сложностей, которые должен учитывать врач в лечении столь распространённых сейчас патологий. И тут лучше сказать о врачебной профессии стихами:

Я – врач, о вас я больше знаю,  
Чем сами вы, – и во сто крат.  
И здесь ответственность иная,  
И знал об этом Гиппократ.

Я знаю все о ваших душах,  
Что отражаются в телах.  
И пусть свирепствуют кликуши,  
Судача о моих делах.

Я вижу бисеринки пота  
И крови бьющийся родник;  
Я слышу – в этом и работа –  
Предсмертный стон и первый крик.

Я отстраняю вас от края,  
Куда вы катитесь, скользя,  
И с каждым вместе умираю.  
Привыкнуть к этому нельзя!

И каждый раз, как с поля боя,  
Вытаскивая на себе,  
Я заслоняю вас собою  
И радуюсь такой судьбе.

Спасаю от смертельной раны,  
Что вам наносит мир-палач.  
Какая тонкая мембрана –  
И это – это только врач!

И ещё. После этой войны, даст бог, у нас будет возможность для того, чтобы переписать все учебники, пересмотреть все правила.

Уникальность нашей профессии состоит как раз в том, что это неразрывный сплав из биологии, математики, механики, химии, физики, психологии и глубокой веры в Божественное проведение, без которого с головы человека не упадёт ни один волос. Мы можем сделать всё правильно, а выживет ли больной, решает только Бог. Незабвенен пример профессора хирургии Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (архиепископа Луки).

## Обыкновенное чудо

Спасённый раненый подарил Знахарю шеврон с образом Христа, он прикрепил его к рукаву Валеры со словами: «Мне помог и тебе поможет!»

27 апреля 2024 года проводили эвакуацию раненых с переднего края. В машине были Мамон, Балу, Роса и Знахарь.

Мамон увернулся от первого FPV-дрона и, понимая, что от второго не уйти, развернул автомобиль так, чтобы принять удар со своей стороны. Второй влетел в стойку машины за Мамоном: вспышка, и – ужасный взрыв.

Валерий очнулся. На него смотрел живой Христос! Лик немного двигался! Валерий мог смотреть только одним глазом, но Христос смотрел на него двумя. На лице Бога ясно виделось сострадание, а кро-



ме того этот облик буквально излучал уверенность и надежду! Только через несколько секунд Знахарь понял, что рукав куртки с подаренным шевроном образа Христа был оторван и висел напротив его лица, в паре десятков сантиметров. Если это не чудо, если не чудо – спасение всех членов экипажа после попадания дрона-камикадзе в салон машины, то что же вы назовёте чудом?!

У Валерия Ивановича была открытая сочетанная черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения волосистой части головы, лица, глазницы. Акубаротравма. Множественное осколочное поражение шеи, груди, правой верхней и обеих нижних конечностей.

Первое, что сделал Знахарь, – это левой рукой снял с искорёженного железа рукав с шевроном и убрал его в грудной карман куртки. Правая рука не поднималась совсем – работала только в области кисти.

«Выжил» и автомат. Прихватив его, Знахарь с большим трудом выполз из машины. На земле лежал Балу. Санинструктор успел прокричать по рации: «Знахарь! Мост!» Дальше шёл набор междометий, означавший – мы мертвы. И Балу потерял сознание. Вверху Знахарь заметил светлое пятно беспилотника. Передёрнув затвор левой рукой и уперев приклад в плечо, выпустил по нему целый рожок на 45 патронов. Потом осмотрел Балу: нога разорвана, из живота течёт. Когда Знахарь делал Балу обезболивающий укол, у него было ощущение, что на секунды перестаёт видеть и правый глаз. Потом оказалось, что у него была скальпированная рана волосистой части головы, и завернувшийся лоскут скальпа периодически закрывал правый глаз. Сделав всё, что мог, Знахарь потерял сознание. Очнулся только в санитарной машине. Началась неукротимая рвота.

Долго не могли выехать – их явно пасли беспилотники.

Не дождавшись своей добычи, дроны догнали и взорвали ещё несколько других медицинских машин.

Наконец группу Знахаря доставили в медсанбат в Артёмовске.

То ли от отчаяния, то ли от боли он начал сопротивляться и бузить, когда ему начали резать штаны и берцы. К тому же обидно – бейсболку с характерной эмблемой «Бабр держит куницу» он где-то потерял – подарок иркутских ребят. На самом деле на эмблеме – тигр, но называют его почему-то «бабром», с ударением на первый слог. Он проходил в ней всё время пребывания на СВО.

Необходимые операции провели на высоком уровне. Голову зашили. Ночью вывезли в Луганск, а утром – бортом в Ростов.

Всё ещё плохо слышащие, с кровотокающими ранами, дезориентированные раненые не слишком хорошо понимали, о чём их спрашивали, и сильно тормозили. Раздражённый этим молодой человек, то ли медбрат, то ли фельдшер лет девятнадцати, начал им тыкать и хамить. А что, все добровольцы – рядовые. В форме рядового был и Знахарь. Добровольцы – все раненые бойцы, все возрастные – за сорок лет, кровь течёт – повязки все мокрые и липкие от крови, а этот тыкает! И тут у Валеры упала планка:

– Чё ты сказал?! Встать, мразота! Ты кто такой? Как ты разговариваешь с ранеными?! Как стоишь перед полковником?! Врачей зови! Скажи: «Полковник Логинов здесь!»

Фельдшер побелел. Появились врачи, отправили в отделение.

Но в отделении, проходя и проезжая на каталках (кто как) мимо перевязочной, Логинов стал настаивать на том, что поступившим раненым нужно сделать перевязки.



– Перевязочная закрыта, – был ответ.

Логинов дёрнул дверь. Она открылась, за ней обнаружился сидящий медбрат.

– Нужно сделать перевязки, – сказал Знахарь.

– Завтра, – прозвучал дежурный ответ.

– Ты видишь, все повязки промокли, кровь течёт!

– Вы не видели, как промокают повязки! – огрызнулись в ответ.

Всё! Всё повторилось.

– Врача сюда! – скомандовал Знахарь.

Пришёл дежурных хирург.

– У вас давно проверок не было? Организую! И начальника медицинского управления и главного хирурга! Вы не поедете туда, откуда эти раненые! – Валера не мог остановиться.

После оказалось, коллеги – чудесные люди. Заходили каждый день. Справлялись о здоровье и пожеланиях. Предупредительные такие... Правда, некоторые на передний край всё-таки попали.

Чуть позже туда же, в госпиталь, поступило ещё несколько фельдшеров и санинструкторов из подчинённых Знахаря. Один из них пожаловался на неприятные ощущения в шее:

– Что-то у меня с цепочкой.

Шея была замотана бинтами. Осматривая его, Знахарь заметил, что несколько звеньев толстой металлической цепочки от креста почернели и спаялись – чёрный толстый металл.

– А у тебя рентгеновских снимков шеи не осталось? – без всякой надежды спросил Знахарь у раненого.

– Да, я их на телефоне сохранил, – неожиданно ответил санинструктор.

Логинов посмотрел прилично сфотографированные снимки. На них на уровне шестого шейного позвонка были видны два осколка, смявшие цепочку с двух сторон шеи, и застрявшие в мышцах. Два осколка были остановлены толстой цепочкой, вмяли её в ткани, но рассыпались, оплавив преграду и не убили. Две раны и рубленая рана от цепочки.

Есть истории, в которых пулю останавливал православный крест, но чтобы цепочка остановила сразу два осколка?! И два таких чуда – с шевроном и с цепочкой – случились в один день!

Следующий этап Валериной эвакуации – Москва. Они прилетели на один из московских аэродромов: огромное поле, жуткий холод. Четыре часа на поле. Ждут своей очереди порядка 200 раненых. Ни одного пулевого ранения. Все минно-взрывные. Поистине – бой людей и машин.

Начали распределять по госпиталям. Валерия Ивановича перепутали и вместо госпиталя им. Н.Н. Бурденко направили в госпиталь им. А.А. Вишневого. Уже там он робко задал вопрос, куда его повезут дальше.

– В Улан-Удэ, – прозвучал ответ.

– А ещё какие варианты?

– Хабаровск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский!

Валерий Иванович позвонил ведущему хирургу округа, которого прекрасно знал.

– Тут одного хорошего человека хотят отправить в Улан-Удэ, а он из Нижнего Новгорода.

– А что за человек?

– Я.

Через некоторое время в палату вошёл местный хирург.

– Логинов, собирайтесь, будем вас переводить сегодня!

– А можно завтра?

– Нельзя! Приказ!

Так Знахарь вернулся в Нижний, в родной госпиталь.

Он был весь в запёкшейся крови. Лицо представляло собой один заплывший синяк. Всё – сплошная гематома. Рука и ноги двигались еле-еле.

На нём были треники с оттопыренными, растянутыми коленями, которые, казалось, уже носило не одно поколение советских людей, грязная футболка и какая-то немыслимая курточка. На ногах тапочки. Короче, одет был как бездомный. Грязный! Бомж из подворотни! Своей одежды у него уже не было. Уж какую одежду в Москве в госпитале нашли под рукой, ту и нашли.

– А мы его не узнали, – оправдывались после медсестрички, – мы думали – бомжа привезли.

Гульнара, встретившая его, непререкаемо объявила:

– Записывайте его! И отпускайте домой! Перевязку я сама сделаю. Отмою и привезу! Хотите, к семи часам! Хотите, к восьми!

## Гульнара

Цветок граната на персидском, Гульнара – жена Валеры, много лет работала в госпитале: сначала процедурной сестрой в хирургическом отделении, потом – старшей сестрой стоматологии.

Она всегда знала, что Валера пойдёт на войну.

Он, собственно, никогда не спрашивал, делал то, что должно.

Когда он уехал в первый раз, почти не переживала. Не выпустят. Не то что была спокойна, переживала страшно, но было в ней какое-то предчувствие, которое никогда не подводило.

Но Гуля знала и то, что правдами или неправдами он на линию боевого соприкосновения попадёт.

Когда Валера позвонил и сказал, что приехал по служебной необходимости в Ростов, поняла – он ранен. Спросила:

– Куда ранен? Ранение лёгкое или тяжёлое?

– Кто тебе сказал? – вскинулся Логинов.

– Лёгкое или тяжёлое?

– Лёгкое.

Раз разговаривает, значит – среднетяжёлое, решила она.

Но когда он сообщил, что его могут направить в Улан-Удэ, она взмолилась: «Поднимай всех друзей! Только бы привезли в Нижний!»

Выхаживая мужа, потратила все силы, вложила всю душу. Всё повторяла: «Как хорошо голову зашили. Почти ничего не видно». Осколки выходили постепенно. Многие остались в теле. Вот, например, под глазом кусок металла. Когда Гуля мыла Валеру и видела наклёвывающийся выступ, спрашивала: «Ещё один осколочек. Я его смахну?». Так своей любовью и выходила, поставила на ноги.

Знахарь опять в строю. Он опять у постели больных выполняет свой долг, охраняя их здоровье и жизнь. По праздникам на его форме появляются Георгиевский крест и медали от ДНР. Слава богу, в нашей жизни есть и такие люди, как Валерий Иванович. Их немного, они не на виду, но на них держится Россия. А только Россия – надежда мира!

## Дмитрий ИГНАТОВ

Родился в 1986 году в Ярославле. Проходил обучение в ЯГТУ по специальности «инженер-педагог машиностроения». В настоящее время – дизайнер и веб-разработчик, пишет сценарии для кино, ТВ и рекламы.

Публиковался в изданиях «Знание – сила», «Знание – сила: Фантастика», «Искатель», «Нева», «Дарьял», «Байкал», «Смена», «Нижний Новгород», «День литературы», в альманахах и сборниках. Автор романа в рассказах «Великий Аттрактор», иронического фэнтези «Кампания Тьмы», хоррор-повести «Первыми сдохнут хипстеры» и сатирического справочника «Это ваше FIDO».

Живет в Воронеже.

## ПОЧЕМУ?

О проблеме современного «авторского» права  
и монетизации литературного творчества

*После выхода очередного сборника, который я снова принципиально сделал бесплатным, в письмах и сообщениях разгорелась полемика. Высказывались как читатели, так и мои коллеги по перу. Эмоциональная окраска варьировалась от сожаления до возмущения, а тезисы сводились к следующему: «Каждый труд должен оплачиваться», «Нужно стимулировать писателя», «Контент стоит денег», «Нельзя приучать к халяве» и т. д.*

*Не думаю, что смогу с наскока охватить проблему всесторонне, но попытаюсь. Вероятно, некоторые вещи придётся разворачивать с историческими экскурсами, а другие – вынужденно сократить до тезисов. Тем не менее я постараюсь быть в равной степени убедительным и строгим. Поехали!*

## Книга

В давние времена, когда книги писались и переписывались вручную, они имели высокую ценность по той лишь причине, что изготовить их было трудно. Умеющих читать – мало, пишущих – ещё меньше. Текст был вручную нанесён на лист и неотъемлемо связан с носителем – папирусом, пергаментом, бумагой. Переплетённый же сборник таких рукописных листов – фолиант – автоматически становился ценнейшим артефактом, овеянным знанием. Стоит ли говорить, что материал и труд тратили на тексты важные – сакральные и научные – философские, медицинские, алхимические, исторические и т. д. Художественные или публицистические произведения тоже писались, но ни у кого из авторов не было даже мысли об извлечении прибыли из текста. Ведь создавалось всё для ближайшего круга таких же редких образованных лиц, способных понять содержание, и для благодарных

потомков, разумеется. Стоимость же книги представляла собой стоимость изготовления самого носителя.

С изобретением книгопечатания и дальнейшей автоматизацией этого процесса ситуация изменилась. За создание экземпляра – копии книги – отвечал теперь не автор и не единоличный переписчик, а владелец книгопечатной мануфактуры. Замечу, именно владелец, а не рабочий, ведь мы уже вошли в эпоху разделения труда. Книга стала намного доступнее, но продолжила быть материальным товаром. При этом параллельно грамотных людей стало значительно больше. И это позволяло книгопечатнику (издателю) извлекать прибыль от тиражирования. Очевидно, авторы не могли пройти мимо и не затребовать отчислений с каждой проданной копии, что и послужило причиной возникновения так называемого «авторского права», существующего до сих пор (к тому, чьё оно на самом деле и чьи интересы защищает, мы вернёмся позже).

## Текст

Дальнейшее развитие массовой печати позволило одинаково эффективно штамповать любые тексты – от Библии до порнографии. И хотя текст всё ещё был связан с носителем, но цена последнего уже не могла определить цену товара под названием «книга». Включились механизмы рынка – спрос, предложение и все возможные способы повлиять на них: мода, реклама и т. д. Возникло самоочевидное ощущение, что одни тексты лучше других, потому что лучше продаются. Здесь многие авторы (даже современные) могут возмутиться такому утилитарному подходу. Это же произведение искусства! Продукт творчества! Да. Но раз уж мы говорим о продаже, то это в первую очередь просто продукт. И его истинная стоимость определяется потребителями.

## Контент

Тем не менее нас нагнал технологический прогресс. Всеобщая грамотность (пусть уже в увядающем виде) и тотальное проникновение цифровой среды позволили буквально каждому сесть за печатающий девайс и излить миру свои мысли в текстовой форме. Текст окончательно оказался отвязан от физического носителя. Однако в голове у автора, а главным образом у «издателя», всё ещё крепко сидит мысль о том, что каждая копия должна быть оплачена. Хотя ни автор, ни тем более «издатель» не приложили к созданию этой копии никакого труда (именно поэтому я беру слово «издатель» в кавычки). В стоимости копии современного электронного экземпляра книги нет ни труда переписчика, ни труда рабочего-печатника, ни тем более так называемого «издателя». Есть лишь выработанная издавна слепая уверенность автора в том, что каждая копия должна быть оплачена.

Мне часто приводят в пример аналогию с современным видеоконтентом, который производят блогеры, монетизируя просмотры. Они, безусловно, тоже вкладывают силы и средства в создание контента. Вот только деньги в этом случае они получают не за него, а за ту рекламу, которую зритель вынужден смотреть. Иными словами, как только автор текстов заявляет, что «создаёт контент» и по этой причине желает монетизации, я сразу могу порекомендовать ему заняться поисками не «издателя», а рекламодателя.

## «Издатели»

Если рекламодатели честно готовы «внедриться» в популярный контент и заплатить именно за это, то современные «издатели» действуют иначе. Они заявляют, что способствуют распространению печатного слова – в тиражах бумажных книжек, на площадках с цифровыми версиями, – но по факту, прикрываясь «авторским правом», просто паразитируют на авторе. По сути «авторское право» давно стоило бы назвать «издательским правом». Посудите сами...

Кого и по каким критериям отбирают так называемые эксперты книжного бизнеса? Это самородки? Внезапно возникшие таланты? Те, кто по-новому раскрыли богатство языка или подняли ранее не освещённые темы? Конечно, нет... Это те, в ком «издатели» увидели коммерческий потенциал. В лучшем случае это текст, наиболее точно (по мнению «издателя») отвечающий неким популярным трендам. В худшем – это некий персонаж, уже обросший фан-базой из подписчиков, блогер, сетевой фрик. В книжку такого автора можно вложиться – есть те, кто её купят. Рисков меньше, прибыль больше. А если не «выстрелит», то затраты на одного неудачника окупятся прибылями от десятков штампованных «бестселлеров». Закон больших чисел. «Издатель», как и казино, всегда в прибыли. А автор? Литература в целом? Кому они нужны? Ведь, как и во времена мануфактурного печатного станка, «издатель» просто зарабатывает бабки.

Ради этого будут наняты заштатные критики, будут организованы правильные эксперты и заряжены нужные премии. Читателю расскажут, кого нужно считать писателем и кого стоит читать. Покупая за деньги, естественно. И круг замкнётся. Главный секрет, который ещё не могут осознать автор и читатели, в том, что в современном мире «издатель» уже не нужен. Он легко и безболезненно может быть исключён из отношений людей и текстов. И я говорю не о площадках самиздата, ведь они исполняют точно такую же функцию «издателя»-паразита. Поговорим о них чуть позже. Сейчас немного отрезвляющей математики для авторов, волнующихся за свои гонорары...

## Роялти

Посчитаем, сколько зарабатывает автор в рамках так называемого «авторского права» и современных реалий. Не бойтесь, будет не сложно.

Средняя цена бумажной книжки – 600 руб.

Мы не уточняем объём, исполнение, твёрдость корок, наличие иллюстраций. Не учитываем популярность жанра и художественные достоинства текста. Мы берём некий средний чек за товар под названием «книга».

Обычно он издаётся средним тиражом 3000 экз. Иногда больше, иногда меньше, но чаще всего именно таким. Ровно столько книжек разово попадает из типографии на рынок для дальнейшей продажи.

Их суммарная стоимость, которая будет заплачена покупателем-читателем, составит:  $600 \times 3000 = 1\,800\,000$ . Почти два миллиона! Вдумайтесь! Давайте и правда округлим до двух. Всё в пользу автора.

Не важно, какая часть осядет в карманах перекупщика, владельца торговой сети, типографии и «издателя». Важно, сколько получит автор. А авторское отчисление (или роялти) составляет обычно

от 5 до 15 %. 15 – если вы Пелевин, и 5 – если никто. Пускай вы будете в середине... А это значит, что от щедрых 2 миллионов вам досталось 200 тыс.

Казалось бы, не так мало. Но не стоит забывать, что это сумма от реализации всего тиража. Она будет выплачена вам постепенно по мере продаж. А продаётся тираж примерно год. Иными словами, это ваш годовой доход. В среднем же он составит  $200 : 12 = 17$  тыс. в месяц. Это при условии, что книжки всё-таки будут полностью распроданы. И да... Мы ещё не вычли налоги.

Мой оппонент, конечно, может сразу же возразить, что я где-то напутал с числами. Что ж, расчёты легко можно будет повторить с другими вводными. И вдруг получить не 17, а 21 тыс. в месяц. Забудем на секунду, что это никак, ничем и никем не гарантированная выплата... Просто сами сравните её со средней зарплатой в вашем регионе и ответьте на вопрос: Сколько книжек в год вы должны писать, чтобы чувствовать себя в такой системе уверенно? А вы уверены, что эти книжки непременно возьмут для издания, как взяли первую?

Тут на сцену выходит спасительный...

### «Самиздат»

Снова не случайно ставлю это слово в кавычки. Скоро объясню почему. Пресловутые площадки самиздата действительно поначалу представляются альтернативой классическим издательствам. Они открыты для всех. Зачастую предоставляют всем равные возможности. Не накладывают практически никаких стилистических и художественных ограничений. Казалось бы, полная свобода творчества и возможность заработка для автора. Если бы это не была всё та же рыночная система, где книга (пусть и электронная) является таким же товаром...

Опять чуть-чуть посчитаем. Тем более, что условия тут кажутся куда более сладкими. Но математика неумолима, а формулы всё те же...

При средней стоимости электронной книжки в 200 руб., тираж у нас практически неограничен, а роялти достигает 35%. Посчитаем, что нам потребуется, чтобы заработать всё те же 17 тыс. в месяц или 200 тыс. в год... Всего-то продать  $200\,000 : 35 \times 100 : 200 = 2857$  своей нетленки. Почти тот же типовый тираж. И всего  $2857 : 365 = 7$  книжек в день. Правда, без учёта праздников и выходных. И всё ещё без вычета налогов.

Кажется, что это не так много. Вот только никто не будет помогать вам это делать. Здесь уже нет ни маркетолога, ни продавца, ни торговой сети... Есть только ваше желание озолотиться за счёт своего творчества и ваше свободное время. Можно вложить личные средства в рекламу, что снизит рентабельность всего мероприятия. Можно заниматься самостоятельным продвижением, что отнимет время от творческого процесса. Мы ведь всё ещё помним, что выпуска одной книжки в год нам на жизнь вряд ли хватит... Тем не менее заниматься всем этим будет автор самостоятельно. Это ведь площадка «самиздата». А что в итоге? 35% роялти – значит, что 65% всех ваших усилий и заработанных денег пойдут этой самой площадке. Такому же «издателю». За что? За сам факт вашего размещения. Не получится у вас... Получится у другого. Казино всегда в прибыли. Разница только в том, что такой цифровой «издатель» не тратится ни на маркетинг,



ни на логику, ни даже на бумагу. А автор, свято веруя в самостоятельный «успешный успех», просто усерднее работает на такого умного и находчивого дядю.

И тут закономерно возникают...

## Вопросы

Чьи же интересы обеспечивает так называемое «авторское право»?

Для кого-то же работает автор?

И у кого «ворует» деньги читатель, скачавший книжку бесплатно?

А главное...

## Что делать?

Если вы писатель – пишите. Пытайтесь сказать новое, раскрыть волнующее, найти собственный художественный язык и стиль. Зарекомендовать себя в сообществе читателей, редакторов и литературоведов. Публикуйтесь в Сети. В литературных журналах. Они тоже печатают – и на бумаге, и в сети. Это бесплатно и реально. Иногда даже выплачивают гонорар. Не бойтесь быть украдены. Бойтесь потеряться. Потому что конкуренция крайне высока. Только представьте, сколько таких же человекообразных обезьян написали свои тексты, пока вы читали этот. Вложите в свою раскрутку силами или деньгами. Обрастайте аудиторией в соцсетях. Но ни единой копейки своего труда не отдавайте паразиту, которому плевать на вас и ваше творчество. Сделайте ставку на свой талант и доверьтесь своему читателю. Те, кому вы действительно понравитесь, – вам сделают...

## Донаты

Те же самые создатели сетевого контента регулярно прибегают к этому простому, но рабочему механизму поддержки. Кто-то скажет, что это нестабильная система. Но ведь и предыдущая описанная выше – ничем не стабильнее, потому что не гарантирует регулярные продажи. Зато система донатов более честная... Читатель платит только за то, что ему уже понравилось и только тогда, когда хочет и может. На площадках самиздата и в книжных магазинах такое не работает. Дрянную книжку не получится вернуть. При том, что наша Вселенная уже завалена такими «шедеврами», где от безграмотности и стилистических ляпов очищен лишь ознакомительный фрагмент. А ведь у читателя тоже должно быть своё «читательское право» читать только хорошую литературу. В конце концов, он рискует даже не деньгами, а временем собственной жизни.

Но самое главное, что такая система добровольных пожертвований может, наконец, вышвырнуть дармоедов из системы творческих взаимоотношений. Текст уже отвязан от носителя. Так почему же автор и читатель должны быть привязаны к какому-то алчному «издателю», даже если он спрятался под личиной маркетплейса в интернете? Ничего полезного для автора он давно не делает. Кто считает иначе, может перечитать и пересчитать эту статью с калькулятором. Тем же, кто не пишет, а хочет просто читать книжки...

## Индульгенция

«Воруйте!» Скачивайте! Копируйте! Делитесь! Как автор, я даю на это своё полнейшее согласие. Потому что это не воровство. В процессе копирования ваш компьютер и роутер потратили больше энергии, чем «издатель», подмявший под себя текст при помощи лицемерного «авторского права». Вы ничего ему не должны. Более того! Вы способствуете распространению информации. Помогаете автору в распространении его трудов.

Я искренне убеждён, что вещи, которыми можно делиться, не теряя, – не должны продаваться за деньги. Текст – именно такая вещь. И именно поэтому я выкладываю свои тексты в открытый доступ, оставляя все реквизиты для читательской благодарности. Надеюсь, я был достаточно убедителен и ответил на тот вопрос, с которого всё началось. Читатели, полагаю, поддержат меня в этой принципиальной позиции.

Но намного важнее, чтобы понимание озарило, наконец, именно пишущее сообщество. Барыги давно превратили вас в придаток для своего механизма по выколачиванию бабла. Они диктуют вам, что и как писать, согласно трендов и во имя прибыли. Если ваш текст – это товар, то и вы – не более, чем штамповочный станок. В таком случае не надо жаловаться, что вскоре вас заменят нейросети. Они обязательно сделают это. И я буду даже рад, когда это случится с большинством графоманов. На них наплевать. Главное, чтобы настоящий автор не забывал, как и для чего он творит. Возможно, хоть так что-то изменится.

## Вехи памяти

### Андрей РУМЯНЦЕВ

Родился в рыбацком селе Шерашово на Байкале. Окончил Иркутский университет. Работал в газете «Молодежь Бурятии», затем заместителем председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Бурятии.

Автор многих поэтических и прозаических книг, в том числе биографических повествований о Валентине Распутине и Александре Вампилове, вышедших в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия». Публиковался во Франции, Канаде, Болгарии, Эстонии и других странах.

Народный поэт Бурятии, член Высшего творческого совета Союза писателей России. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Лауреат нескольких литературных премий.

Живёт в Москве.

### «ЦАРСТВО СОЛНЦА ВНУТРИ НАС...»

130 лет со дня рождения Сергея Есенина

У поэзии Сергея Есенина есть одна особенность, которой отмечено все его творчество. О ней не скажешь в двух словах. Можно только подчеркнуть, что она отчасти мистическая, заложенная свыше в его редкостном даре.

Я имею в виду устремленность чувств и мыслей поэта к неземному, вышнему, постоянное присутствие в его стихах той особой просветленности, которую издавна называют небесной. Это сокровенно выражено им в строках:

Душа грустит о небесах,  
Она не здешних нив жилища.

Проще всего было бы свести разговор к предчувствию поэтом краткости своей земной жизни, к болезненному желанию до срока уйти в иной мир. Нет, здесь мы имеем дело с редким прозрением гения. По Божьему предначертанию, земная жизнь души как пролог к жизни небесной есть ее постоянное причащение к добру и любви, есть все более глубокое познание ею праведности и чистоты. В этом смысле отчая земля для поэта с юных лет получила приметы нездешней духовной обители:

...Чую Радуницу Божью –  
Не напрасно я живу,  
Поклоняюсь придорожью,  
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,  
Меж берез кудрявых бус,  
Под венком, в кольце иголок,  
Мне мерещится Иисус.

Он зовет меня в дубровы,  
Как во царствие небес,  
И горит в парче лиловой  
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,  
Словно огненный язык,  
Завладел моей дорогой,  
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,  
В сердце радость детских снов.  
Я поверил от рожденья  
В Богородины покров.

*1914 г.*

Нас не должно сбить с толку позднее утверждение Есенина: «От многих моих религиозных стихов и поэм я бы с удовольствием отказался, но они имеют большое значение как путь поэта до революции».

И в другом месте:

Я просил бы читателей относиться ко всем моим Иисусам, Божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии. Отрицать я в себе этого этапа вычеркиванием не могу так же, как и все человечество не может смыть периода двух тысяч лет христианской культуры, но все эти собственные церковные имена нужно так же принимать, как имена, которые для нас стали мифами: Озирис, Оаннес, Зевс, Афродита, Афина и т. д.

Вера человека или его неверие — это часть его духовного мира. Вера может усиливаться, может ослабевать и переходить в неверие. Но мы говорим не о том, как отражались вера или неверие в творчестве Сергея Есенина. Мы говорим о том особом лирическом чувствовании, которое неизменно присутствовало в его стихах разных лет, не ослабевая, а, пожалуй, лишь обогащаясь благодаря новому духовному опыту. Это чувство русского философ Георгий Федотов назвал «зовом таинственного мира». Вот лишь несколько примеров.

Обращение к родине (1917 г.):

Там, где вечно дремлет тайна,  
Есть нездешние поля.  
Только гость я, гость случайный  
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,  
Крепок взмах воздушных крыл.  
Но века твои и годы  
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,  
Не с тобой мой связан рок.  
Новый путь мне уготован  
От захода на восток.

Суждено мне изначально  
Возлететь в немую тьму.  
Ничего я в час прощальный  
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,  
В тот покой, где спит гроза,  
В две луны зажгу над бездной  
Незакатные глаза.

Обращение к Богу (1919 г.):

Сойди на землю без порток,  
Взбурли всю хлябь и водь,  
Смолой кипящею восток  
Пролей на нашу плоть.

Да опалят уста огня  
Людскую страсть и стыд.  
Внеси, как голубя, меня  
В твой в синих рощах скит.

Обращение к женщине (1923 г.):

Я хотел бы опять в ту местность,  
Чтоб под шум молодой лебеды  
Утонуть навсегда в неизвестность  
И мечтать по-мальчишески – в дым.

Но мечтать о другом, о новом,  
Непонятном земле и траве,  
Что не выразить сердцу словом  
И не знает назвать человек.

Чувство, которое сердце не может выразить словом... Есенин, тем не менее, находил слова, чтобы сказать о нем наиболее точно. В рецензии на роман Андрея Белого «Котик Летаев» (1918 г.) он писал: «...мы, созданные по подобию, рожденные, чтобы найти ту дверь, откуда звенит труба, предопределены, чтобы выловить ее “отворись”. “Прекрасное только то, чего нет”, – говорит Руссо, но это еще не значит, что оно не существует. Там, за гранию, где стоит сторож, крепко поддерживающий завесу, оно есть и манит нас, как далекая звезда. Меланхолическая грусть по отчизне, неясная память о прошлом говорят нам о том, что мы здесь только в пути, что где-то есть наш кровный кров, где

У златой околицы  
Доит Богородица  
Белых коз...»

Есенин не мог обойти стороной важного для себя вопроса и в статье «Ключи Марии», посвященной обоснованию органичного образа в русской поэзии. По его мнению, образное мышление наших предков обнимало не только земную жизнь; оно устремлялось и в небесные дали. «Прочитав сущность земли и почувствовав над нею прикрытое синим сводом пространство, – писал двадцатитрехлетний поэт, – человек протянул руки и к своей сущности». Человек попытался, добавим мы, открыть в себе божественную сущность. Ведь при создании его, как и земли, и неба, всем им была дарована равная благодать. Любо-

пытно, что само время (1918 г.), когда были написаны «Ключи Марии», наложило отпечаток на размышления поэта – он особо выделил:

...Буря наших дней должна устремить и нас от сдвига наземного к сдвигу космоса. Мы считаем преступлением устремляться глазами только в одно пространство чрева; тени неразумных, не рожденных к посвящению слышать царство солнца внутри нас, стараются заглушить сейчас всякий голос, идущий от сердца в разум, но против них должна быть такая же беспощадная борьба, как борьба против старого мира.

Несвойственные Есенину призывы «к беспощадной борьбе» оправданы тут его страстной верой: обновление жизни приведет к обновлению души, то есть к ее очищению.

Кратко есенинское требование к художнику, на мой взгляд, как раз и можно выразить так: поэзия есть духовное очищение. Могут возразить, что «имажинистский» период творчества лирика, время создания таких произведений, как «Исповедь хулигана», цикл стихов «Москва кабацкая», отмечены «снижением» его лексики, намеренным употреблением грубых слов. Где же тут стремление к духовному очищению? Но и сам поэт, и его современники не раз утверждали, что образ «хулигана», кабацкого гуляки – это не более чем маска, за которую в жестокое время ломки всей русской жизни пряталась нежная, ранимая, мятущаяся душа поэта. Позже, в 1924 году, сам Есенин с поразительной, безоглядной искренностью, покаянно объяснил свою житейскую неустроенность в «Письме к женщине»:

Любимая!  
Меня вы не любили.  
Не знали вы, что в сонмище людском  
Я был как лошадь, загнанная в мыле,  
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,  
Что я в сплошном дыму,  
В развороченном бурей быте  
С того и мучаюсь, что не пойму –  
Куда несет нас рок событий.

<...>

Ну кто ж из нас на палубе большой  
Не падал, не блевал и не ругался?  
Их мало, с опытной душой,  
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я  
Под дикий шум,  
Но зрело знающий работу,  
Спустился в корабельный трюм,  
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был –  
Русским кабаком.  
И я склонился над стаканом,  
Чтоб, не страдая ни о ком,  
Себя сгубить  
В угаре пьяном.



Но зато как сильна в стихах Есенина 1917–1918 годов жажда чистой, праведной жизни, духовного «преображения»! Он неустанно твердит: грядет новый мир, грядет новая поэзия, и в них будут царить правда и добро. Вот только один кусочек из маленькой поэмы 1917 года «Певущий зов»:

Кто-то мудрый, несказанный,  
Все себе подобя,  
Всех живущих греет песней,  
Мертвых – сном во гробе.

Кто-то учит нас и просит  
Постигать и мерить.  
Не губить пришли мы в мире,  
А любить и верить!

Казалось бы, продолжается кровавая война, тысячи ежедневных смертей превратили ее в национальную трагедию, призрак разрухи и запустения по всей стране стал явью, а поэт, испытавший солдатскую судьбу, пусть не окопную, по-прежнему, как нежный отрок, бредит кроткими и чистыми видениями:

Есть нежная кротость, присев на порог,  
Молиться закату и лику дорог.  
В обсыпанных рощах, на сжатых полях  
Грустит наша дума об отрочьих днях.  
За отчею сказкой, за звоном стропил  
Несет ее шорох неведомых крыл...  
Но крепко в равнинах ковыльных лугов  
Покоится правда родительских снов.

*1917 г.*

У Василия Розанова есть глубокое замечание, которое уместно будет привести здесь. Философ пишет, что Моцарт был одарен, а Сальери обделен тем «почти случайным даром, который Бог весть откуда приносит на землю “райские виденья...”» В данном случае имеются в виду не утопические райские грезы, а некий прообраз идеальной, праведной жизни на земле. Есенин в полной мере владел таким даром.

В мемуарной и критической литературе после гибели Есенина стало традиционным такое объяснение его трагической судьбы: «последнего поэта деревни» погубил город, точно так же как «железный конь» победил коня живого. Наиболее ярко эту мысль выразил Максим Горький. Рассказав о своей встрече с Есениным в Берлине в 1922 году, когда поэт в его присутствии читал свои стихи, и в частности «Песнь о собаке», писатель заметил:

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком.

И как продолжение высказанной мысли – строки из письма Горького одному из своих корреспондентов:

...Это глубоко поучительная драма, и она стоит не менее стихов Есенина. Никогда деревня, столкнувшись с городом, не разбивала себе лоб так эффектно и так мучительно. Эта драма многократно повторится.

Но, думается, в словах писателя содержится неполная правда, или – точнее – правда, лежащая на поверхности.

При чтении есенинских стихов не покидает ощущение, что их автор знает что-то глубинное, неведомое для других об идеальной жизни человека, и душа его стремится туда, в мир справедливости и добра. О таком даре напоминал еще один русский философ – Сергей Булгаков: «...Поэт в своей художественной правде есть свидетель горнего мира. ...Поэзия божественна в своем источнике, она есть созерцание славы Божества в творении».

Разве не отодвинетесь вы от земного бытия, полного темных страстей, недостойных деяний, нравственной грязи, читая такие строки поэта:

Не напрасно дули ветры,  
Не напрасно шла гроза.  
Кто-то тайным тихим светом  
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней  
Отпустил я в синей мгле  
О прекрасной, но нездешней,  
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,  
Не тревожит звездный страх.  
Полюбил я мир и вечность,  
Как родительский очаг.

*1917 г.*

Серебристая дорога,  
Ты зовешь меня куда?  
Свечкой чисточетверговой  
Над тобой горит звезда.

Грусть ты или радость теплишь?  
Иль к безумью правишь бег?  
Помоги мне сердцем вешним  
Долюбить твой жесткий снег.

Дай ты мне зарю на дровни,  
Ветку вербы на узду.  
Может быть, к вратам Господним  
Сам себя я приведу.

*1917 г.*

Милые березовые чащи!  
Ты, земля! И вы, равнин пески!  
Перед этим сонмом уходящих  
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете  
Все, что душу облекает в плоть.  
Мир осинам, что, раскинув ветви,  
Загляделись в розовую воду!

Много дум я в тишине продумал,  
Много песен про себя сложил,  
И на этой на земле угрюмой  
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.

1924 г.

Руки милой – пара лебедей –  
В золоте волос моих ныряют.  
Все на этом свете из людей  
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко  
И теперь пою про то же снова,  
Потому и дышит глубоко  
Нежностью пропитанное слово.

1925 г.

Можно было бы привести другие лирические раздумья поэта о родине, жизни, любви, но, я уверен, вы сразу же узнали бы, что это – Есенин. Так неотразимо близки и в то же время притягательны не постигнутой еще тайной иного бытия его строки! Да, в них кроткое приятие земной доли, благодарность судьбе за счастье и муки, нежность ко всему живому, но в них – и тайна, тайна присутствия человека *здесь* и *там*, прозрение высшего смысла: для чего явлена в мир человеческая душа?

Именно об этом прозрении говорил Ф. Достоевский в романе «Братья Карамазовы» устами старца Зосимы:

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот посеми и сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но возвращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и возвращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее.

То, что Есенин постоянно нес в себе «сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным», отмечали многие наблюдательные современники. Одни из них вспоминали, что поэт казался «не от мира сего», другие приводили такие его прозрения, которые поражали оригинальностью и глубиной. Но, разумеется, все это лучше, ярче видно в стихах Есенина.

Он жестоко страдал, оступался и поднимался, но душа его никогда не ожесточалась, не теряла своей божественной сущности. В тех же воспоминаниях о Сергее Есенине мы найдем много правдивого и лживого о его характере, образе жизни и образе мыслей, но все же самые близкие к нему и лучше других знавшие его или самые проникательные люди поразительно единодушны, когда говорят о внутренней сущности поэта.

Из всех бесчисленных мемуарных свидетельств я выделил бы одно, врезавшееся в память своей необычностью. Оно принадлежит Борису

Зубакину, археологу по образованию и поэту-импровизатору по творческому влечению. Он не был близким другом Есенина. Собственно, он не писал о поэте и воспоминаний. Его рассказ – это письмо к Горькому, которому он излил свои чувства после гибели Сергея Александровича. Послание Зубакина довольно большое, но мне хочется привести его почти полностью, исключив разве что незначащие строки, – так тонко передает автор движения чужой души, так глубоко чувствует особенности редкого таланта и так сердечно, родственно звучит каждое его слово о поэте.

*Вторая половина 1926 г.*

...Теперь напишу о С.А. Есенине. «Это черт и ангел вместе!» – сказала мне о нем Дункан. «Чертом» я его не знал. Подружились мы крепко только в 1923 году. В «Кафе Пегаса»\* с большими витринами окон – просиживал он целые ночи, а я заходил туда, чтобы с ним быть. «Музы» наши различны. И это нас – сближало. В это время его очень травили. Есенин мучился и метался. У него была обольстительная рассеянная улыбка. Но когда он говорил серьезно, – улыбку сменяла сдвинутость бровей и суровость слов. «Мое место – здесь, в Москве. Ни в деревне, ни в другом каком городе! Если чего-нибудь ждать настоящего, то только здесь! Не у бизнес-же-менов – в Америке!» – и неудержимо рвался прочь – из Москвы. В период травли и обид, чинимых ему, между прочими – и Демьяном Бедным, – я написал Есенину стихи – в ответ на его трогательную надпись. Есенин, снисходительный к стихам своих друзей, носил их при себе и дорожил ими...

В Кенигсберге, в отеле «Бельвю» – видел я однажды залетевшую в залу ласточку. Она старалась вылететь обратно – и билась клювом о стекло, пока не упала замертво. Вот такими представляются мне и последние дни Есенина. «Знаешь, друг, тебе ведь много не надо, – говорил он мне, – бросим все это! Поедем на пароходе по Волге. Ты будешь читать обо мне лекции – а я стихи. Хорошо?» Билась головой ласточка о невидимое стекло между ею и жизнью живою – но не улетела. Уехал он сперва – на больничную койку, а потом, за несколько дней до гибели, опять: «Поеду в Питер. Поеду – работать буду». Это был – последний удар о стекло...

В «Доме Печати» был на его предсмертном выступлении. Встретил меня каким-то стариком, кашлял. «Видишь, кашляю кровью», – сказал не своим голосом. Потом вышел на ту же эстраду, где при подобных же обстоятельствах читал перед смертью Блок. Начал читать – и запнулся. Неужели забыл стихи? И вдруг все увидели, что он с открытыми глазами – плачет. Все лицо под стеклом – хлынувших обильно слез. «Блока – люблю. Настоящий», – говорил он мне. А Брюсов мне же о Есенине: «Пустяк. На одной струне балалайка». Однако, при всей односторонности – кто же пел так глубоко – и для всех. Так проникновенно и по-своему. Очень хотел – быть «Государственным», – т. е. опереться на организованную жизнь широкого слоя людей. Но известно, что он считал, что ему это не удалось. Читал он стихи как никто из поэтов – глуховатым, волнуемым голосом, на широкой волне, подчеркивая и удваивая изредка конечные согласные: «Все пройде-оть как с белых яблонь дыммъ».

«Зачем ты пьешь?» «Чтобы не думать», – отвечает. – Я пью, стараясь допить до той точки, после которой теряю всякую память и воображение: а до этой точки все помню, ничего не забывая – ни-че-го!» Называл себя «Государственной ответственностью». Женщинам никогда не льстил. Обращался очень просто и человечно, чем и покорял – при встрече. Один крупный поэт\*\* (который до сих пор

\* Точное название кафе: «Стойло Пегаса».

\*\* Имеется в виду Б. Пастернак.

простить себе этого не может), раздраженный его задирками, – ударил его. Есенин разорвал свою рубашку и кинулся к нему: «Хочешь меня бить? Ну – на! бей, бей...» Слава Богу, меня при этом не было.

Кормил и поил всех вокруг. На это уходили все деньги. Носил при себе не расставаясь карточки своих детей и сестры. Иногда вваливался неожиданно, с ворохом игрушек, в квартиру бывшей своей жены – и тогда был странен, нежен с детьми – и мучителен. Но чаще всего – было с ним очень сердечно-легко – и сердечно-весело. И все его боготворили, кроме «стиховедов», не знакомых с ним. Шло от него прохладное и высокое веяние гения. Лукавый, человечно-расчетливый, двоедушный – вдруг преображался, и все видели, что ему смешны все расчеты земные – и слова – и «люди», и он сам себе – каким он был только что с ними. Он становился в такие минуты очень прост и величав – и как-то отсутствующ. Улыбался еще рассеянней и нежнее – как-то поверх всего, – но всем. Он не был «падшим ангелом», он был просто ангелом – земным.

Перед часом смерти он, по-видимому, предался чувству крайнего недоверия к окружающему и отчаяния, разорвал в клочки карточку сына, с которой не расставался (воображая, как говорили, что сын не его и что он обманут, жена же боготворила его, и это – полный бред окружавших Есенина клеветников). Он был очень несчастлив – хоть был и баловнем судьбы и людей. Думаю, что характер его несчастья имеет источником – мало ведомое пока, – но подлинное счастье. Помните, как у Данте? – В вышнем мире поют Высокие Ангелы Согласный Гимн, а на земле это слышно как грохот, буря и хаос. Земной хаос жизни Есенина был выражением внутренней особо присущей ему музыки и гармонии. Это счастье – есть состояние особо раскрытой и углубленной человечности, владеют которой немногие счастливы. Но владея ею по временам, они не умеют удержать её в себе и применить к делу, к окружающему. Отсюда – страдание. Но много счастья – не надо. И мне радостно было слышать от Вас – Вашу благородную оценку жизни Есенина и его творчества.

На многие размышления наводит письмо Б. Зубакина. Иные авторы, писавшие о С. Есенине, особенно литературные противники, недоброжелатели и завистники твердили по поводу каждого доброго слова о поэте: «Не надо создавать сусального Есенина!» Сусальный, то есть слащавый, приукрашенный, – это, конечно, плохо. Но кто из поэтов того времени, жестокого, беспощадного к человеку, сказал так, как Сергей Есенин: «Царство солнца внутри нас»? А ведь он был еще юношей. И главное, разумеется, не в том, что он чеканно выразил свою мысль, а в том, что это его убеждение являлось основой его поэзии и, стало быть, основой его жизни.

Есенин и в конце своей короткой судьбы, незадолго до трагического ухода, повторил слова, которые хранил в душе всегда:

На земле, мне близкой и любимой,  
Эту жизнь за всё благодарю.

*Август 1925 г.*

## Александр БАЛТИН

Родился в Москве в 1967 году. Систематического образования не получил. Поэт, прозаик, публицист. Автор книг и публикаций более чем в ста изданиях России и зарубежья, в том числе в журналах «Юность», «Вестник Европы», «Литературная учёба», «Литературное обозрение», «Нижний Новгород», «День и ночь», Florida (США), Il Convivio (Италия), «Время и место» (США), Il Richiamo (Италия), в «Литературной газете».

Член Союза писателей Москвы. Живёт в Москве.

## ДЕРВИШ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

К 140-летию Велимира Хлебникова

### 1

Лабиринты или ходы?

Ходы в словесной почве, прорытые Хлебниковым, или лабиринты, построенные им?

Мария Вечора покончит с собой вместе с любимым эрцгерцогом, и история, уложенная в ступенчатую поэму, поднимет русский язык своеобразно, даст ему звучания, прежде не слышанные: не говоря о картинах, ярче масла выписанных словом.

В четыре строки уложены все надобности человека – жаль, одного – зато Председателя земного шара:

Мне много ль надо?  
Коврига хлеба  
И капля молока,  
Да это небо,  
Да эти облака!

Разумеется, стержень здесь – небо... и облака, ибо язык поэзии – от высот: они могут быть и филологическими, и математическими, но всегда их сияние должно определять суть – и поэзии, и жизни вообще.

Милейший кузнечик появляется как полноправный персонаж поэтического сообщества:

Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил,  
Кузнечик в кузов пуза уложил  
Прибрежных много трав и вер.  
«Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер.  
О, лебедиво!  
О, озари!



Сложно и просто творится, как будто на глазах, речь, сулящая новый размах, новую выразительность.

Сходятся пласты времён в мистических, вроде бы «неправильно» звучащих поэмах Хлебникова, сходятся, точно организуя невиданный простор всеобщности (вряд ли Велимиру был близок Н. Фёдоров, однако, схожий горизонт мысли просматривается):

Старик с извилистою палкой  
И очарованная тишь.  
И, где хохочущей русалкой  
Над мертвым мамонтом сидишь,  
Шумит кора старинной ивы,  
Лепечет сказки по-людски,  
А девы каменные нивы –  
Как сказки каменной доски.

И ива именно старинная, как храм – как храм грядущего: языка, жизни, человечества.

Председателю ли земного шара не предвидеть будущего?

Он и год революции исчислить способен...

Он и лихость отметит в своём своде – подлинную, яро-русскую:

Не зубами – скрипеть  
Ночью долгою –  
Буду плыть, буду петь  
Доном-Волгою!

Да мало ли сколько самоцветов – хоть восточных, хоть собственной добычи – высыпал Хлебников на страницы книг...

Многим наполнивший закрома поэзии – много продуваемый ветром – дервиш русской поэзии – шар земной обнявший стихами – Велимир Хлебников.

## 2

Хлебников пропел песню счастья, как солнечный дервиш, совершающий под видом внешней метафизическую дорогу:

...Да это небо,  
Да эти облака!

Небо ценнее хлеба: особенно мистическое, скрытое за видимым.

Математика, использованная для построения иных строф, делала стихи причудливо-необычными, и ясно было:

Не зубами – скрипеть  
Ночью долгою –  
Буду плыть, буду петь  
Доном-Волгою!

Дон и Волга текут всегда, перекипая мускульной рябью воды...

Отчего кончают с собой эрцгерцог и Мария Вечора?

От невозможности реализовать бесконечность любви на этом свете?

Много людей, слуги бегут, тяжелое масло картин мерцает на стенах охотничьего домика...

Хлебников – антенна – улавливал звуковые оттенки космических посылов.

Он бы хорошо управлял земным шаром – по-доброму.

Поэмы-то какие!

Скифские, лесные, дремучие, закрученные лабиринтом: проходи – не пройдешь.

В будущем будет будущее...

Оно всегда будет в стихах и поэмах Хлебникова, уходящих в бесконечную даль – как уходит в нее вечный поэт-дервиш...

### 3

Словесный расплав Хлебникова, влитый в русла времени, не затвердел, как могла бы лава, но продолжает жить странную плазмой, смешавшей в себе грезы и озарения, прорывы и провалы...

Орнаменты, выписанные по древнерусской канве, возникают, как формулы наивной живописи:

Горбатый леший и младая  
Сидят, о мелочах болтая.  
Она, дразня, пьет сок березы,  
А у овцы же блещут слезы.  
Ручей, играя пеной, пел,  
И в чашу голубь полетел.  
Здесь только стадо пронеслось  
Свистящих шумно диких уток,  
И ветвью рог качает лось,  
Печален, сумрачен и чуток.

Ви́ла и Леший...

Но – не рай ли тут нарисован?

Или попытка нарисовать именно его, малиновый, проявилась так?

Мол, можно выхватить из сказовой реальности картины, вмещающие в себя так много, что и рай потускнеет?

Зыбь слога, очевидно лишние слова, воткнутые в строки: Хлебников иногда словно играл в графоманию.

...заклубится «Гибель Атлантиды», в которой, возможно, все люди, обладая открытым духовным зрением, не смогли достигнуть достаточно высокого нравственного уровня.

Отсюда – выдернутый с корнем остров: так свершилось по велению высших сил, чьи расчеты и планы нам не ведомы.

Хлебников – свернутость речи с одновременной ее простотой и картинками уже упомянутого рая; Хлебников – как воплощенный математический расчет, человек-формула, отменяющий игру иллюзий.

Сплошная иллюзия.

Амбивалентный Хлебников.

«Журавль» улетит, «Зверинец» исполнится клекотом или чем там...

Неважно: важна дикая напряженность поэм, выброшенных в мир, едва ли нуждающемся в таком лингвистическом феномене: ему б романсов...

Но живут себе хлебниковские поэмы, разматываются клубками строк, переливаются самоцветами истин...

### 4

От графомана до гения – так аттестовали Хлебникова.

Думается, ему это было все равно – прорывающему ходы в почве речи безразлично, что думают о нем.

Наволочка набита стихами – и масса идей: дорога дервиша, хорошо знающего математику и способного к историческим расчетам.

Изящная мощь иных словесных перекатов:

Крылышкуя золотописьмом  
Тончайших жил...

Длинноты иных исторических построений: растянутая, к примеру, поэма «Мария Вечора» – само имя которой уже поэзия; а история тут проста: история любви, скрепленной кровью.

Новатор может плохо писать, допуская сбои в рифме (у кого их вообще-то не было?), предлагая ритмы, более подходящие на техническую неумелость.

Графоман может быть новатором?

Он ни то ни другое, он – Председатель земного шара, великолепно исходивший его, пусть в мечтах, красиво и безвестно отпетый самой степью – степью великой, как эпос тотального стихосложения.

Хлебников спел свои песни – от крошечных «Мне мало надо...» и «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил» до глобальных «Ладомира», «Лесной девы», «Гибели Атлантиды».

Остается услышать.

## 5

Хлебников, роющий бесконечно длинные ходы в почве слова, не пересекающиеся с Клюевым, возводящим волшебные терема на земле.

Или?..

Труды Хлебникова уводили в сокровенные тайны русской речи, а Клюев увеличивал оную, возводя узорчатые словесные строения.

Клюев воспринимается безусловным мастером, не допускающим ляпов, в то время как Хлебников, слишком увлеченный глобальностью замысла, проскакивал мимо них, разбросанных в текстах.

И та и другая работы были связаны с отблесками небесных тайн – в большей или меньшей степени метафизическими, цветными островами испещрившими именно Россию, чей глагол давал столь многое, что жизнь, подчиняясь оному, должна бы меняться в лучшую сторону.

Но она, увы, не зависит от поэзии.

## 6

Кристаллы стихов Клюева математически выверены и точно выражены; Хлебников, далёкий от деревенской темы, но – погружённый в русскую стихию, как в нечто провидческое, обещающее невиданное, пересекается... своеобразием своей словесной математики с блещущими византийскими камнями поэтическими построениями Клюева...

Странно: тень входит в тень, Леший переключается с Медным китом:

Горбатый леший и младая  
Сидят, о мелочах болтая.  
Она, дразня, пьет сок березы,  
А у овцы же блещут слезы.  
Ручей, играя пеной, пел,  
И в чашу голубь полетел.  
Здесь только стадо пронеслось  
Свистящих шумно диких уток,

И ветвью рог качает лось,  
Печален, сумрачен и чуток.

Дебрь русская, а – будто выросшая из византийской, и краски, что расплескивает вокруг Медный кит, всемирны, как грядущая речь Хлебникова:

Объявится Арахлин-град,  
Украшенный ясписом и сардисом,  
Станет подорожник кипарисом,  
И кукуший лен обернется в сад.  
Братья, это наша крестьянская красная культура,  
Где звукоангелы сопостники людских пабедок  
и просонок!  
Карнаухий кот мудрей, чем Лемура,  
И мозг Эдиссона унавозил в веках поросят.

Из реальности – оба, странным зрением обладающие – поэта; и дервиш Хлебников, и крестьянский пророк Клюев словно соединены устремлением в... футуристическое зарево...

Только Клюев мнит его связанным с деревней, перешедшей неведомым образом во всплывающий Китеж, а Хлебников видит в линиях мысли организующее пространство так, чтобы им мудро смог управлять поэт.

Председатель земного шара.

Клюев бы отказался.

«Гибель Атлантиды» Хлебникова от роскоши русских глубин, и сама она – будто русская, осиянная тайной бескрайней нашей земли:

«Мы боги», – мрачно жрец сказал  
И на далекие чертоги  
Рукою сонно указал.  
Холодным скрежетом пилы  
Распались трупы на суставы,  
И мною взнузданы орлы  
Взять в клювы звездные уставы.  
Давно зверь, сильный над косулей,  
Стал без власти божеством.  
Давно не бьем о землю лбом,  
Увидя рошу или улей.

У Клюева «Заозёрье», как Атлантида: таинственная земля, где жизнь вьётся под доглядом попа Алексея: с окуньим плеском в глазах.

Атлантида ушла под воду.

Китеж должен всплыть из-под воды...

Кажется, в заоблачности, беседуют Клюев и Хлебников, пользуясь небесным языком и выстраивая такие диалоги, что и Платон бы не отказался поучаствовать.

## Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М.И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии им. А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017) и других.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

## ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАВТРА ПРИДЁТ

О творчестве Людмилы Ефремовой\*

Прекрасному предела нет. Так же, как и совершенству.

Поэт прекрасен тем, что жив, непредсказуем и меняется каждую секунду; он в той же мере дитя мгновения, в какой и ребёнок Вечности.

Как нам быть с теми, кто уже ушёл за горизонт, перешагнул Порог?

Людмила Ефремова, Мила Ефремова, Мила... Людмила – милая людям. И – милая стихам, любимая стихами: ощущение, что она носила стихи за пазухой, у сердца, как драгоценных белых голубей, и – внезапно и сильно – руками взмахнув, – выпускала их, бросала в небо: летите!

Бросала – людям... крылатый хлеб поэзии, крылатую мечту о вечном путешествии, о вечном Мире в сердце твоём...

Мила ушла. Ушла ли, если её стихи – с нами? Может, ей ещё только предстоит прийти к людям? Вернутся голуби. Возвратятся странники по звёздам. Они не расскажут о скитаниях своих: они о них – споют.

---

\* Ефремова Людмила Юрьевна (1955–2015). Родилась в Душанбе. Детство провела на побережье Баренцева моря. Жила также в Прибалтике, на Крайнем Севере, в Якутии, в Нижнем Новгороде и Ашдоде (Израиль). Окончила Горьковский политехнический институт (радиофак) и Нижегородский институт развития образования (практическая психология). Работала инженером-системотехником, журналистом, театральным администратором, психологом.

Автор книг стихов и прозы «Характер» (1985), «Шла, тихонько напевая» (2003), «Ловец бабочек» (2005), «Сказки нашей жизни» (2010). В настоящее время московское издательство «Интернациональный Союз писателей» готовит к выходу в свет составленную Михаилом Песиным объёмную книгу поэзии и прозы Милы Ефремовой «Свет неугасимый».

Молчи, молчи. В глубинах зреет слово,  
Ему ещё являться не черёд,  
Оно ещё для дела не готово –  
Не дышит, не играет, не поёт.

Молчи, молчи, наивный прорицатель,  
До времени замкни свои уста,  
Следи покуда за гаданьем капель  
По розовой ладони лепестка.

Переживай зерна произрастанье  
И вымиранье редкостных зверей.  
Пусть не открыть – пытайся вникнуть в тайну  
Всего живого на земле твоей. (...)

Мила – смелый человек. Она нарушала, разрушала, запрещала, возрождала, воскрешала себя. Собирала по крохам. Лепила на ощупь, вслепую. Улыбалась, когда особенно крепко и дико судьба хватала за горло. Она, как в той знаменитой старой песне, шла по жизни смеясь, и только самые близкие, самые родные и любимые люди видели её слёзы, понимали её отчаяние, утешали и утишали её боль и горечь. Человек не живёт без трагедии; в особенности поэт, изначально настроенный на камертон радости, но вынужденный жить в самой сердцевине земных страданий.

Как преодолеть Время? Как с ним, с главным врагом, побороться? Очень просто: надо стихом обнять и полюбить его. Чистый и честный голос, искренний, полный великой любви, всегда далеко слышен. Но, как любое искусство, поэзия не только искренностью жива; поэзия не терпит приблизительности, лукавства, дилетантства, неумения, лицемерия, лживого пафоса. Для того, чтобы сыграть «Лунную сонату» или «Полонез-фантазию», надо сначала долго, страдально, терпеливо учиться музыке. Чтобы играть, как дышать. Играть, как жить. А жить так, как музыка звучит. Как поэзия – дышит...

Всё можно, всё – когда бы только знать,  
Что это в утешение и в радость.  
Пускай бушует девственная младость –  
Всё можно, всё – когда бы только знать.

Всё можно, всё – когда бы только знать,  
Что светофор не загляделся красным  
Бесовским светом... Пусть и без соблазна,  
Но кое-что возможно – только б знать.

Всё можно, всё – теперь. Гляди вперёд!  
Твой тепловоз оставлен машинистом,  
Свистит листва, и стрелочник неистов...  
Всё можно, всё. Теперь – гляди вперёд!

От нижегородских круч над Волгой-матушкой до сибирских гольцов, от якутских синих, железных морозов до жёлто-каменного, песчаного зноя Иерусалима – немало щедростей показала ей Земля-планета, поднесла судьба-звезда, как хлеб-соль, на широком зимнем, серебряном, заиндевелом блюде. Жизнь и судьба – не синонимы. Судьба вышита ярким крестом по снегам и пескам, а жизнь – она внутри. Она есть



биение сердца. Она – тайна. Ты сидишь в кресле, ты лежишь в кровати, ты закрываешь глаза, с трудом преодолевая боль, зачёркивая её черновик крошечным сном, а жизнь стучит в твоей груди, разрывая хрупкие рёбра, и ты понимаешь: сейчас вылетит птица, негоже ей в неволе томиться. Дух веет, где хочет! Древняя библейская истина целиком и полностью подтверждена поэтом в строчках, что льются слезами, прорезают тело кровью, но душа, как ни странно, исцеляется именно ими. Дух – это врачебный бинт, снежная марля. Дух – хлеб для голодных, мир для измученных сражениями, вера для тех, у кого отняли Бога.

И Дух – его работа! – да, в поэзии.

Ещё не прирастают звуки слов  
К сознанию, что странствует по телу,  
Как лодочник, забросивший весло,  
Плывущий наугад в тумане белом.

Сокрыты поволокой небеса,  
И не видать ей ни конца, ни края.  
Ах, лодочник, в седых твоих усах  
Не золотая рыбка ли играет?

Эй, лодочник, пройдемся по песку.  
Возьмём с собой измученное тело,  
Нальём вина, разгоним грусть-тоску...  
Ну что тебе искать в тумане белом?

Молчание. Размыты корни слов.  
Из влаги проступает абрис лодки.  
Эх, лодочник, забросивший весло,  
Куда-то ляжет путь твой не короткий...

Мы не знаем, что такое поэзия. Почему человек говорит в рифму, слагает стихи. Только ли потому, что его жизнь интуитивно, изначально ритмизована, и, как в той шутиливой Библии музыканта Ганса фон Бюлова, *am Anfang war der Rhythmus...* («В начале был ритм...»)? Только ли потому, что первозданная, первобытная поэзия – это песня и молитва? Мила Ефремова жила поэзией; так живут надеждой на спасение терпящие бедствие, так передают огонь – из рук в руки – погибающие от нашествия тьмы крошечной. «...Так начинают жить стихом», – сказал когда-то Борис Пастернак, и всякий поэт жить стихом – продолжает, внутри всех передраг и предательств, внутри всех войн и замирений, на фоне глобальных потрясений и личных неизбывных драм. И стихи становятся прочным (и, увы, таким тонким!) канатом, по которому поэт переходит жизнь над пропастью смерти: отважно, безоглядно и стремительно.

А если и любовь –  
то всё одна и та же.  
А если и печаль –  
то только о тебе.  
А если и мечты –  
то не мечтаю даже,  
Я не хочу измен  
в простой своей судьбе.  
И если этот мир  
положен мне в награду,

И если этот мир  
тавром мне на плечо  
Возложен палачом –  
иного мне не надо,  
Хоть со слезами, но...  
Ещё, – спрошу. – Ещё!  
Великая судьба  
иль горькая судьбина –  
Года произведут  
свой точный пересчёт.  
Но даже если я  
твой светлый рай покину,  
И на пороге в ад  
«Ещё», – спрошу. – Ещё!

Поэт Людмила Ефремова... Помню её широко распахнутые цветочные, огромные глаза, глаза цвета неба, а вернее, цвета весенней фиалки. Она глядела так же, как пела. Её голос, нежный и сильный, когда она читала стихи, превращался в чудесный природный вокал, и стихотворение обретало очарование архаического, почти античного, забытого мелоса. Но перед нами – при всём изяществе стиля и образной, и семантической грациозности – современный художник. Миле были вняты все дымные, кровавые и остросюжетно-необратимые приметы Времени, в котором она жила. Ведь она была журналисткой – а это значит, свидетелем. «Свидетельствую, ибо истинно». И да, конечно, «...блажен, кто посетил сей Мир в его минуты роковые» (Ф. И. Тютчев). Со всей громадной сердечною чашей своей Вечной Женственности (ею она была одарена безмерно), Мила насквозь видела, как некий духовный рентген, рок преступления и обречённость возмездия. Стиховою фантазией, вольным полётом поэтики она спасалась от пытки безжалостной документальностью, от болевого порога жёсткой и жестокой правды.

В традиции русской поэзии – сражаться стихом.

Но в традиции русской поэзии и утешать стихом. И перевязывать стихом раны. И прощать стихом прегрешения. И молиться стихом – си-речь самую любовью – на пороге гибели – о бесконечной жизни.

Ничего не будет, слышишь?  
Будет так же, как всегда,  
Тот же ветер биться в крышу,  
Замыкая провода.

Те же вымокшие сени,  
Перекошенный венец,  
И любовь – из опасенья  
Не отчаяться вконец.

Прозаик Людмила Ефремова... А чем проза отличается от поэзии? Как говорил Максимилиан Волошин, проза – стихи, записанные в строчку, а поэзия – проза, записанная в столбик. Шутки шутками, но личность человека неделима; у ритмики прозы, у её вербального наполнения свои законы, кто же спорит, но если в прозе автор перестаёт быть поэтом, проза теряет смыслы: то, ради чего её создают. Мила – поэт и в прозе; прозу ей было легко писать – журналистская школа помогала в композиции, в разработке сюжета; но ведь искусство – это чувство, а чувство есть чистая поэзия, и ей Мила никогда не изменяла.

Человек лежал на жёлтом песке. В ногах у него колыхалось синее море. Над головой висело синее небо. В синем небе летела белая птица. Ей это трудно удавалось – трудно лететь в висящем небе. Птица усердно махала крыльями, словно пытаясь перелистнуть слипшиеся страницы. Человек поднялся с песка прямо в синее небо и полетел рядом с птицей, помогая ей перелистывать страницы. Он не заметил, как сам превратился в эту белую птицу, но, когда понял, синее море уже лежало под ним, заливая видимое пространство от края до края, небо расширилось и потеряло границы. Оно поднялось вверх, изогнулось куполом, уходя краями в бесконечность.

Прожить жизнь во взлёте или в падении?

Прожить жизнь в пути к вершине, в синие небеса – или в мучительной дороге в пропасть забвения, в чёрную яму никому ненужности и бессмыслицы?

Жизнь непонятна нам, живущим. Ещё более непонятна смерть. Мы все боимся смерти; мы не хотим о ней и говорить, и думать; мы делаем её нравственным табу; но не проходит и дня, чтобы мы не говорили, пусть шёпотом, о ней, и не помышляли о ней, хоть краем сознания.

Поэт переступает Порог. Боже, как жаль расставаться! Я не сделал всего, что хотел. Я ещё не надышался. Я ещё не сказал любимому человеку, как беспредельно я люблю его. Что со мной будет там, за Порогом? Ждёт ли там жизнь? Разве смерть – пустота? Зачем Миръ устроен именно так, не иначе? И что я, поэт, могу сделать ещё для моего Мира, ведь завтра я его покину навсегда?

...я могу – спеть.

Мою последнюю песню.

...а завтра она станет первой.

Для тех, кто завтра – на землю – придёт.

Вот свет, за которым кончается дом.

И дом, за которым кончается свет.

И нам говорить уже можно о том,

Чего нет в помине и в памяти нет.

Там чёрным асфальтом застыла река.

Там в каменном небе висят облака.

Там мёртвою хваткой сжимает рука

Века.

Но ты, за которым кончается жизнь,

И жизнь, за которой окончишься ты, –

Всего лишь томление сжатых пружин?

Всего лишь могильные в лентах цветы?

Пусть солнце устало сойдёт в облака.

Пусть так же бессильно повиснет рука.

Но кто-то ж поднимет заздравный бокал!

Пусть так!

А ты, за которым кончается жизнь,

В дому, за которым кончается свет,

Возьми себя в руки

и продержись.

Привет!

## Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародий, эпиграмм, шаржей, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей. Лауреат премий имени Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый Дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

## ЯД И МЁД

### О критиках и литературных рецензиях

Рецензия – документ серьёзный. Он в корне способен изменить привычное течение жизни. Одним – придать новые силы и вдохновение для дальнейшей плодотворной работы, а других – ввергнуть в отчаяние и навсегда отворать от любых творческих занятий.

Правда, почти неизвестны случаи, когда рецензия превратила бы начинающего литератора в гения, а вот примеров драматических последствий после критических наскоков предостаточно. Н. Гоголь после публикации отдельным изданием «Ганца Кюхельгартена» был настолько впечатлён отрицательными отзывами в «Московском телеграфе» и «Северной пчеле», что выкупал у книгопродавцев экземпляры книги и уничтожал их. Н. Некрасов после критики В. Жуковского и В. Белинского его стихов скупил и уничтожил большую часть тиража сборника «Мечты и звуки». Таких примеров только в русской литературе предостаточно.

Понятно, что рецензия обладает огромной силой воздействия и может не только эффективно оценивать результаты конкретной работы (её достоинства и недостатки), но и формировать устойчивое общественное мнение по поводу тенденций литературного движения и значимости творческих процессов. Рецензия – подвижной жанр: она естественно вписывается и в критику, и в журналистику, может предстать репликой, аннотацией, статьёй, обзором, без особых затруднений способна контактировать с фельетоном, пародией, эпиграммой.

Будучи актуальной и востребованной, рецензия должна оперативно откликаться на появление новых произведений. Её ждут, на неё надеются, а иногда и страшатся. Положительные отзывы, как правило, встречаются по-деловому (они как бы в порядке вещей), а вот рецензии со знаком минус порождают целый ряд негативных эмоций. Тут и удивление, и протест, и даже ненависть. Разочарованный примитивностью

критиков, не способных за строчками стиха почувствовать подтекст, И. Северянин в сердцах восклицал:

Ах, посмотрите-ка!  
Какая глупая  
В России критика...\*

Как бы ни оценивались рецензии публикой и теми, на кого они направлены, остаётся неизблемым: она часть рекламы, причём рекламы весьма действенной. Положительная – не только сообщает о появлении нового интересного произведения, но и рекомендует с ним более подробно ознакомиться. А отрицательная создаёт определённый флёр недосказанности (иногда двусмысленности) – неслучайно в былые годы существовало мнение: раз книгу разругали в официальных изданиях, значит, она чего-то стоит, надо прочитать. (А вот хвалёные издания читать было необязательно, несмотря на восхищённые рецензии.)

Как ходовой литературный жанр рецензия за многие годы существования успела обрести многочисленными шаблонами. Сатирики, склонные в первую очередь видеть недостатки, обращают основное внимание на те разделы рецензий, что обросли примелькавшимися повторениями, избитыми выражениями, предсказуемыми выводами и заключениями.

С иронией оценивая уровень стандартизированных отзывов, сатирики и пародисты берут на себя смелость создавать для якобы недостаточно опытных или только начинающих критиков руководства по написанию рецензий. А. Раскин и М. Слободской в руководстве «Как писать...» (для халтурщиков) в «отделе критики» приводят конкретные рекомендации:

В древности были известны два основных рода критических высказываний – положительный как таковой и отрицательный как таковой. Сейчас в связи с тем, что часть критиков не находит в себе душевных сил для того, чтобы иметь своё определённое мнение, эти основные виды уступили своё место третьему – неопределённому.

Способ 1: соглашаясь с положительной оценкой ряда авторитетных товарищей, не возражать против отрицательной оценки другого ряда не менее авторитетных товарищей.

Способ 2: чередование положительных и отрицательных замечаний, уравновешенных с точностью опытного аптекаря.

Способ 3: в основе цитата из Чехова: «Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном».

Разумеется, авторами приводятся конкретные примеры по освоению каждого из названных способов.

А. Флит в дополнение к сказанному в разделе «Универсальный критик» продолжает:

Каждый, желающий написать развёрнутую критическую статью или отзыв, может сделать это, не теряя ни минуты драгоценного времени, пользуясь исключительно нашими общедоступными штампами «Универсальный критик». Следует только в соответствующих, отмеченных пунктиром местах проставлять издательство, фамилию автора, род, название произведения и некоторые детали.

---

\* Для усиления он повторил это в стихотворении дважды, во втором случае употребив вместо «глупая» «подлая».

Практически Флит рекомендует к широкому использованию стандартный трафарет с заранее заготовленными фразами.

Штамп 1 – сигнализирующий. Предостерегающий авторов от возможных пороков.

Штамп 2 – маневрирующий. Объединяющий положительные и отрицательные оценки.

Штамп 3 – равнодушный. И так и сяк. («Книга ничего не прибавляет и не убавляет в творческом багаже автора, в то же время оставаясь на уровне»).

Штамп 4 – восторженный. Сравнивающий с классиками.

Рекомендации сопровождаются примерами, способствующими, по мнению автора, предостеречь нарождающихся критиков от использования перечисленных штампов.

Если же приведенные рекомендации по каким-то причинам не смогли перекрыть дорогу неопытным ещё пока рецензентам, то им на помощь предлагаются правила по технологии создания критических статей. Опытные специалисты сразу же предупреждают, чтобы автор, взявшийся за написание рецензий, раз и навсегда уяснил для себя: что он собирается рецензировать. Как писал З. Паперный, если автор книги «выдающийся мастер», то критик должен рецензировать «не книги, но автора и занимаемое им положение». В этом случае «характер рецензии должен быть ясен ещё до того, как книга прочитана». Ну а остальных писателей (не мэтров) для самоутверждения критика можно рецензировать в соответствии с циничным мнением критика Безмылова из сценки А. Безыменского и Н. Адуева «Театральный разъезд»:

С негодованием красивым  
Невинный прыщ малой нарывом,  
Ошибку – язвой назови.  
Со всей серьёзностью угрюмой  
Вокруг уклона протанцуй.  
А если мал уклон – раздуй.  
А если нет его – придумай.

Чему же удивляться в тенденциозном расслоении критики? Об этом давно написано С. Швецовым в миниатюре «О критической каше»:

Всех удивляют обычаи странные,  
Дикие методы критики нашей:  
Одних она кормит кашею манною.  
Других – берёзовой кашей!

Частичное объяснение такому расслоению мнений прочитывается в эпиграмме А. Иванова на критика И. Гринберга:

Да, Гринберга никто не упрекнёт  
И с пьедестала никогда не свалит:  
Он молодого иногда ругнёт,  
А классика – прославит так прославит.

Некоторые критики считают, что чрезвычайная похвала в официальном источнике принесёт больше вреда, чем пользы. Тем более что многие поэты, не страдающие излишней скромностью, сами беспокоятся о своём паблисити. Как писал в средние века француз М. де Сен-Желе:



Ты на меня, собрат, не сетуй:  
Тебя хвалить я был бы рад.  
Но сам ты лучше во сто крат  
Справляешься с задачей этой.

Эпиграмма была направлена против Пьера Ронсара, но сегодня может быть отнесена ко многим авторам, склонным к самовосхвалениям.

Заинтересованных лиц в появлении рецензий немало, но вот положительных отзывов на работу критиков – раз-два и обчёлся. Ну а те, кто настроен к рецензентам критически, оставляют о них отзывы весьма недоброжелательные. Вот только несколько мнений по поводу как самих критиков-рецензентов, так и методов их работы.

Е. Боратынский на В. Белинского:

В руках у этого педанта  
Могильный заступ, не перо...

П. Вяземский на Н. Добролюбова:

А если он и соловей,  
То разве соловей-разбойник.

Без подписи на А. Измайлова:

Он слыл за пугало в народе  
Всем декадентским воробьям  
В литературном огороде.

Современные оценки не слишком отличаются от тех, что были высказаны в веке XIX.

С. Васильев «Убийвец»:

В статьях орудует ножом,  
В рецензиях – дубиной.

А. Безыменский:

На молодого автора нацелясь,  
Кладёт он в рот стальную челюсть.

А. Пьянов словами Т. Бек из пародии «Ответ критику»:

И критическим пером  
Машет словно топором.

А. Пьянов:

Что пора бы самописки  
Им сменить на кистени.

Л. Куклин на В. Топорова:

Тебя топорною работой  
Прикончит критик Топоров.

А. Житницкий:

Свою дубину и оглоблю  
Он на занозы расщепил.

Если попытаться провести хотя бы примитивный анализ тех терминов, которыми награждают рецензентов, то среди них можно обнаружить неожиданные – прокурор, судья, убийца, людоед, скорпион, пёс, шулер, пугало, а среди орудий их производства – нож, дубину, оглоблю, кинжал, кистень, занозу, дёготь, яд, помой, при этом методы их работы напоминают суд, бокс, казнь, ад и прочее – характеристики далеко не положительного ряда. Верно сказано И. Крыловым:

Таких примеров много в мире:  
Не любит узнавать никто себя в сатире.

Антагонисты критиков упорно поработали, чтобы опорочить их деятельность. «А судьи кто?» – задаются вопросом уязвлённые недоброжелательными отзывами писатели. И сами же отвечают: «Если ты умеешь складывать стихи – ты поэт, если не умеешь – прозаик. А если не умеешь ни того ни другого – критик». Параллельно появляется и критика критиков (о пародийных рекомендациях и руководствах уже упоминалось), иногда вполне эквивалентная. Англичанин У. Лендор критику:

В статье не убедил ты нас опять,  
Как надо литератору писать.  
Но как не надо, критик дорогой,  
Ты убеждаешь каждую строкой.

Эта эпиграмма была написана в XIX веке; то, что положение не изменилось, подтверждает мнение А. Безыменского о критической статье в «Литературной газете» З. Кедринной:

Читали мы сквозь смех и слёзы  
Статью о серости литературной прозы.  
По чести, полагалось бы при ней  
Статья о серости критических статей.

После таких негативных мнений сатириков что же ещё остаётся сказать о рецензентах? Конечно, можно процитировать и другие высказывания об их работе. Положительных мало. Почти классической стала характеристика деятельности К. Чуковского как критика, сформулированная С. Маршаком в послании к его 70-летию:

И вдруг явился молодой,  
Веселый, буйный, дерзкий критик,  
Не прогрессивный паралитик,  
Что душит грудой цитат,  
Загромождающих трактат,  
Не плоских истин проповедник,  
А умный, острый собеседник,

Который, книгу разобрав,  
Подчас бывает и неправ,  
Зато высказывает мысли,  
Что не засохли, не прокисли.

Лукавый, ласковый и злой,  
Одних колол ты похвалой,  
Другим готовил хлесткой бранью  
Дорогу к новому изданию.

Дополняет этот энергичный образ думающего критика и две строки В. Левика, также высоко оценившего работу Чуковского:

Ваш острый ум, лукавый взгляд,  
Слегка опасной речи яд...

Но и этим великолепным характеристикам приходится уживаться с ехидными замечаниями.

Саша Чёрный о Чуковском:

То выедет на английской цитате,  
То с реверансом автору даст в бок...

Узость взглядов, шаблонность мышления, унылое однообразие стилей отдельных критиков иногда начинают распространяться на весь корпус рецензентов. Э. Кроткий о таких представителях писал в эпиграмме с заголовком «Нет, не Белинский!»:

Судья писательских успехов,  
Он в продолжение долгих лет  
Писал о каждом: «Нет, не Чехов» –  
И... приобрёл авторитет.

Имя Белинского не раз возникает при упоминании о рецензиях. Чаще всего его ставят в пример нынешним критикам.

В. Гранов:

Перестраховщик-критик! Наш совет учти:  
Нет у тебя размаха исполинского.  
Но если пишешь ты с оглядкой статьи,  
То лучше их пиши с оглядкой... на Белинского.

Писать с оглядкой критикам приходится почти постоянно: что подумает этот, что скажет тот, как воспримет ещё кто-то... Каково бывает рецензентам, стоящим на распутье и не знающим завтрашних перспектив? Тогда остаётся лишь одно: заняться литературными гаданиями, о чём писал С. Швецов:

Два критика под Новый год  
Гадали на кофейной гуще:  
– Кто будет автором «ведущим»?  
И кто совсем на нет сойдёт?..

Положение рецензентов действительно непростое. Сплошь и рядом возникает проблема: написать надо, а писать не о чем.

А. Бобров (перевод с литовского из Ю. Непрошюса):

Хорошо, что пишешь повести,  
Мненья слушаешь охотно.  
Вот моё: ведутся поиски,  
Но хотя б одна находка...

С. Смирнов «Одному поэту»:

Прочёл продукцию твою,  
Чтоб не считаться неучем:  
И – горьких слов не утаю –  
Увы, писать-то не о чем!

Однако писать надо: ведь есть издания, специализирующиеся на литературной тематике, и там без рецензий нельзя никак. О практике рецензирования в «Литературной газете» 50-х годов писал З. Паперный:

Там чудеса! Там критик бродит,  
Плюсы и минусы выводит,  
То перескажет с одобреньем,  
То вдруг смешает с одобреньем...

К этому же времени относится мнение С. Смирнова о критике Е. Осетрове:

Он критик – щедрая рука.  
В руке Добро и Зло – по дозам:  
То даст вам лавры на века,  
А то – смешает с литнавозом.

Такого рода рецензии, часто взаимоисключающего содержания, порой появляются в периодике. Объясняется их публикация заранее заданным направлением отзыва: хвалить (большой палец вверх) или топтать (большой палец вниз). Есть рецензенты, принципиально не принимающие даже намёков на такие заказы, а есть такие, что без предварительных указаний и приступить к статье не могут. З. Паперный писал:

Заданную критику я сравнил бы с трамваем – свернуть с проложенной стальной колеи для неё равносильно крушению. «Троллейбусный» тип может более свободно отклоняться вправо-влево, но электродуга жёстко ограничивает его движение в нужном направлении. Но до «автобуса» ему далеко. Впрочем, и автобус следует по заранее составленному маршруту.

Здесь приведены обстоятельства, когда рецензент работает в прописанных рамках или по конкретному заданию, но бывают случаи необъяснимой инициативы критиков, когда их ведёт в неведомую даль неожиданно пробудившаяся фантазия... Такой эпизод описан в одной из пародий Н. Богословского. В кинорецензии на только что просмотренный фильм критик, едва не захлёбываясь от восторга, описывает новаторские приёмы создателей картины (смещение титров, повторение кадров, перебивку хронологии и проч.). Во всём он видит глубинный смысл, логически и психологически обосновывает сумбурную подачу эпизодов и делает вывод о фильме как о выдающемся событии в киноискусстве. Ситуация проясняется в следующем за рецензией «Приказе

директора кинотеатра», в котором объявляется строгий выговор кино-механику, в нетрезвом состоянии перепутавшим части картины, нарушившим их последовательность.

В пародии показана та разновидность критиков, которые, не разбираясь в сути происходящего, на основе поверхностного восприятия, готовы оправдать, а то и превознести любые несуровости рассматриваемого произведения. Сродни таким фантазирующим рецензентам и те критики, что, собираясь написать отзыв о произведении, меньше всего думают о нём, а более о том, как бы продемонстрировать себя само-го: своё (иногда экстравагантное) мнение, свой стиль, свои познания. Тогда рецензия становится поучающей: критику неинтересно, что есть, он увлечён тем, что, по его мнению, могло (и должно) быть. Он предполагает развитие событий, о которых автор и не думал вовсе, начинает глубоко разрабатывать предысторию, находя в ней какие-то уже использованные ранее мотивы (известные только ему), обвиняя автора во вторичности. Доказательства особенные тут не нужны, достаточно голословных (и не всегда логически связанных) намёков. Вот как такой рецензент может представить автора. С. Швецов:

У него свой голос, своё лицо,  
Хоть есть подражания и отголоски:  
На него повлияли Гюго, Кольцов,  
А также Киплинг и Долматовский...

Не важно, что автор, возможно, никогда не читал Киплинга и не вдавался в особенности творчества Гюго, а поэзию Долматовского на дух не переносит. Важно сказать своё и по-своему. Причём это «своё» часто произносится так, чтобы всем стало понятно, что сказано оно не элементарно и не примитивно, а вполне на научном уровне, как в «спецовской» пародии Л. Никулина на оперетту «Ночь любви»:

Зрелищное преломление событий нашего дня адекватно квинтэссенции сущности искусства как такового, самодеятельность масс сказывается здесь не в чисто формальном подходе к классовому стимулу, а в индивидуалистическом аспекте данного автора.

Подводя итог разнообразным характеристикам рецензентам, можно упомянуть о цикле пародий А. Измайлова «История русской критики» в знаменитой книге начала XX века «Кривое зеркало». Пародист дал замечательный обзор критических статей как по их тону, так и по принадлежности к отдельным представителям критического цеха. Он пристрастно препарировал стилистику критических выступлений: высокомерную снисходительность («здесь вы увидите удивительную наивность и ограниченность Гончарова и полное непонимание им самых элементарных законов творчества» – А. Скабичевский), издевательство над писателем («дайте мне этого сукина сына, я ему вышибу три ребра!.. Поганое ведро – лучшее назначение этой мазни...» – Н.Россовский), издевательство над читателем («дело критики – открывать завесы с того, что ещё не видишь ты, любезный читатель, в своей ограниченности и тупости» – А. Введенский), любованием собственным стилем и слогом в ущерб смыслу («растрёпанный клубок гениальной мысли Достоевского катится в каком-то сладостно-жестоким бушевании по этой вихревой линии человеческих страстей» – А. Волынский) и т. д.

Наряду с положительными и отрицательными рецензиями нередко попадаются рецензии нейтральные, с точно выверенными дозами «да» и «нет». Но и на этом не заканчиваются их видовые деления, бывают разнovidности и любопытные и неожиданные.

Те, кто следят за движением критической мысли, наверное, вынуждены будут согласиться, что в последнее (уже продолжительное) время однополярно негативных рецензий не стало, да и вообще отрицательные мотивы отзывов потускнели. Не так было в 20–30-е годы прошлого века: критики пытались дотошно разобраться в достоинствах и недостатках произведений и не стеснялись быть откровенно тенденциозными – накладывали отпечатки и политические условия и клановая принадлежность авторов к разным литературным группировкам и тенденциозные уклоны изданий, печатавших отзывы.

На первом месте держались рецензии положительные. Если появлялось произведение, заслуживающее внимания, его хвалили и хвалили с разнообразных позиций. Читатели, впрочем, не очень доверяли таким «розовым» отзывам и с некоторым сомнением относились к объективности их авторов.

С. Швецов «Критик-херувим»:

Над нами он парит как голубок.  
Все авторы ему милы и любы.  
К нему попасть не страшно на зубок,  
Поскольку все его статьи беззубы.

Зачастую благожелательный отзыв оборачивался обычной неискренностью критиков: нужно было написать со знаком плюс и появлялась хорошая рецензия.

З. Паперный, Н. Разговоров:

Допустим, пьеса ни на грош,  
Пишу, что замысел хорош...

Конечно, критики, создавая положительную рецензию, понимали всю неоднозначность её восприятия, потому не забывали плюсы разбавлять минусами, но так, чтобы общая тенденция оставалась положительной. Типичный пример такого отзыва приведен в «Образце благожелательной рецензии» С. Швецова:

В этих – незрелых ещё пока,  
Довольно пустых и не в меру бойких,  
Местами просто безвкусных стихах  
Говорится о пафосе нашей стройки...

...Правда, в стихах его пресных и мелких,  
Шаблонов и штампов большие излишки,  
Но эти частичные недоделки  
Не снимают общей ценности книжки...

Но случались похвалы в противовес общепринятому (или навязываемому) мнению. Вл. Соловьёв отметил, можно сказать, нежной рецензией «Песни из “Уголка”» К. Случевского:

Дарит меня двойной отрадой  
Твоих стихов вечерний свет:



И мысли ясною прохладой,  
И тем, чему названья нет...

Особенно важно, что такой отзыв прозвучал в период, когда авторитет поэта как представителя «чистого искусства» был подорван потоком во многом несправедливых пародий «искровцев» Д. Минаева, Н. Ломана, Н. Добролюбова...

Положительная критика, к которой сегодня уже приучили авторов, бывает подчас такой приторной, что автоматически вызывает сомнения; уже и сами писатели не верят восхищённым заявлениям. А. Раскин:

Всю жизнь хвалил стихи одни,  
Всю жизнь любил стихи другие.

Неверие хвалебным отзывам высказал Саша Чёрный в цикле «Литературная критика»:

Когда он меня обругал,  
Я справился с этим прекрасно.  
Теперь он меня увенчал –  
И это, пожалуй, опасно.

Венки из его мастерской  
У глупых в таком предпочтении,  
Что новый подарок такой –  
И мне уж не будет спасенья.

Ещё раньше, в середине XIX века, Н. Щербина в «Молитве современных русских писателей» заклинал:

Избави нас от похвалы  
Позорной «Северной пчелы»...

Дело в том, что «Северная пчела» считалась газетой реакционной, связанной с III отделением, рупором правительственного официоза. Щербина в своей эпиграмме пытался максимально дистанцироваться от её страниц, но Д. Минаев не позволил ему это сделать, приравняв его сборник «Пчела» к творчеству Ф. Булгарина – редактора «Северной пчелы»:

Поэт! К единственной я склонен похвале:  
Пчела Булгарина сродни твоей «Пчеле».

Но, пожалуй, самый ранний отзыв о неприятии похвалы от неискренних зоилов дошёл до нас в эпиграмме неизвестного автора, сочинённой ещё в 1792 году:

Желаю лучше я снести твою хулу,  
Чем слушать от тебя, Зоиле, похвалу.

Положительные отзывы не очень-то любили писать и сами рецензенты – мало ли что в жизни могло случиться: сегодня писатель на коне, а завтра его судьба может резко измениться, и тогда автору хвалебной статьи придётся оправдываться или того хуже. Поэтому (конечно,

и не только поэтому) рецензенты с успехом освоили стиль рецензии нейтральной. Такая позиция оказалась довольно популярной, о чём свидетельствуют многие миниатюры сатириков.

А. Безыменский:

В его статьях улыбочатая гладь.  
Он спорить не привык. Он мыслит осторожно.  
За что он борется? Никак нельзя понять,  
А с кем он борется? Почувать невозможно.  
Он пишет, не сказав, по сути, ничего  
И точкой зрения себя не озаботив.  
Вот почему зовут его  
Ниданинет Низанипротив.

З. Паперный, Н. Разговоров:

Умею так подать совет,  
Чтоб ни сказать, ни да, ни нет.

С. Швецов на К. Зелинского:

Он никогда не скажет «да»  
И никогда не скажет «нет»,  
И тем на долгие года  
Свой сохранит авторитет.

В. Масс, М. Червинский:

Чтоб избежать раздоров, он обычно  
Всех критикует мягко и тактично.

С. Швецов «Критик, приятный во всех отношениях»:

Его статьи не вызывают споров,  
Все признают за ним авторитет  
В писании критических обзоров  
По принципу «ни да, ни нет».

Такая промежуточная позиция мало кого устраивает. Её связывают не только с осторожностью критиков, но и с политиканством пытающихся усидеть между двух стульев. Правда, есть и другой вариант, когда особенно ушлые критики пытаются усидеть одновременно на двух стульях. Арго в миниатюре «Двурушник» описал поведение такого критика, давшего одновременно в два разных журнала противоположные отзывы на одну поэму:

Какой его толкнул на это бес,  
Не знаю, но в одном её смешал он с грязью,  
В другом вознёс до самых до небес.

«Четверорук он, двухголов» – так Арго охарактеризовал этого рецензента, присовокупив мораль, позаимствованную у И. Крылова: «Избави бог и нас от этаких судей».

Чтобы максимально обострить проблему «совмещения» отрицательной и положительной рецензии Н. Богословский придумал

оригинальный выход из положения. Он предложил рецензию на одно из драматургических произведений, прочитываемую и так и эдак\*. Если есть желание ознакомиться с положительным мнением, надо читать всю рецензию, если с отрицательным – то читать через строчку: 1, 3, 5, минуя 2, 4, 6...

Понятно, что противоположные мнения «в одном флаконе» не могут с восторгом встречаться дотошными читателями, поэтому некоторые рецензенты попросту «затемняют» свою точку зрения, делая её максимально неопределённой. О критиках В. Перцове и К. Зелинском М. Светлов говорил: «Когда я их читаю, никак не могу понять, стоит ли мне читать книги, о которых они пишут. Всё равно что по котлете пытаться представить себе, как выглядела живая корова, из которой эта котлета сделана».

Неспособность ясно и понятно оценить явление искусства приводит к странным рецензиям, сбивающим с толку. Об этом говорится, например, в пародии А. Флита на критика А. Горелова, взявшегося оценить повесть М. Зощенко «Возвращённая молодость»: «Будучи крайне неудачной, выхолощенной, предвзятой и надуманной, повесть Зощенко является большой и волнующей победой писателя».

Почти о том же писал в «Рецензии перестраховщика» В. Ардов:

Сегодня мы слушали певца, о котором можно сказать, что он принадлежит к числу лучших исполнителей вокального жанра в нашей стране, но, к сожалению, занимает среди этой славной когорты одно из последних мест. У нашего артиста – прекрасный голос, которым он – увы! – плохо владеет.

Насколько возможны противоречивые отзывы об одном и том же творческом явлении, можно судить по оригинальной пародии Б. Зубкова на... таблицу умножения. В ней «произведение» оценивается с двух противоречащих друг другу позиций. Если в положительной рецензии говорится о «разворачивании повествования со всё возрастающей напряжённостью», а «каждая строка нам открывает что-то новое», то в отрицательной всё наоборот: «унылый текст, начисто лишённый выразительности», а само «произведение состряпано из азбучных истин».

Нередко критик занимает якобы принципиальную позицию, но сегодня – одну, а завтра – противоположную. С. Швецов называл таких «флюгерами»:

Вчера он пел сплошную аллилуйю,  
А нынче кроет всех напропалую!

В. Фёдоров обозвал аналогичного критика «Зуботычкиным»:

Сначала изувечит,  
Потом увековечит.

Ю. Благов писал о «Двух профилях одного критика»:

Нам с давних пор до удивленья  
Знаком его репертуар:  
а) Блеск! Новаторство! Явление!  
б) Бред! Ничтожество! Кошмар!

---

\* Н. Богословский. Музей муз. М., Искусство. 1968. С. 42.

С меняющимися оценками критиков согласуется шаткая политика редакционных коллегий некоторых периодических изданий. А. Архангельский в фельетоне «Распространённый вид рецензии» приводит самокритичные признания редактора без какой-либо доли смущения. Начинает он так: «Творчество Алексея Приходько, недооценённое нами в нашей майской статье и переоценённое в июльской статье этого же года, можно разделить на ряд этапов и периодов». Заканчивает следующим образом: «В нынешний период поэт ещё живёт и работает. Вот почему мы не можем окончательно оценить и подытожить этапы и периоды его творчества».

Но и при таких условиях находятся критики, пытающиеся нащупать золотую середину. В. Масс, М. Червинский:

В боях литературных закалён,  
Он резких выражений избегает.  
Ругает так, как будто хвалит он,  
А хвалит так, как будто бы ругает.

Интересно, что эти авторы почти один к одному повторили вывод эпиграммы А. Дельвига на рецензию поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила»:

Хоть над поэмою и долго ты корпишь,  
Красот ей не придашь и не умалишь! –  
Браня – всем кажется, ею ты хвалишь;  
Хваля – её бранишь.

Есть и другая категория пишущих рецензии – выжидающая: они не спешат с оценками, высказывают своё мнение уже после того, как выяснится мнение общественное.

Я. Костюковский на критика А. Макарова:

Пока не соберёт всех мнений, –  
Своих не выскажет – о, нет! –  
Ума холодных наблюдений  
И сердца горестных замет.

Без цитат, попроще и подходчивей ту же мысль высказал А. Раскин:

То доругиваешь... третьим,  
То дохваливаешь... пятым.

Существует среди разных видов критики и не совсем обычный – умалчивание. Писатель работает, его произведения печатают, читатели им интересуются, а критика его не замечает. Это не какой-то новый приём: в 1730 году появилась эпиграмма В. Тредиаковского к неуважаемому критику. Неуважение поэта было подчёркнуто разностью используемых шрифтов: «вас» и «братец» были набраны мелкими буквами:

Много на многи книги вас, братец, бывало,  
А на эту неужли вас таки не стало?

Во многих случаях, перефразируя Пушкина, можно сказать: «Уж старость близится, а критики всё нет». Своими словами эту жалобу выразил А. Флит:

Вздыхнул писатель: «Вот уж я и сед...  
А отзыва, а критики – всё нет!»

Парадокс заключается и в том, что зачастую молчание критиков сопровождает произведения, пользующиеся большим успехом у читателей. Б. Тимофеев о творчестве Л. Пантелеева:

Ребята в нём души не чают,  
А критики – не замечают.

К таким рецензентам с негодованием обращался А. Безыменский:

К вам счёт поэтов издавна велик.  
Вы казнь придумали для многих сотен книг.  
Из года в год с великим прилежаньем  
Жестоко вы казните их... молчаньем!

Рассматривать такие отношения к публикациям можно с двух точек зрения. Во-первых, их можно воспринимать как некий заговор по поводу чем-то не потравившего литератора. И тогда молчание прочитывается как некая отместка. Можно объяснить умалчивание как выжидательную позицию по отношению к произведению спорному, ещё не получившему определённую оценку свыше. Критик боится попасть в просак, если его мнение вдруг окажется «против ветра». В. Суслов:

Шагает критик, думает в пути:  
Кого бы мне сторонкой обойти.

Неизвестно, впрочем, что лучше: упорное замалчивание или поток негатива. В 30-е годы встретить ругательный отзыв о книге было обычным делом, он мог звучать примерно так: «роман является субъективно-объективно-клеветнической вещью». Такие характеристики граничили с доносом.

С. Швецов «Образец зубодробительной рецензии»:

Роман под названием «На лезвие меча»  
Безнадёжно бездарен и на редкость халтурен.  
Подобной гадости я ещё не встречал  
Во всей мировой литературе.  
Гнусная, отвратительная амурная возня,  
Пропитан пошлятиной каждый атом...  
Несомненно, вся эта густопсовая размазня  
Напачкана кастрированным дегенератом...

«Образец неблагожелательной рецензии» того же Швецова почти не отличается от предыдущего отзыва:

Книга враждебна со всех сторон.  
Автор из лагеря явно не нашего, –  
Жалкий последыш и эпигон  
Поль де Кока, Баркова и Арцыбашева!

Повседневная работа критиков, считавших своим долгом тиражирование категоричных приговоров, не могла не напоминать деятельность судебных органов.

С. Швецов:

Он путь держал в прокуратуру,  
Да вдруг забрёл в литературу  
И здесь, приняв суровый вид,  
Всех «обличает» и «клеймит».

Разносная критика часто бывала самоцелью: подвергались поруганию и те произведения, что этого не заслуживали. То ли была дана команда, то ли автор был чересчур оригинален – критика находила повод уязвить и его и его творения. О таких критиках упоминал немецкий сатирик Р. Демель:

Подобен дятлу он в литературе,  
По праву безошибочным сльвя:  
Могучий дуб не убоится бури,  
Но дятел в нём всегда найдёт червя!

О жестоких проработках рапповцев 30-х годов писали А. Архангельский и М. Пустынин в стихотворном романе «Евгений Онегин в Москве»:

Там восседал свирепый критик,  
Ортодоксальный ортодокс,  
Стихов и прозы аналитик,  
В работе применявший бокс.  
Его критической оглоблей  
Был не один поэт угроблен.  
Увы, и прозы мастера  
Не знали от него добра.

Но и в последующие за 30-ми годами периоды положение с критикой не очень сильно изменилось. Как писали З. Паперный и Н. Разговоров:

И я рецензии пишу,  
Рублю, ломаю и крушу.

Сатирики (в какой-то степени тоже рецензенты и критики) по большей части не разделяли категорических позиций пишущих разносные отзывы. Они подсмеивались над такими авторами, зачастую ставя их в дурацкое положение. С. Лившин в пародии «Как писать рецензии» воспроизвёл отзыв критика, не читавшего Н. Гоголя, но взявшегося оценить его произведения. Найдя в них кучу недостатков и несуразностей, он завершил свою заметку категорическим выводом-советом: «Полагаю, всего сказанного достаточно, чтобы смело признаться: автору рано приобщаться к миру большой литературы».

Подобные наскоки были вполне в духе и дореволюционной критики. Ф. Благов в эпиграмме, посвящённой В. Буренину, от его имени писал:

Кто мог бы в юбилей счесть мой,  
Как много вылил я помой.

А критик и пародист начала XX века А. Измайлов писал в критическом шарже «Пятна на солнце» об одной из статей, «в которой,



по заведённому у нас обыкновению, критик перекусывал пополам своего сослуживца по литературному ведомству, пуская в ход весь арсенал ядовитых слов». Так что грубость, граничащая с оскорблением, была долгое время одним из компонентов рецензии и считалась чем-то близким к порядку вещей.

Любые сторонние отзывы, неблагоприятно оценивающие произведения авторов, вызывали у них понятное недовольство. В одном из стихотворений Т. Бек предупреждала потенциального критика:

Я не дам себя в обиду.  
Грозная, большая с виду,  
Я ему отвечу так:  
— Ненавижу, сам дурак!

Противостояние авторов и критиков – явление постоянное. Ещё А. Пушкин, недовольный статьёй о его стихах, ответил критику грубо и энергично:

Охотник до журнальной драки,  
Сей усыпительный зоил  
Разводит опиум чернил  
Слюною бешеной собаки.

Примеров подобного противостояния достаточно много, можно ограничиться двумя вполне типичными историями, приключившимися давненько. По случаю критических заметок В. Тана, в которых критик обругал А. Вербицкую, вышла у автора и критика некоторая скандальная полемика. Е. Венский в сборнике «Моё копыто» ответил на неё так:

Ай, меня обидели! Ох, уж этот Тан!  
Критик полуграмотный, критик шарлатан!  
Он меня, Вербицкую, даже не читал,  
И статью мужицкую настрочил нахал...

Примерно в это же время появилась эпиграмма оскорблённого А. Рославлева на К. Чуковского-критика:

«Дерзай, пока не бьют!» – таков его девиз.  
Он шулер в критике, а в жизни – жополиз.

Предыстория эпиграммы такова. К. Чуковский, считавший творчество Рославлева «третьим сортом», написал об одном его издании: «Книжка производит впечатление приятной ненужности». Натянутые отношения вылились в оскорбительную эпиграмму. Обиду поглаженных против шерсти авторов понять можно, но гораздо продуктивнее выглядит позиция писателей, терпимо относящихся к негативной критике. Н. Гоголь, соглашаясь с насмешками (справедливыми и несправедливыми), писал: «О, как нужны беспрестанные щелчки, и этот оскорбительный тон, и эти едкие, проникающие насквозь насмешки».

Несмотря на порой драматические последствия критических наскоков, всё же до сих пор не изжито желание пишущих и печатающихся узнать, как воспринимаются их произведения со стороны (присутствует интерес и читательской массы). Замалчивание их не устраивает ни в коей мере, поэтому не стоит удивляться, когда порой на отзыв рецензента

писатели напрашиваются сами. Известно мнение Е. Евтушенко, высказываемое им неоднократно: пишите обо мне, ругайте меня, но не молчите. Этот призыв поэта С. Смирнов несколько коряво оформил в виде пародии «Моим последователям»:

Не топчись на месте –  
Добейся, чтоб тебя ругнули в прессе.  
Нелестный отзыв – не Доска почёта,  
Но сразу  
Популярности  
До чёрта!

Евтушенко связывал любую критику с рекламой и поэта, и его произведений. Его взгляды разделяли многие; поэт В. Юрочко призывал сатирическую братию:

Критикуйте, критики, меня,  
Упражняйтесь, братцы-пародисты...

Приглашение к критике звучало и по не столь меркантильным соображениям. Г. Ладонщиков указывал на желание быть раскритикованным по совсем другим причинам:

Быть похвалённым  
Я не стремлюсь.  
Похвалы я стыжусь и боюсь.  
Если хвалят меня, замечаю:  
Это многих людей огорчает.  
Если же критикуют меня –  
Огорчаюсь один только я,  
А другие сияют, ликуют...  
Я за радость!  
Пускай критикуют.

Равнодушие некоторых авторов к оценкам критиков объясняется во многом их знанием собственной цены и цены критическим заключением. Пользуясь большой популярностью у читателей, они не обращают внимания на придирки профессионалов. Д. Харингтон:

Мои творенья хвалят книгочеи,  
А вот иные рыцари пера  
Поносят их. Но на пиру важнее,  
Что скажут гости, а не повара.

Востребованная насущной литературной необходимостью, рецензия неизменно выполняла свои функции в течение столетий. Нет сомнений, что и сегодня она преодолеет наметившийся застой и выйдет на новые рубежи контактов со всеми заинтересованными лицами. Несмотря на проблемные моменты, связанные с её восприятием (она, как и пчела, несёт в себе и яд и мёд), нет сомнений, что она нужна и читающим и пишущим.

## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

**О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Наталия Петрищева

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

## ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Олег Беркович

Елена Гаврюшова

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

## УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции и адрес издателя:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и библиографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 25.09.2025.  
Выпущено в свет 27.10.2025.  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 21.  
Тираж 800 экз. Заказ  
Свободная цена.

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,  
428019, Чувашская Республика,  
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д. 13